This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Google

Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использовапия

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
  Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.

- Не отиравляйте автоматические заиросы.
  Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

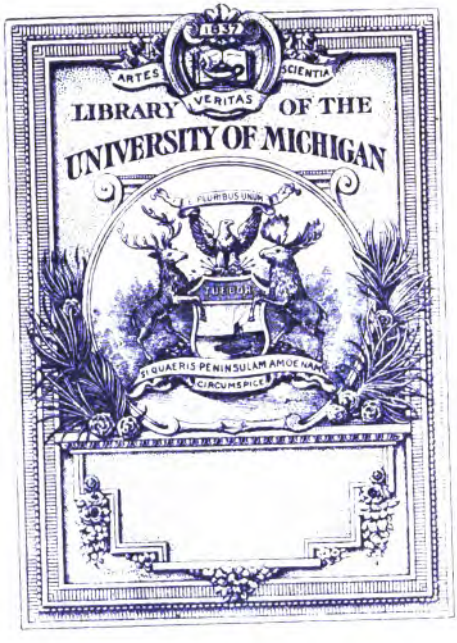
- Не удаляйте атрибуты Google.
  В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.

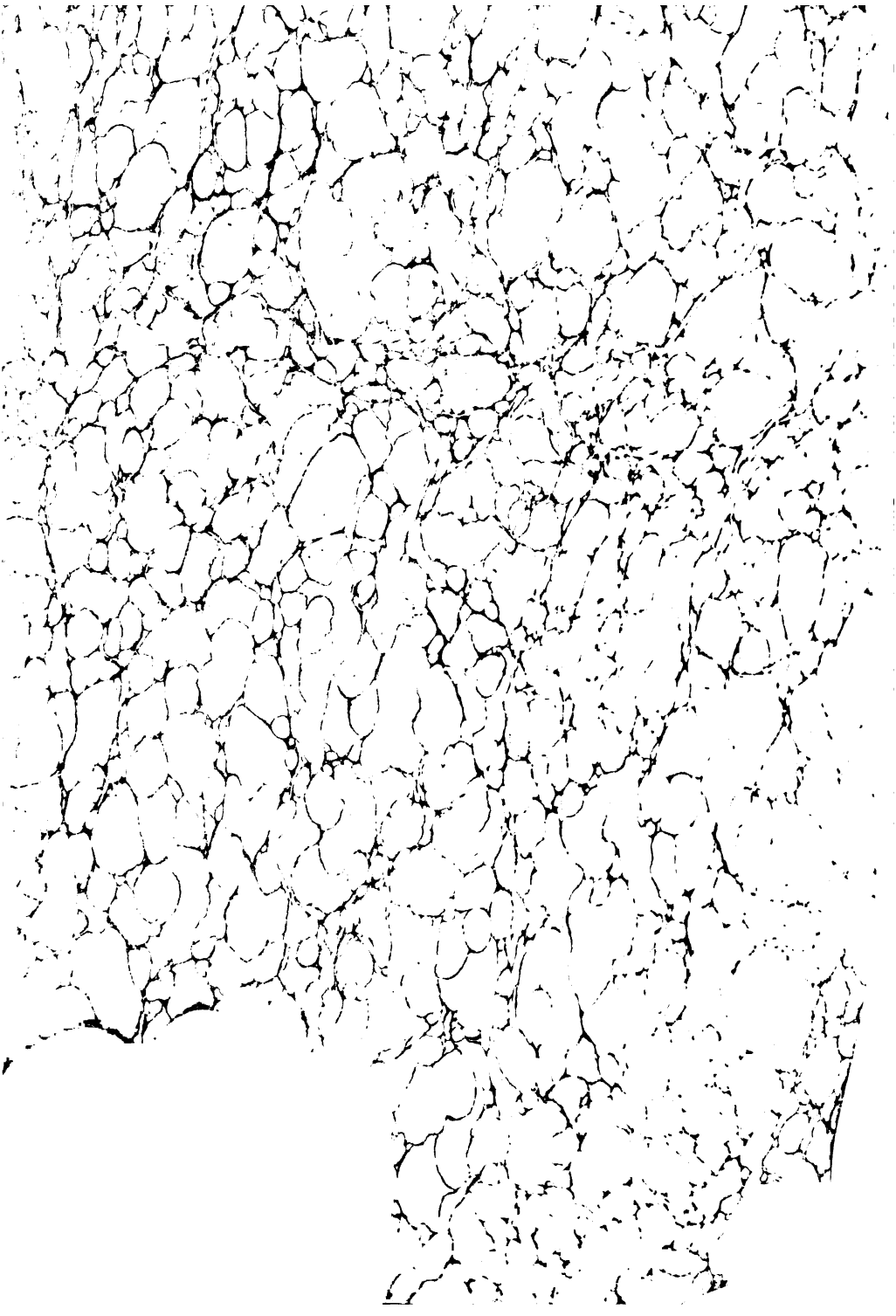
- Делайте это законно.
  Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

О программе Поиск кпиг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице `http://books.google.com/`

A 470621 DUPL


1837
ARTES
VERITAS
SCIENTIA
LIBRARY OF THE
UNIVERSITY OF MICHIGAN
E PLURIBUS UNUM
TUEBOR
SI QUAERIS PENINSULAM AMOENAM
CIRCUMSPICE



891,78
M27g

Mamin-Sibiriak

Д. Мамихъ-Сибирякъ.

Zolote

ЗОЛОТО.

РОМАНЪ.

Изданіе 2-е, Д. П. Ефимова.
Москва, Тверская, д. Бахрушиныхъ.

МОСКВА.
Типо-Литографія «Русскаго Т-ва печатнаго и издательскаго дѣла».
Чистые пруды, Мыльниковъ пер., с. д.
1902.

ЗОЛОТО.

РОМАНЪ.

Посвящается Марусѣ.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

I.

Кишкинъ сильно торопился и смѣшно шагалъ своими короткими ножками. Зимнее сѣрое утро застало его уже за Балчуговскимъ заводомъ, на дорогѣ къ Фотьянкѣ. Легкій морозецъ бодрилъ старческую кровь, а падавшій мягкій снѣжокъ устилалъ изъѣзженную дорогу точно ковромъ. Быстроту хода много умаляли разносившіяся за зиму валенки, на которыя Кишкинъ нѣсколько разъ поглядывалъ съ презрѣніемъ и громко говорилъ въ назиданіе самому себѣ:

— Эхъ, вся кошемная музыка развалилась... да. А было времечко, Андронъ, какъ ты съ завода на Фотьянку на собственной парочкѣ закатывалъ, а то верхомъ на иноходцѣ. Лихо...

Это были совсѣмъ легкомысленныя слова для убѣленнаго сѣдинами старца и его сморщеннаго лица, если бы не оправдывали ихъ маленькіе, любопытные, вороватые глаза, не хотѣвшіе стариться. За маленькій ростъ на золотыхъ промыслахъ Киш-

204982

кинъ былъ извѣстенъ подъ именемъ Шишки, какъ прежде его называли только за-глаза, а теперь прямо въ лицо.

— Только бы застать Родьку... — думалъ Кишкинъ вслухъ, прибавляя ходу.

Дорога отъ Балчуговскаго завода шла сначала по берегу рѣки Балчуговки, а затѣмъ круто забирала на лѣсистый Краюхинъ увалъ, съ котораго открывался великолѣпный видъ на заводъ, на теченіе Балчуговки и на окружавшія селеніе работы. Кишкинъ остановился на вершинѣ увала и оглянулся назадъ, гдѣ въ сѣрой зимней мглѣ тонули заводскія постройки. Кругомъ все было покрыто бѣлой снѣжной пеленой, исчерченной вдоль и поперекъ желтыми промысловыми дорожками. На Краюхиномъ увалѣ снѣжная пелена тамъ и сямъ была покрыта какими-то подозрительными красновато-бурыми пятнами, точно самая земля здѣсь вспухла болячками: это были старательскія работы. Большинство ихъ было заброшено, какъ невыгодныя или выработавшіяся, а около нѣкоторыхъ курились огоньки, — эти, слѣдовательно, находились на полномъ ходу.

— Ишь, подлецы, какъ землю-то изрыли,— проговорилъ вслухъ Кишкинъ, опытнымъ глазомъ окидывая земляныя опухоли.—Тоже, называется, золото ищутъ... ха-ха!.. Не положилъ, не ищи... Золото моемъ, а сами голосомъ воемъ.

Кишкинъ подтянулъ опояской свою старенькую шубенку, крытую сѣрымъ вытершимся сукномъ, и съ новой быстротой засеменилъ съ увала, точно кто его толкалъ въ спину.

По ту сторону Краюхина увала начинались шахты: Первинка, Угловая, Шишкаревская, Подаруевская, Рублиха и Спасо-Колчеданская. Кругомъ шахтъ тянулись высокіе отвалы пустой породы, кучи ржаваго кварца, штабели заготовленнаго лѣса и всевозможныя постройки: сараи, казармы, сторожки и цѣлые корпуса. Изъ всѣхъ этихъ шахтъ работала одна Спасо-Колчеданская, надъ которой дымилась громадная кирпичная труба. Гдѣ-то отпыхивала невидимая паровая машина. Заброшенныя шахты имѣли самый жалкій видъ,—трубы покосились, всякая постройка гнила и разваливалась. Кишкинъ оглянулъ эту египетскую работу прищуренными глазками и улыбнулся.

— Одна парадная дыра осталась...—проговорилъ онъ, направляясь къ работавшей шахтѣ.—Эй, кто есть живъ человѣкъ: Родіонъ Потапычъ здѣсь?

Изъ сторожки выглянула кудластая голова, посмотрѣла удивленно на Кишкина и, не торопясь, отвѣтила:

— Былъ, да весь вышелъ...

— Ахъ, штобъ ему ни дна, ни покрышки!—обругался Кишкинъ.

— Ступай на Фотьянку, тамъ его застанешь,—посовѣтовала голова.

— Легкое мѣсто сказать: Фотьянка... Три версты надо отмѣрять до Фотьянки. Ахъ, старый чортъ... Не сидится ему на одномъ мѣстѣ.

— На брезгу Родивонъ Потапычъ спущался въ шахту и четыре взрыва діомидомъ сдѣлалъ, а потомъ на Фотьянку ушелъ. Тамъ старатели борта домываютъ, такъ онъ ихъ зоритъ...

Кишкинъ досталъ берестяную тавлинку, сдѣлалъ жестокую понюшку и еще разъ оглядѣлъ шахты.—Ахъ, много тутъ денежекъ компанія закопала,—тысячъ триста, а то и побольше. Тепленькое мѣстечко досталось: за триста-то тысячъ и десяти фунтовъ золота со всѣхъ шахтъ не взяли. Да, веселенькая игрушка, нечего сказать... Впрочемъ, у денегъ глазъ нѣтъ: закапывай, если лишнихъ много.

Дорога отъ шахтъ опять пошла берегомъ Балчуговки, едва опушенной голымъ ивнякомъ. По всему теченію тянулись еще „казенныя работы"— громадные разрѣзы, громадныя свалки, громадныя запруды. Даровой трудъ не жалѣли, и вся земля на десять верстъ была изрыта, точно прошелъ какой-нибудь гигантскій кротъ. Кишкинъ даже вздохнулъ, припомнивъ золотое казенное время, когда вотъ здѣсь кипѣла горячая работа, а онъ катался на собственныхъ лошадяхъ. Теперь было все пусто кругомъ, какъ у него въ карманахъ... Кое-гдѣ только старатели подбирали крохи, оставшіяся отъ казенной работы.

Сдѣлавъ три версты, Кишкинъ почувствовалъ усталость. Онъ даже вспотѣлъ, какъ хорошая пристяжка. Лѣсъ точно разступался, открывъ громадное снѣжное поле, заканчивавшееся землянымъ валомъ казенной плотины. Это и была знаменитая Фотьяновская розсыпь, открытая имъ, Андрономъ Кишкинымъ, и давшая казнѣ больше сотни пудовъ золота. Вдали пестрѣло на мысу селенье Фотьянка. Но ему дорога была не туда, а къ плотинѣ. Сейчасъ за плотиной по обоимъ берегамъ

Балчуговки были поставлены старательскія работы. Старатели промывали борта, т.-е. невыработанные края розсыпи, которые можно было взять только зимой, когда вода въ забояхъ не такъ „долила“. Наблюдалъ за этими работами Родіонъ Потапычъ Зыковъ, старѣйшій штейгеръ на всѣхъ Балчуговскихъ золотыхъ промыслахъ. Онъ иногда и ночевалъ здѣсь, въ землянкѣ, которая была выкопана въ насыпи плотины, — съ этой высоты старику видно было все на цѣлую версту. Въ Балчуговскомъ заводѣ у старика Зыкова былъ собственный домъ, но онъ почти никогда не жилъ въ немъ, предпочитая лѣсныя избушки, землянки и балаганы.

— Эге, дома лѣсной чортъ! — обругался Кишкинъ, завидя синенькій дымокъ около землянки.

Онъ издали узналъ высокую сгорбленную фигуру Зыкова, который ходилъ около разведеннаго огонька. Старикъ былъ безъ шапки, въ одномъ полушубкѣ, запачканномъ желтой пріисковой глиной. Окладистая сѣдая борода покрывала всю грудь. Завидѣвъ подходившаго Кишкина, старикъ сморщилъ свой громадный лобъ. Надъ огнемъ въ желѣзномъ котелкѣ у него варился картофель. Крохотная, закопченная дымомъ, дверь землянки была пріотворена, чтобы провѣтрить эту кротовую нору.

— Миръ на стану!—крикнулъ весело Кишкинъ, подходя къ огоньку.

— Милости просимъ,—отвѣтилъ Зыковъ, не особенно дружелюбно оглядывая нежданнаго гостя.— Куда поволокся спозаранку? Садись, такъ гость будешь...

— А дѣло есть, Родіонъ Потапычъ. И не маленькое дѣльце. Да... А ты тутъ старателей зоришь? За ними, за подлецами, только не посмотри...

— Всѣ хороши,—угрюмо отвѣтилъ Зыковъ.— Картошки хошь?

— Въ золкѣ бы ее испечь, такъ она вкуснѣе, чѣмъ вареная.

— Ишь, лакомый какой... Привыкъ къ баловству-то, когда на казенныхъ харчахъ жиръ нагуливалъ.

— Охъ, не осталось этого казеннаго жиру ни капельки, Родіонъ Потапычъ!.. Весь тутъ, а дома ничего не оставилъ...

— Не ври. Не люблю... Разсказывай сказки-то другимъ, а не мнѣ.

Кишкинъ какъ-то укоризненно посмотрѣлъ на суроваго старика и поникъ головой. Да, хорошо ему теперь бахвалиться надъ нимъ, потому что и мѣсто имѣетъ, и жалованье, и домъ полная чаша. Зыковъ молча взялъ деревянной спицей горячую картошку и передалъ ее гостю. Незавидное кушанье дома, а въ лѣсу первый сортъ: картошка такъ аппетитно дымилась, и Кишкинъ порядкомъ-таки промялся. Облупивъ картошку и круто посоливъ, онъ проглотилъ ее почти разомъ. Зыковъ, такъ же молча, подалъ вторую.

— А, вѣдь, отлично у тебя здѣсь, Родіонъ Потапычъ, — восторгался Кишкинъ, оглядывая разстилавшуюся передъ нимъ картину.—Много старателей-то?

— Десятка съ три наберется...

Работы начались саженяхъ въ пятидесяти отъ землянки. Берегъ Балчуговки точно проржавѣлъ отъ разрытой глины и песковъ. Работа происходила въ двухъ ямахъ, въ которыхъ, пользуясь зимнимъ временемъ, золотоносный пластъ добывался забоемъ. Надъ каждой ямой стоялъ небольшой деревянный воротъ, которымъ „выхаживали“ деревянную бадью съ пескомъ или пустой породой двое „воротниковъ“, или „вертеловъ“. Тутъ же откатчики наваливали добытые пески въ ручныя тачки и по деревяннымъ доскамъ, уложеннымъ въ дорожку, свозили на ледъ, гдѣ стоялъ рядъ деревянныхъ вашгердтовъ. Мужики работали на забоѣ, у воротовъ и на откатнѣ, а бабы и дѣвки промывали пески. Издали картина была пестрая и для зимняго времени оригинальная.

— Ишь, ледяной водой моютъ,—замѣтилъ Кишкинъ тономъ опытнаго пріисковаго человѣка.— Штобы казарму поставить да тепленькой водицей промывку сдѣлать, а то пески теперь смерзились...

— Ничего ты не понимаешь!—оборвалъ его Зыковъ.—Первое дѣло, пески на второй сажени берутъ, а тамъ земля талая, — а второе дѣло — по Фотьянкѣ пески не мясниковатые, а разрушистые... На него плесни водой — онъ и разсыпался, какъ крупа. И пески здѣсь крупные, чуть ихъ вспологни... Ничего ты не понимаешь, Шишка!..

— Да, вѣдь, я къ слову сказалъ, а ты сейчасъ на стѣну полѣзъ.

— А не болтай глупостевъ, особливо чего не знаешь. Ну, зачѣмъ пришелъ-то? Говори, а то мнѣ некогда съ тобой балясы точить...

— Есть дѣльце, Родіонъ Потапычъ. Слышалъ, поди, какъ толковали про казенную Кедровскую дачу?

— Ну?

— Вы рѣшили ее въ конецъ... Перваго мая срокъ: всѣмъ она будетъ открыта. Кто хочетъ, тотъ и работаетъ. Конечно, нужно заявки сдѣлать и протчее. Я самъ былъ въ горномъ правленіи и читалъ бумагу.

Въ первое мгновеніе Зыковъ не повѣрилъ и только посмотрѣлъ удивленными глазами на Кишкина, не вретъ ли старая конторская крыса, но тотъ говорилъ съ такой увѣренностью, что сомнѣній не могло быть. Эта вѣсть поразила старика, и онъ смущенно пробормоталъ:

— Какъ же это такъ... гм... А Балчуговскіе промысла при чемъ останутся?

— Балчуговскіе сами по себѣ: вѣдь у нихъ площадь въ пятьдесятъ квадратныхъ верстъ. На сто лѣтъ хватитъ... Жирно будетъ, ежели бы имъ еще и Кедровскую дачу захватить: тамъ четыреста тысячъ десятинъ... А какія мѣста: по Судохойкѣ рѣкѣ, по Ипатихѣ, по Малиновкѣ—вездѣ золото. Все розсыпи отъ Каленой горы пошли, значитъ, въ ней жилы объявляются... Тамъ еще казенныя развѣдки были подъ Маяковой сланью, на Филькиной гари, на Колпаковомъ полѣ, у Кедроваго ключика. Однимъ словомъ, палестина необъятная...

— Извѣстно, золота въ Кедровской дачѣ неочерпаемо, а только ты опять зря болтаешь: кедровское золото мудреное,—кругомъ болота, вода

долитъ, а внизу камень. Надо еще взять кедровское-то золото. Не объ этомъ рѣчь. А дѣло такое, что въ Кедровскую дачу кинутся промышленники изъ города и съ Балчуговскихъ промысловъ народъ будутъ сбивать. Теперь у насъ весь народъ, какъ въ чашкѣ каша, а тогда и расползутся... Ихъ только помани. Народъ отпѣтый.

— Я то и хотѣлъ поговорить съ тобой, Родіонъ Потапычъ,— заговорилъ Кишкинъ искательнымъ тономъ:—дѣло видишь въ чемъ. Я, вѣдь, тогда на казенныхъ ширфовкахъ былъ, такъ одно мѣстечко запримѣтилъ: Пронькина Вышка называется. Хорошіе знаки оказывались... Вотъ бы заявку тамъ хлопнуть.

— Ну?

— Такъ я насчетъ компаніи... Можетъ и ты согласишься. За этимъ и шелъ къ тебѣ... Вѣрное золото.

Зыковъ даже поднялся и посмотрѣлъ на соблазнителя уничтожающимъ взоромъ.

— Да ты въ умѣ ли, Шишка? Я пойду искать золота, штобы сбивать народъ съ Балчуговскихъ промысловъ?.. Да еще съ тобой?.. Ха, ха...

— Не ты, такъ другіе пойдутъ... Я тебѣ же добра желалъ, Родіонъ Потапычъ. А что касается Балчуговскихъ промысловъ, такъ они о насъ съ тобой плакать не будутъ... Ты вотъ говоришь, что я ничего не понимаю, а я, можетъ, побольше твоего-то смыслю въ этомъ дѣлѣ. Балчуговская-то дача рядомъ прошла съ Кедровской,—ну, назаявляютъ пріисковъ на самой грани да и будутъ скупать ваше балчуговское золото, а запишутъ въ

свои книги. Тутъ не разбери-бери... Вотъ это какое дѣло!

— А, вѣдь, ты вѣрно,—уныло согласился Зыковъ.—Потащатъ наше золото старателишки. Это ужъ какъ пить дадутъ. Ты ихъ только помани... Теперь за ними не услѣдишь днемъ съ огнемъ, а тогда и подавно! Только я думаю, — прибавилъ онъ:—врешь ты все...

— А вотъ увидишь, какъ я вру.

Наступила неловкая пауза. Котелокъ съ картофелемъ былъ пустъ. Кишкинъ нѣсколько разъ взглядывалъ на Зыкова своими рысьими глазками, точно что хотѣлъ сказать и только жевалъ губами.

— Прежде-то что было Родіонъ Потапычъ! — какъ-то особенно угнетенно проговорилъ онъ наконецъ, втягивая въ себя воздухъ.—Иногда раздумаешься про себя, такъ точно во снѣ... Развѣ нынче промысла? Развѣ работы?

— Што старое-то вспоминать, какъ баба о прошлогоднемъ молокѣ.

— Нѣтъ, всегда вспомню!.. Кто Фотьяновскую розсыпь открылъ? Я... да. На полтора милліона рублей золота въ ней добыто, а вотъ я нагъ и сиръ...

Кишкинъ ударилъ себя кулакомъ въ грудь, и мелкія старческія слезинки покатились у него по лицу. Это было такъ неожиданно, что Зыковъ какъ-то смущенно пробормоталъ.

— Ну, будетъ тебѣ... Экъ, што вздумалъ вспоминать!..

— Да!..—уже со слезами въ голосѣ повторялъ Кишкинъ.—Да... Легко это говорить: перестань!..

А никто не спроситъ, какъ мнѣ живется... да. Можетъ, я кулакомъ слезы-то вытираю, а другіе радуются... Тѣхъ же горныхъ инженеровъ взять: свои дома имѣютъ, на рысакахъ катаются, а я вотъ на своихъ на двоихъ вышагиваю. А отчего, Родіонъ Потапычъ? Воровать я во-время не умѣлъ... да.

— Было и твое дѣло, што тутъ грѣха таить!

— Да што было-то? Дадутъ три сторублевыхъ билета, а сами десять тысячъ украдутъ. Я же ихъ и покрывалъ: моихъ рукъ дѣло... Въ тѣ поры отсѣчь бы мнѣ руки, да и то мало. Дуракъ я былъ... Въ глаза мнѣ надо за это самое наплевать, въ водѣ утопить, потому кругомъ дуракъ. Когда я Фотьяновскую розсыпь открылъ, содержаніе въ пескахъ полтора золотника на сто пудовъ, значитъ съ работой обошелся онъ казнѣ много-много шесть гривенъ, а управитель Фроловъ по 3 рубля золотникъ ставилъ. Это отъ каждаго золотника по 2 р. 40 копеекъ за здорово живешь въ карманъ къ себѣ клали. А фальши-то што было... Вѣдь я разносилъ по книгамъ-то всѣ расходы: гдѣ десять рабочихъ—писалъ сто, гдѣ сто кубическихъ саженъ земли вынуто—писалъ тысячу... Жалованье я же сочинялъ такимъ служащимъ, какихъ и на свѣтѣ не бывало. А Фроловъ мнѣ все твердитъ: „Погоди, Андронъ Евстратычъ, подѣлимся потомъ: рука, слышь, руку моетъ“... Умылъ онъ меня. Самъ-то сахаромъ теперь поживаетъ, а я вонъ въ какомъ образѣ щеголяю. Только-только копеечку не подаютъ...

— А домъ гдѣ? А всякое обзаведенье? А деньги?— накинулся на него Зыковъ съ ожесточеніемъ. —

Тебѣ руки-то отрубить надо было, когда ты въ карты сталъ играть, да мадеру сталъ лакать, да пустяками сталъ заниматься... Въ чьемъ дому сейчасъ Ермошка кабатчикъ какъ клопъ раздулся? Ну-ка, скажи, а?..

— Было и это,—согласился Кишкинъ.—Тысячъ съ пять въ карты проигралъ и мадеру пилъ... Было. А Фроловъ-то по двадцати тысячъ въ одинъ вечеръ проигрывалъ. Помнишь, старый разрѣзъ въ Выломкахъ, его еще рекрута работали, — такъ мы его за новый списали, а вѣдь это, говорятъ, голенькихъ сорокъ тысячъ рубликовъ казна заплатила. Ревизоръ пріѣхалъ, а мы дно раскопали да старыя свалки сверху песочкомъ посыпали—и сошло все. Положимъ, ревизоръ-то тоже уѣхалъ отъ насъ, какъ мышь изъ ларя съ мукой,—и къ лапкамъ пристало, и къ хвостику, и къ усамъ. Эхъ, да что тутъ говорить...

— Кто старое помянетъ—тому глазъ вонъ. Было да сплыло...

II.

Зыковъ чувствовалъ, что не даромъ Кишкинъ распинается передъ нимъ и про старину болтаетъ „неподобное“, а поэтому молчалъ, плотно-сжавъ губы. Крѣпкій старикъ не любилъ пустыхъ разговоровъ.

— Ну, братъ, мнѣ некогда, — остановилъ онъ гостя, поднимаясь. — У насъ сейчасъ смывка... Вонъ объѣздной съ кружкой ѣдетъ.

На правомъ берегу Балчуговки тянулся каменистый увалъ, извѣстный подъ именемъ Ульянова

кряжа. Черезъ него змѣйкой вилась дорога въ Балчуговскую дачу. Сейчасъ за Ульяновымъ кряжемъ шли тоже старательскія работы. По этой дорогѣ и ѣхалъ верхомъ объѣздной съ кружкой, въ которую ссыпали старательское золото. Зыковъ разстегнулъ свой полушубокъ, чтобы перепоясаться, и Кишкинъ замѣтилъ, что у него за ситцевой рубахой что-то отдувается.

— Это у тебя что за рубахой-то покладено, Родіонъ Потапычъ?

— А діомитъ... Я его по зимамъ на себѣ ношу, потому какъ холоду этотъ самый діомитъ не любитъ.

— А ежели грѣшнымъ дѣломъ да того...

— Взорветъ? Божья воля... Только, вѣдь, наше дѣло привышное. Я когда и сплю, такъ діомитъ подъ постель къ себѣ кладу.

Кишкинъ все-таки посторонился отъ начиненнаго динамитомъ старика. „Этакой безголовый чортъ“,— подумалъ онъ, глядя на отдувавшуюся пазуху.

— Такъ ты какъ насчетъ Пронькиной Вышки скажешь?—спрашивалъ Кишкинъ, когда они отъ землянки пошли къ старательскимъ работамъ.

— Не нашего ума дѣло, вотъ и весь сказъ,— сурово отвѣтилъ старикъ, шагая по размятому грязному снѣгу.—Безъ насъ найдутся охотники до твоего золота... Ступай къ Ермошкѣ.

— Ермошкѣ будетъ и того, что онъ въ моемъ собственномъ домѣ сейчасъ живетъ.

Приближеніе суроваго штейгера заставило старателей подтянуться, хотя они и были вольными людьми, работавшими въ свою голову.

— Эхъ, вы, свинорои!—ворчалъ Зыковъ, заглядывая въ первую дудку.—Еще задавитъ кого: наотвѣчаешься за васъ.

По горному уставу каждая шахта должна укрѣпляться въ предупрежденіе несчастныхъ случаевъ деревяннымъ срубомъ, въ родѣ того, какой спускаютъ въ колодцы; но зимой, когда земля мерзлая, на промыслахъ почти вездѣ допускаются круглыя шахты, безъ крѣпи,—это и есть „дудки". Рабочіе, конечно, рискуютъ, но таковъ ужъ русскій человѣкъ, что вездѣ подставляетъ голову, только бы не сдѣлать лишняго шага. Такъ было и здѣсь. Собственно Зыковъ могъ заставить рабочихъ сдѣлать крѣпи, но всѣ они были такіе оборванные и голодные, что даже у него рука не поднималась. Старикъ ограничивался только ворчаньемъ. Зимнее время на промыслахъ всѣхъ подтягиваетъ: работъ нѣтъ, а ѣсть нужно, какъ и лѣтомъ.

Отъ забоевъ Зыковъ перешелъ къ вышгердтамъ и велѣлъ сдѣлать промывку. Вышгердты были заперты на замокъ и, кромѣ того, запечатаны восковыми печатями,—все это дѣлалось въ тѣхъ видахъ, чтобы старатели не воровали компанейскаго золота. Бабы кончили промывку, а мужики принялись за доводку. Продолжали работать только бабы, накачивавшія насосомъ воду на вышгердты. Зыковъ стоялъ и зорко слѣдилъ за доводчиками, которые на деревянныхъ шлюзахъ сначала споласкивали пески деревянными лопатками, а потомъ начали отдѣлять пустой песокъ отъ „шлиховъ" небольшими щетками. Шлихи—черный песокъ, обра-

зовавшійся изъ желѣзняка; при промывкѣ онъ осаждается въ „головкѣ“ вышгердта вмѣстѣ съ золотомъ.

Кишкинъ смотрѣлъ на оборванную кучку старателей съ невольнымъ сожалѣніемъ: совсѣмъ заморился народъ. Рвань какая-то, особенно бабы, которыя точно сдѣланы были изъ тряпицъ. У мужиковъ лица испитыя, озлобленныя. Непокрытая пріисковая голь глядѣла изъ каждой прорѣхи. Пока Зыковъ былъ занятъ доводкой, Кишкинъ подошелъ къ рябому старику съ большимъ горбатымъ носомъ.

— Здорово, Турка... Аль не узналъ?

Турка посмотрѣлъ на Кишкина слезившимися потухшими глазами и равнодушно пожевалъ сухими губами.

— Кто тебя не знаетъ, Андронъ Евстратычъ... Прежде-то шапку ломали передъ тобой, какъ передъ бариномъ. Свѣтленько, говорю, прежде-то жилъ...

— Турка, ты ходилъ въ штегеряхъ при Фроловѣ, когда старый разрѣзъ работали въ Выломкахъ? — спрашивалъ Кишкинъ, понижая голосъ.

— Запамятовалъ какъ будто, Антонъ Евстратычъ... На Фотьянкѣ ходилъ въ штегеряхъ, это точно, а на старомъ разрѣзѣ какъ будто и не упомню.

— Ну, а другихъ помнишь, кто тамъ работалъ?

— Какъ не помнить... И наши фотьяновскіе и балчуговскіе. Бывало дѣло, Андронъ Евстратычъ..

Старый Турка сразу повеселѣлъ, припомнивъ старинку, но Кишкинъ глазами указалъ ему на

Зыкова: дескать, не въ пору языкъ развязываешь, старина... Старый штейгеръ собралъ промытое золото на желѣзную лопаточку взвѣсилъ на рукѣ и замѣтилъ:

— Золотникъ съ четью будетъ...

Затѣмъ онъ ссыпалъ золото въ желѣзную кружку, привезенную объѣзднымъ, и, обругавъ старателей еще разъ, побрелъ къ себѣ въ землянку. Съ Кишкинымъ старикъ или забылъ проститься или не захотѣлъ.

— Сиротское ваше золото, — замѣтилъ Кишкинъ, когда Зыковъ отошелъ саженъ десять. — Изъ-за хлѣба на воду робите...

Всѣ разомъ загалдѣли. Особенно волновались бабы, успѣвшія высчитать, что на три артели придется получить изъ конторы меньше двухъ рублей,—это на двадцать-то душъ!.. По гривеннику не заработали.

— По чемъ въ контору сдаете? — спрашивалъ Кишкинъ.

— По рублю шести гривенъ, Андронъ Евстратычъ. Обидная наша работа. На харчи не заробишь, а што одёжи износимъ, што обуя, это ужъ свое. Прямо—крохи...

Объѣздной спѣшился и, свертывая цигарку изъ сѣрой бумаги, болталъ съ рябой и курносой дѣвкой, которая при артели стѣснялась любезничать съ чужимъ человѣкомъ, а только лукаво скалила бѣлые зубы. Когда объѣздной хотѣлъ ее обнять, отъ забоя послышался рѣзкій окрикъ:

— Ты, компанейскій песъ, не балуй, а то медали всѣ оборву...

— А ты што лаешься? — огрызнулся объѣздной.—Чужое жалѣешь...

Ругавшійся съ объѣзднымъ мужикъ въ красной рубахѣ только что вылѣзъ изъ дудки. Онъ былъ въ одной красной рубахѣ, запачканной свѣжей яркожелтой глиной, и въ заплатанныхъ плисовыхъ шароварахъ. Сдвинутая на затылокъ кожаная фуражка придавала ему вызывающій видъ.

— А, это ты, Матюшка...—вступился Кишкинъ.— Что больно сердитъ?

— Псовъ не люблю, Андронъ Евстратычъ... Мало стало въ Балчуговскомъ заводѣ дѣвокъ, — ну, и пусть жируетъ съ ними, а нашихъ, фотьянскихъ, не тронь.

— И въ самомъ-то дѣлѣ, чего привязался! — пристали бабы.—Ступай къ своимъ балчуговскимъ дѣвкамъ: онѣ у васъ просты... Строгаль!..

— Ахъ, вы, варнаки!—ругался объѣздной, усаживаясь въ сѣдлѣ.—Плачетъ объ васъ острогъ-то клейменые... Право, клейменые!.. Ужо вотъ я скажу въ конторѣ, какъ вы дудки-то крѣпите.

— Скажи, а мы вотъ такими строгалями, какъ ты, и будемъ дудки крѣпить,—отвѣтилъ за всѣхъ Матюшка.—Отваливай, Михей Павлычъ, да кланяйся своимъ, какъ нашихъ увидишь.

Между балчуговскими строгалями и Фотьянкой была старинная вражда, переходившая изъ поколѣнія въ поколѣніе. Затѣмъ поводомъ къ размолвкѣ служила органическая ненависть вольныхъ рабочихъ ко всякому начальству вообще, а къ компаніи—въ частности. Когда объѣздной уѣхалъ, Кишкинъ укоризненно замѣтилъ:

— Чего ты зубы-то показываешь прежде времени, Матюшка? Не больно великъ въ перьяхъ-то...

— Скоро вода тронется, Андронъ Евстратычъ, такъ не больно страшно,—отвѣтилъ Матюшка. — Сказываютъ, Кедровская дача на волю выходитъ... Вотъ дѣлай заявку, а я мѣстечко тебѣ укажу.

— Молоко на губахъ не обсохло учить-то меня,— отвѣтилъ Кишкинъ.—Не сказывай, а спрашивай...

— Это вѣрно,—подтвердилъ Турка.—У Андрона Евстратыча на золото рука легкая. Про Кедровую-то ничего не слыхать, Андронъ Евстратычъ?

— Не знаю ничего... А что?

— Да такъ... Мало ли што здря болтаютъ. Намедни въ кабакѣ городскіе хвалились...

Кишкинъ подсѣлъ на свалку и съ часъ наблюдалъ, какъ работали старатели. Жаль было смотрѣть, какъ даромъ время убивали... Какое это золото, когда и пятнадцати долей со ста пудовъ песку не падаетъ. Такъ, бьется народъ, потому что дѣваться некуда, а пить-ѣсть надо. Выждавъ минутку, Кишкинъ поманилъ стараго Турку и сдѣлалъ ему таинственный знакъ. Старикъ отвернулся, для видимости покопался и пошабашилъ.

— Ты куда наклался? — спрашивалъ его Кишкинъ самымъ невиннымъ образомъ.

— А въ Фотьянку, домой... Поясницу разломило, да и дѣло по домашности тоже есть, а здѣсь и безъ меня управятся.

— Ну, такъ возьми меня съ собой: мнѣ тоже надо въ Фотьянку,—проговорилъ Кишкинъ, поднимаясь.—Прощайте, братцы...

Дорога шла сначала бортомъ розсыпи, а потомъ

мелкимъ лѣсомъ. Фотьянка залегла двумя сотнями своихъ почернѣвшихъ избенокъ на низменномъ лѣвомъ берегу Балчуговки, прижатой здѣсь Ульяновымъ кряжемъ. Кругомъ деревни росъ сплошной лѣсъ,—ни пашенъ, ни выгона. Издали Фотьянка производила невеселое впечатлѣніе, которое усиливалось вблизи. Старинная постройка сказывалась тѣмъ, что дома были разставлены какъ попало, какъ строились по лѣснымъ дебрямъ. Къ рѣкѣ выдвигался песчаный мысокъ, и на немъ красовался, конечно, кабакъ. Турка и Кишкинъ, по молчаливому соглашенію, повернули прямо къ нему. У кабацкаго крыльца сидѣли тѣ особенные люди, которые лучше кабака не находятъ мѣста. Двое или трое узнали Кишкина и сняли рваныя шапки.

— Кабакъ подпираете, молодцы, штобы не упалъ грѣшнымъ дѣломъ?—пошутилъ Кишкинъ.

Сидѣльцемъ на Фотьянкѣ былъ молодой румяный парень Фролъ. Кабакъ держалъ балчуговскій Ермошка, а Фролъ былъ уже отъ него. Кишкинъ присѣлъ на окно и спросилъ косушку водки. Турка какъ-то сразу ослабѣлъ при одномъ видѣ завѣтной посудины и взялъ налитый стаканъ дрожавшей рукой.

— Будь здоровъ на сто годовъ, Евстратычъ,—проговорилъ Турка, съ жадностью опрокидывая стаканъ водки.

— Давненько я здѣсь не бывалъ...—задумчиво отвѣтилъ Кишкинъ, поглядывая на румянаго сидѣльца.—Каково торгуешь, Фролъ?

— У насъ не торговля, а котъ наплакалъ, Ан-

дронъ Евстратычъ. Кому здѣсь и пить-то... Вотъ вода тронется, такъ тогда поправляться будемъ. Съ голаго, што со святого,—немного возьмешь.

— Дай-ка намъ пожевать что-нибудь...

Какъ политическій человѣкъ, Фролъ подалъ закуску и отошелъ къ другому концу стойки: онъ понималъ, что Кишкину о чемъ-то нужно переговорить съ Туркой.

— Вотъ что, другъ,—заговорилъ Кишкинъ, положивъ руку на плечо Туркѣ:—кто изъ фотьянскихъ стариковъ живъ, которые работали при казнѣ?.. Значитъ сейчасъ послѣ воли?

— Есть живые, какъ же...—старался припомнить Турка. — Много перемерло, а есть и живые.

— Мнѣ штейгеровъ нужно, главное, а потомъ кто въ сторожахъ ходилъ.

— Есть и такіе: Никифоръ Лужоный, Петръ Васильичъ, Головешка, потомъ Лучокъ, Лекандра...

— Вотъ и отлично!—обрадовался Кишкинъ.— Мнѣ бы съ ними надо со всѣми переговорить...

— Можно и это... А на што тебѣ, Андронъ Евстратычъ?

— Дѣло есть... Съ перваго тебя начну. Ежели, напримѣръ, тебя будутъ допрашивать, покажешь все, какъ работалъ?

— Да што показывать-то?

— А что слѣдователь будетъ спрашивать...

Корявая рука Турки, тянувшаяся къ налитому стакану, точно оборвалась. Одно имя слѣдователя нагнало на него оторопь.

— Да ты что испугался-то?—смѣялся Киш-

кинъ.—Вѣдь не подъ судъ отдаю тебя, а только въ свидѣтели...

— А ежели, напримѣръ, слѣдователь гумагу заставитъ подписывать?! Нѣтъ, неладное ты удумалъ, Андронъ Евстратычъ... Меня ровно кто подъ колѣнки ударилъ.

— Ахъ, дура-голова!.. Вотъ и толкуй съ тобой...

Какъ ни бился Кишкинъ, но такъ ничего и не могъ добиться: Турка точно одеревенѣлъ и только отрицательно качалъ головой. Въ промысловомъ отпѣтомъ населеніи еще сохранился какой-то органическій страхъ ко всякой форменной пуговицѣ: это было тяжелое наслѣдство, оставленное еще „казеннымъ временемъ".

— Нѣтъ, съ тобой видно не сговоришь!—рѣшилъ огорченный Кишкинъ.

— Ты ужъ лучше съ Петромъ Васильичемъ поговори! Онъ у насъ грамотный. А мы—темные люди, каждаго пня боимся...

Изъ кабака Кишкинъ отправился къ Петру Васильичу, который сегодня случился дома. Это былъ испитой мужикъ, кривой на одинъ глазъ. На сходкахъ онъ былъ первый крикунъ. Въ Фотьянкѣ у него былъ лучшій домъ, единственный новый домъ и даже съ новыми воротами. Онъ принялъ гостя честь-честью и все поглядывалъ на него своимъ уцѣлѣвшимъ окомъ. Когда Кишкинъ объяснилъ, что ему было нужно, Петръ Васильичъ сразу смекнулъ, въ чемъ дѣло.

— Да сдѣлай милость, хоша сейчасъ къ слѣдователю!—повторялъ онъ съ азартомъ.—Все покажу, какъ было дѣло... И всѣ другіе покажутъ.

Я, вѣдь, смекаю, для чего тебѣ это надобно... Охъ, смекаю!..

— А смекаешь, такъ молчи. Наболѣло у меня... охъ, какъ наболѣло!..

— Сердце хочешь сорвать, Андронъ Евстратычъ?

— А ужъ это, какъ Богъ пошлетъ: либо сѣна клокъ, либо вилы въ бокъ.

Петръ Васильевичъ выдержалъ характеръ до конца и особенно не разспрашивалъ Кишкина: его возъ—его и пѣсенки. Чтобы задобрить политическаго мужика, Кишкинъ разсказалъ ему новость относительно Кедровской дачи. Это извѣстіе заставило Петра Васильевича перекреститься.

— Неужто правда, анделъ ты мой? А? Ахъ, Божже мой... да кажется только бы вотъ дыхануть одинова дали, а то вѣдь эта наша конпанія—могила. Заживо всѣ помираемъ... Ахъ, другъ ты мой, какое ты словечко выговорилъ! Самъ, говоришь, и гумагу читалъ? Правильная совсѣмъ гумага? Съ орломъ?..

— Да ужъ правильнѣе не бываетъ...

— И што только будетъ? Въ томъ родѣ, какъ огроматный пожаръ... Вѣрно тебѣ говорю... Изморился народъ подъ конпаніей-то, а тутъ на, работай, гдѣ хошь.

— Только смотри: секретъ.

— Да я... какъ гвоздь въ стѣну заколотилъ: вотъ я какой человѣкъ. А што касаемо казенныхъ работъ, Андронъ Евстратычъ, такъ будь безъ сумлѣнія: хоша къ самому министру веди,—все какъ на ладонкѣ покажемъ. Ужъ это вѣрно... У меня

двухъ словъ не бываетъ. И другихъ сговорю.. Кажется, глупый народъ, всего боится и своей пользы не понимаетъ, а я всѣхъ подобью: и Лужонаго, и Лучка, и Турку. Ахъ, какое ты слово сказалъ... Вотъ нашъ-то змѣй Родивонъ узнаетъ, то-то на стѣну полѣзетъ.

— Да ужъ онъ знаетъ! Я къ нему заходилъ по пути...

— Ну, што онъ? Поди изъ лица весь выступилъ? А? Вѣдь ему это безъ смерти смерть.. Какъ другая цѣпная собака: ни во дворъ, ни со двора не пущаетъ. Не поглянулось ему? А?.. Еще съ родни мнѣ приходится по мамынькѣ, — ну, да мнѣ-то это все едино. Это ужъ мамынькино дѣло: она съ нимъ дружитъ. Ха-ха... Ахъ, анделъ ты мой, Андронъ Евстратычъ! Пряменько тебѣ скажу: въ другорядь нашу Фотьянку съ праздникомъ дѣлаешь, — въ первой, когда розсыпь открылъ, а теперь — словечкомъ своимъ озолотилъ.

Они разстались большими друзьями. Петръ Васильичъ выскочилъ провожать дорогого гостя на улицу и долго стоялъ за воротами, — стоялъ и крестился, охваченный радостнымъ чувствомъ. Что же, въ самомъ-то дѣлѣ, достаточно всякаго горя та же Фотьянка напринималась: пора и отдохнуть. Одна казенная работа чего стоитъ, а тутъ конпанія насѣла и всѣмъ духъ заперла. Подшибся народъ въ конецъ...

Въ свою очередь Кишкинъ возвращался домой тоже радостный и счастливый, хотя переживалъ совершенно другой порядокъ чувствъ.

III.

Теченіемъ р. Балчуговки заводъ Балчуговскій дѣлился на двѣ неровныя половины,—правая Нагорная и лѣвая Низменная—Низы. Названіе завода сохранилось здѣсь отъ стародавнихъ временъ, когда въ Нагорной стоялъ казенный винокуренный заводъ, на которомъ всѣ работы производились каторжными. Впослѣдствіи, когда открылось золото, Балчуговка была запружена, а при запрудѣ поставлена, такъ называемая, золотопромывальная мельница, въ теченіе времени превратившаяся въ фабрику. Другая золотопромывальная мельница была устроена въ Фотьянкѣ,—мѣсто поселенія отбывшихъ каторжныя работы. Самое селеніе поэтому долгое время было извѣстно подъ именемъ Фотьянской мельницы.

Нагорная сторона Балчуговскаго завода служила настоящимъ каторжнымъ гнѣздомъ и всегда сторонилась Низовъ, гдѣ съ открытіемъ золота были посажены три рекрутскихъ набора. Промысловыя работы, какъ и каторжное винокуреніе, велись военной рукой, съ выслугой лѣтъ, палочьемъ и солдатской муштрой. Тогда все горное вѣдомство было поставлено на военную ногу. Поселившіеся въ Нагорной каторжане, согнанные сюда со всѣхъ концовъ крѣпостной Россіи, долго чуждались „некрутовъ“, набранныхъ изъ трехъ уральскихъ губерній. Эта рознь сохранилась, главнымъ образомъ, въ кличкахъ: нагорные „варнаки“, а низовые „строгали“ и „швали“. Отъ прежнихъ временъ на мѣстѣ бывшей каторги остались

еще „пьяный дворъ“, гдѣ былъ заводъ, развалины каменнаго острога, „пьяная контора“ и каменная церковь, выстроенная каторжными во вкусѣ Растрелли. Нагорные особенно гордились этой церковью, такъ какъ на Низахъ своей не было, и швали должны были ходить молиться въ Нагорную. Населенія въ Балчуговскомъ заводѣ считалось за десять тысячъ.

Зыковскій домъ стоялъ недалеко отъ церкви. Это была большая деревянная изба съ высокимъ конькомъ, тремя небольшими оконцами, до которыхъ отъ земли не достанешь рукой, и старинными шатровыми воротами съ вычурной рѣзьбой. Ставилась эта изба на расейскую руку, потому что и самъ старикъ Зыковъ былъ расейскій выходецъ. Когда и за что попалъ онъ на каторгу—никто не зналъ, а самъ старикъ не любилъ разговаривать о прошломъ, какъ и другіе старики-каторжане. Да и всего-то ихъ оставалось въ Балчуговскомъ заводѣ человѣкъ двадцать, да на Фотьянкѣ около того же. Гораздо живучѣе оказывались женщины-каторжанки, которыхъ насчитывалось въ Нагорной до полусотни,—все это были, конечно, уже старухи и всѣ до одной семейныя женщины. Мужчинамъ каторга давалась тяжелѣе, да и попадали они въ нее рѣдко молодыми,—а бабы, главнымъ образомъ, были молодыя. Первая жена Зыкова тоже была каторжанка. Она умерла рано, оставивъ послѣ себя одного сына Якова, которому сейчасъ было уже подъ шестьдесятъ. Свою избу Зыковъ ставилъ при первой женѣ, которую вспоминалъ съ особеннымъ уваженіемъ.

Вторая жена была взята въ своей же Нагорной сторонѣ; она была уже дочерью каторжанки. Зыковъ лѣтъ на двадцать былъ старше ея, но она сейчасъ уже выглядѣла развалиной, а онъ все еще былъ молодцомъ. Старикъ почему-то не долюбливалъ этой второй жены и при каждомъ удобномъ случаѣ вспоминалъ про первую: „Это еще при Мареѣ Тимоѳеевнѣ было“, или „Покойница Мареа Тимоѳеевна была большая охотница до заказныхъ блиновъ“. Въ первое время вторая жена, Устинья Марковна, очень обижалась этими воспоминаніями и разъ отрѣзала мужу:

— А не сказывала тебѣ твоя-то Мареа Тимоѳеевна, какъ изъ острога ее водили въ пьяную контору къ смотрителю Антону Лазаричу?

Зыковъ весь побѣлѣлъ, затрясся и чуть не убилъ жены, — да и убилъ бы, если бы не помѣшали. Этого онъ никогда не могъ простить Устиньѣ Марковнѣ и обращался съ нею довольно сурово. Отношенія съ жениной родней тоже были довольно натянуты, и Зыковъ дѣлалъ исключеніе только для одной тещи, въ которой, кажется, уважалъ подругу своей жены по каторгѣ. Дома старикъ бывалъ рѣдко, какъ мы уже говорили. Онъ выходилъ домой въ субботу вечеромъ, когда шабашили всѣ работы и когда нужно было итти въ баню. Онъ ночевалъ въ воскресенье дома, а затѣмъ въ воскресенье же вечеромъ уходилъ на свой постъ, потому что утро понедѣльника для него было самымъ боевымъ временемъ: нужно было всѣ работы пускать въ ходъ на цѣлую недѣлю, а рабочіе не всѣ выходили, справляя „узенькое воскре-

сенье", какъ на промыслахъ называли понедѣльникъ.

Вечеръ субботы въ зыковскомъ домѣ всегда былъ временемъ самаго тяжелаго ожиданія. Вся семья подтягивалась, а семья была не маленькая: сынъ Яковъ съ женой и дѣтьми, двѣ незамужнихъ дочери и зять, взятый въ домъ. Самъ старикъ жилъ въ передней избѣ, обставленной съ извѣстнымъ комфортомъ: на полу домотканные половики изъ ветоши, стѣны оклеены дешевенькими обоями, русская печь завѣшена ситцевой занавѣской, у одной стѣны своей, балчуговской работы, березовый диванъ и такіе же стулья, а на стѣнѣ лубочныя картины. Въ уголкѣ стоялъ таинственный деревянный шкафъ, всегда запертый на замокъ. Въ немъ, по глубокому убѣжденію всей семьи и всѣхъ сосѣдей, заключались несмѣтныя сокровища, потому что Родіонъ Потапычъ „ходилъ въ штейгерахъ близко сорокъ лѣтъ", а другіе наживали на такихъ мѣстахъ состояніе въ два-три года.

Собственно отвѣтственными лицами въ семьѣ являлись Устинья Марковна и старшій сынъ Яковъ. Еще поднимаясь по лѣсенкѣ на крыльцо, Зыковъ обыкновенно спрашивалъ:

— А гдѣ малый?

Яковъ Родіонычъ подъ этой кличкой успѣлъ посѣдѣть, облысѣть и нажить внучатъ. Весь заводъ называлъ его Яшей Малымъ. Это былъ безобидный человѣкъ и вмѣстѣ упрямый, какъ резина. Жена у него давно умерла, оставивъ дѣвочку Наташу и мальчика Петю. У себя дома Яша Ма-

лый не могъ распорядиться даже собственными дѣтьми, потому что все зависѣло отъ дѣдушки, а дѣдушка относился къ сыну съ большимъ подозрѣніемъ, какъ и къ Устиньѣ Марковнѣ. Изъ всей семьи Родіонъ Потапычъ любилъ только младшую дочь Ѳедосью, которой уже было подъ двадцать, что по-балчуговски считалось уже дѣвичьей старостью: какъ стукнетъ двадцать годковъ, такъ и перестарокъ. Съ первой дочерью Марьей, которая была на пять лѣтъ старше Ѳедосьи, такъ и случилось: до двадцати лѣтъ все женихи сватались, а Родіонъ Потапычъ все разбиралъ жениховъ, — этотъ не хорошъ, другой не хорошъ, а третій и совсѣмъ плохъ. Сама Марья уже записала себя въ незамужницы.

Была еще одна дочь, самая старшая, Татьяна, которая въ счетъ не клалась, потому что ушла замужъ убѣгомъ за строгаля въ Низахъ, по фамиліи Мыльникова. Это былъ настоящій mésalliance, навсегда выкинувшій непокорную дочь изъ родной семьи. Вотъ уже прошло цѣлыхъ двадцать лѣтъ, а Родіонъ Потапычъ еще ни разу не вспомнилъ про нее, да и никто въ домѣ не смѣлъ при немъ слова пикнуть про Татьяну. Болѣло за непокорную дочь только материнское сердце. Устинья Марковна подъ строжайшимъ секретомъ отъ мужа раза два въ годъ навѣщала Татьяну, хотя это и самой ей было въ тягость, потому что плохо жилось непокорной дочери,—мужъ попался „карахтерный“, подъ пьяную руку совсѣмъ буянъ, да и зашибалъ онъ водкой все чаще и чаще. У Татьяны почти каждый годъ рожался ребенокъ, но на ея

счастье дѣти больше умирали, и въ живыхъ оставались всего шесть человѣкъ, при чемъ дочь старшая, Окся, заневѣстилась давно. Выпивши, Мыльниковъ не упускалъ случая потравить „дорогого тестюшку“ и систематически устраивалъ скандалы Родіону Потапычу разъ десять въ годъ. Взятый въ домъ зять Прокопій былъ смирный и работящій мужикъ, который умѣлъ оставаться въ тестевомъ домѣ совершенно незамѣтнымъ. Его связывала быстро прибывавшая семья,—дѣтей было уже трое. Работалъ Прокопій на золотопромывальной фабрикѣ въ доводчикахъ и получалъ всего двѣнадцать рублей. Родіонъ Потапычъ почему-то дѣлалъ такой видъ, что совсѣмъ не замѣчаетъ этого покорнаго зятя, а тотъ въ свою очередь всячески старался не попадаться старику на глаза. Собственно вся семья Родіона Потапыча жалась въ одной задней избѣ, походившей на муравьище. Преобладаніе женскаго элемента придавало семьѣ особенный характеръ: сестры вѣчно вздорили между собой, а Устинья Марковна вѣчно ихъ мирила, плакалась на свою несчастную судьбу и въ крайнихъ случаяхъ грозилась, что пожалуется „самому“. До послѣдняго, положимъ, дѣло не доходило, но эта угроза производила желанное дѣйствіе. Главнымъ несчастіемъ всей своей жизни Устинья Марковна считала то, что у нея родились все дѣвки и ни одного сына. Этимъ она объясняла и нелюбовь мужа. Вонъ „варначка“ Марѳа Тимоѳеевна родила всего одного, да и тотъ сынъ...

Въ послѣднюю недѣлю въ зыковской семьѣ случилось такое событіе, которое сдѣлало субботу

роковымъ днемъ. Дѣло въ томъ, что любимая дочь Ѳедосья бѣжала изъ дома, какъ это сдѣлала въ свое время Татьяна,—съ той разницей, что Татьяна вѣнчалась, а Ѳедосья ушла въ раскольничью семью сводомъ. Верстахъ въ шести отъ Балчуговскаго завода разлилось довольно большое озеро Тайбола, а на немъ осѣло раскольничье селеніе, одноименное съ озеромъ. По сосѣдству балчуговцы и тайболовцы хотя и дружили, но въ болѣе близкія отношенія не вступали, а число браковъ было наперечетъ. Замѣчательной особенностью тайболовцевъ было еще и то, что, живя въ золотоносной полосѣ, они совсѣмъ не „занимались золотомъ". Съ послѣднимъ для раскольниковъ органически связывалось понятіе о каторгѣ, „некрутчинѣ" и вообще неволѣ.

Ѳедосья убѣжала въ зажиточную сравнительно семью; но кромѣ самовольства здѣсь было еще уклоненіе въ расколъ, потому что бракъ былъ сводный. Все это такъ поразило Устинью Марковну, что она вмѣсто того, чтобы дать сейчасъ же знать мужу на Фотьянку, задумала вернуть Ѳедосью домашними средствами, чтобы не дѣлать лишней огласки и чтобы не огорчить старика въ конецъ. Устинья Марковна сама отправилась въ Тайболу, но ея даже не допустили къ дочери, несмотря ни на ея слезы, ни на угрозы.

Это обстоятельство точно оглушило Устинью Марковну. Она ходила по дому и повторяла:

— Вотъ ужо воротится отецъ съ промысловъ и голову сниметъ!.. Разразитъ онъ всѣхъ... Охъ, смертынька пришла!..

Да и всѣ остальные растерялись. Дѣло выходило самое скверное, главное потому, что во-время не оповѣстили старика. А суббота быстро близилась... Въ пятницу былъ собранъ экстренный семейный совѣтъ. Зять Прокопій даже не вышелъ на работу по этому случаю.

— Што ужъ, матушка, убиваться-то безъ пути,— утѣшала замужняя дочь Анна.—Наше съ тобой дѣло бабье. Много ли съ бабы возьмешь? А пусть мужики отвѣчаютъ...

— Ишь, выискалась?! — ругался Яша. — Бабы должны за дѣвками глядѣть, штобы все сохранно было... Такъ вѣдь, Прокопій?

Прокопій по обыкновенію больше отмалчивался. У него всегда выходило какъ-то такъ, что и да и нѣтъ. Это поведеніе взорвало Яшу. Что, въ самомъ-то дѣлѣ, за все про все отдувайся онъ одинъ, а сами, чуть что, и въ кусты. Онъ напалъ на зятя съ особенной энергіей.

— Вотъ вы всѣ такіе, зятья!—ругался Яша.— Вамъ хоть трава не расти въ дому, лишь бы самихъ не трогали...

— Я, что же я?..—удивлялся Прокопій.—Мое дѣло самое маленькое въ дому: пока держитъ Родіонъ Потапычъ, и спасибо. Ты—сынъ, Яковъ Родіонычъ: тебѣ много поближѣе... Конешно, не всякій подступится къ Родіону Потапычу, ежели онъ въ сердцахъ...

Это была хитрая уловка со стороны тишайшаго зятя, знавшаго самое слабое мѣсто Яши. Онъ, конечно, сейчасъ же вскипѣлъ, обругалъ всѣхъ и довольно откровенно заявилъ:

— Дураки вы всѣ, вотъ што!.. Небойсь, прижали хвосты, а я вотъ нисколько не боюсь родителя... На волосъ не боюсь и все приму на себя. И Ѳедосьино дѣло тоже надо разсудить: одинъ женихъ не женихъ, другой женихъ не женихъ,—ну, и не стерпѣла дѣвка. По-человѣчеству надо разсудить... Вонъ Марья изъ-за родителя въ перестарки попала, а Ѳеня это и обмозговала: живой человѣкъ о живомъ и думаетъ. Такъ прямо и объясню родителю... Мнѣ што, я его вотъ на эстолько не боюсь!..

— Ты бы сперва съѣздилъ еще въ Тайболу-то,— нерѣшительно совѣтовала Устинья Марковна. — Можетъ и уговоришь... Не чужая тебѣ Ѳеня-то: родная сестра по отцу-то.

— И въ Тайболу съѣзжу!—горячился Яша, размахивая руками.—Я этихъ кержаковъ въ бараній рогъ согну... „Отдавайте Ѳедосью назадъ!“ Вотъ и весь сказъ... У меня, братъ, не отвертишься.

Напустивъ на себя храбрости, Яша къ вечеру замѣтно остылъ и только почесывалъ затылокъ. Онъ сходилъ въ кабакъ, потолкался на народѣ и пришелъ домой только къ ужину. Храбрости оставалось совсѣмъ немного, такъ что и ночь Яша спалъ очень скверно и проснулся чуть свѣтъ. Устинья Марковна поднималась въ домѣ раньше всѣхъ и видѣла, какъ Яша начинаетъ трусить. Роковой день наступалъ. Она ничего не говорила, а только тяжело вздыхала. Напившись чаю, Яша объявилъ:

— Ну, мамушка Устинья Марковна, благословляй... Сейчасъ ѣду въ Тайболу выручать Ѳеню.

— Дай тебѣ Богъ, Яша... Смотри, отецъ выворотится сейчасъ послѣ свистка.

Въ критическихъ случаяхъ Яша принималъ самый торжественный видъ, а сейчасъ трудность миссіи сопряжена была съ вопросомъ о собственной безопасности. Въ виду всего этого Яша засѣдлалъ лошадь и отправился на подвигъ верхомъ. Устинья Марковна выскочила за ворота и благословила его вслѣдъ.

Дорога въ Тайболу проходила Низами, такъ что Яшѣ пришлось ѣхать мимо избушки Мыльникова, стоявшей на тракту, какъ называли дорогу въ городъ. Было еще раннее утро, но Мыльниковъ стоялъ за воротами и смотрѣлъ, какъ ѣхалъ Яша. Это былъ средняго роста мужикъ съ растрепанными волосами, клочковатой рыжей бороденкой и какими-то „ядовитыми" глазами. Яша не любилъ встрѣчаться съ зятемъ, который обыкновенно поднималъ его насмѣхъ, но теперь неловко было проѣхать мимо.

— Куда такую рань наклался, дорогой деверекъ?—спрашивалъ Мыльниковъ, здороваясь.

Въ окнѣ проваленной избушки мелькнуло испитое лицо Татьяны, а затѣмъ показались ребячьи головы.

— Да такъ... въ городъ по дѣлу надо съѣздить,— совралъ Яша и такъ неловко, что самъ смутился.

— Ну, ну, не ври, коли не умѣешь!—оборвалъ его Мыльниковъ.—Небойсь, въ гости къ богоданному зятю поѣхалъ?.. Ха-ха... Эхъ, вы, раздуй васъ горой: завели зятя. Только родню страмите... А што, дорогой тестюшка каково прыгаетъ?..

— И не говори: бѣда... Объявить не знаемъ какъ, а сегодня выйдетъ домой къ вечеру. Мамушка ужъ ѣздила въ Тайболу, да ни съ чѣмъ выворотилась, а теперь меня заслала... Можетъ и оборочу Ѳеню.

— Хо-хо!.. Нашелъ дураковъ... Дѣвка макъ, такъ ее кержаки и отпустили. Да и тебѣ не обмозговать этого самаго дѣла... да. Вонъ у меня дерево стоеростовое растетъ, Окся; съ руками бы и ногами отдалъ куда-нибудь на мясо,—да никто не беретъ. А вы плачете, што Ѳеня своимъ умомъ устроилась...

— Да это бы Богъ съ ней, што убѣгомъ, Тарасъ Матвѣичъ, а вотъ вѣра-то ихняя стариковская.

Мыльниковъ подумалъ, почесалъ въ затылкѣ и проговорилъ:

— А это ты правильно, Яша... Ни баба, ни дѣвка, ни солдатка наша Ѳеня... Ахъ, раздуй ихъ горой, кержаковъ!.. Да ты вотъ што, Яша, подвинься немного въ сѣдлѣ...

Не дожидаясь приглашенія, Мыльниковъ самъ отодвинулъ Яшу вмѣстѣ съ сѣдломъ къ гривѣ, подскочилъ, навалился животомъ на лошадиный крупъ, а затѣмъ усѣлся за Яшей.

— Да ты куда это?—изумлялся Яша.

— Какъ куда? Поѣдемъ въ Тайболу... Тебѣ одному не управиться, а ужъ я, братъ, изъ горла добуду. Эй, Окся, волоки мнѣ картузъ...

На этотъ крикъ показалась средняго роста дѣвка съ рябымъ скуластымъ лицомъ. Это и была Окся. Она какъ-то исподлобья посмотрѣла на Яшу и подала картузъ.

— Ну, ты, дерево, смотри у меня!—пригрозилъ ей отецъ,—Штобы къ вечеру работа была кончена...

Окся только широко улыбнулась, показавъ два ряда бѣлыхъ зубовъ. Чадолюбивый родитель, отъѣхавъ шаговъ двадцать, оглянулся, погрозилъ Оксѣ кулакомъ и проговорилъ:

— Уродится же этакое дерево... а?..

IV.

До Тайболы считали верстъ пять, и дорога все время шла столѣтнимъ сосновымъ боромъ, сохранившимся здѣсь еще отъ „казенной каторги", какъ говорилъ Мыльниковъ, потому что золотые промысла раскинулись по ту сторону Балчуговскаго завода. Дорога здѣсь была бойкая, по ней въ городъ и изъ города шли и ѣхали „безъ утыху", а теперь въ особенности, потому что зимній путь былъ на исходѣ, и въ городъ безъ конца тянулись транспорты съ дровами, сѣномъ и разнымъ деревенскимъ продуктомъ. Мыльниковъ зналъ почти всѣхъ, кто встрѣчался, и не упускалъ случая побалагурить.

— Ну, Яшенька, и зададимъ мы кержакамъ горячаго до слезъ!..—хвастливо повторялъ онъ, ерзая по лошадиной спинѣ.—Всю ихнюю стариковскую вѣру вверхъ дномъ поставимъ... Уважимъ въ лучшемъ видѣ! Хорошо, што ты на меня натакался, Яша, а то одному-то тебѣ гдѣ бы сладить... Э-э, мотри: вѣдь это нашъ Шишка пѣхтурой въ городъ копотитъ! Онъ...

Они нагнали шагавшаго по дорогѣ Кишкина уже въ виду Тайболы, гдѣ сосновый боръ точно разступался, открывая широкій видъ на озеро. Кишкинъ остановился и подождалъ ѣхавшихъ верхомъ родственниковъ.

— Андрону Евстратычу! — крикнулъ Мыльниковъ еще издали, взмахивая своимъ картузомъ.— Погляди-ка, какъ Тарасъ Мыльниковъ на тестевыхъ лошадяхъ покатывается...

— Али на свадьбу собрались?—пошутилъ Кишкинъ, осклабившись. Онъ уже зналъ объ убѣгѣ Ѳени.

— Горе наше лютое, а не свадьба, Андронъ Евстратычъ,—пожаловался Яша, качая головой.—Родитель сегодня къ вечеру выворотится съ Фотьянки и всѣхъ насъ распатронитъ...

— Богъ не безъ милости, Яша,—утѣшалъ Кишкинъ.—Ужъ такое ихъ дѣвичье положенье: сколь дѣвку ни корми, а все чужая... Вотъ што, други, надо мнѣ съ вами переговорить по-тайности: большое есть дѣло. Я тоже до Тайболы, а оттуда домой и къ тебѣ, Тарасъ, по пути заверну.

— Милости просимъ, Андронъ Евстратычъ... Ты это не насчетъ ли Пронькиной Вышки промышляешь?..

— А ты пасть-то свою раствори, Тарасъ!— огрызнулся Кишкинъ.—О Пронькиной Вышкѣ своя рѣчь... Ахъ, бо̀тало коровье!.. Съ тобой пива не сваришь...

— Только припасай денегъ, Андронъ Евстратычъ, а ужъ я тебѣ богачество предоставлю!— хвастался Мыльниковъ.—Я въ третьемъ году шиш-

ковалъ въ Кедровской, такъ завернулъ на Пронькину-то Вышку... И мѣстечко только.

У самаго въѣзда въ Тайболу, на лѣвой сторонѣ дороги, зеленой шапкой виднѣлся старый раскольничій могильникъ. Дорога здѣсь двоилась: трактъ отдѣлялъ влѣво узенькую дорожку, по которой и нужно было ѣхать Яшѣ. На розстани они попрощались съ Кишкинымъ, и Мыльниковъ презрительно проговорилъ ему вслѣдъ:

— Шишка и есть: ни конца, ни краю не найдешь. Однимъ словомъ, двухъ-орловый!.. Туда же, золота захотѣлъ! Ха-ха... Такъ я ему и сказалъ, гдѣ оно спрятано. А у меня есть мѣстечко... охъ, какое мѣстечко, Яша!.. Гляди-ка, вѣдь это кабатчикъ Ермошка на своемъ виноходцѣ закопачиваетъ? Онъ... Ловко. Въ городъ погналъ съ краденымъ золотомъ...

Раскольничье „жило“ начиналось сейчасъ за могильникомъ. Третій отъ края домъ принадлежалъ скорнякамъ Кожинымъ. Старая высокая изба, поставленная изъ кондоваго лѣса, выходила огородомъ на озеро. На самомъ берегу стояла и скорняжная—каменное низкое зданіе, распространявшее зловоніе на весь кварталъ. Верстъ на пять берегъ озера былъ обложенъ раскольничьей стройкой, разорванной въ самой серединѣ двумя пустырями: здѣсь красовались два большихъ раскольничьихъ скита, мужской и женскій, построенные въ тридцатыхъ годахъ нынѣшняго столѣтія. Видъ на озеро отъ могильника лѣтомъ былъ очень красивъ, а тайбольцы ничего лучшаго не могли и представить.

— Подворачивай!—крикнулъ Мыльниковъ, когда они поровнялись съ кожинской избой.—Дорогіе гости пріѣхали.

Ворота у Кожиныхъ всегда были по раскольничьему обычаю на запорѣ, и гостямъ пришлось стучаться въ окно. Показалось строгое старушечье лицо.

— Летѣла жаръ-птица, ронила золотое перо, а мы по слѣду и пріѣхали къ тебѣ, баушка Маремьяна,—заговорилъ Мыльниковъ, когда отодвинулось волоковое окно.

— Заходите, гости будете,—пригласила старуха, дергая шнурокъ, проведенный къ воротной щеколдѣ.—Коли съ добромъ, такъ милости просимъ...

Дворъ былъ крытъ наглухо, и здѣсь царила такая чистота, какой не увидишь у православныхъ въ избахъ. Яша молча привязалъ лошадь къ столбу, оправилъ шубу и пошелъ на крыльцо. Мыльниковъ уже былъ въ избѣ. Яша по привычкѣ хотѣлъ перекреститься на образъ въ переднемъ углу, но Маремьяна его оговорила:

— У себя дома молись, родимый, а наши образа оставь... Садитесь, гостеньки дорогіе.

Изба была оклеена обоями на городскую руку; на полу вездѣ половики; русская печь закрыта ситцевымъ пологомъ. Окна и двери были выкрашены, а вмѣсто лавокъ стояли стулья. Изъ передней избы небольшая дверка вела въ заднюю маленькимъ теплымъ коридорчикомъ.

— Ну, начинай, чего молчишь, какъ пень?—подталкивалъ Яшу Мыльниковъ.—За дѣломъ пріѣхали...

Яша моргалъ глазами, гладилъ свою лысину и не смѣлъ взглянуть на стоявшую посреди избы старуху.

— Намъ бы сестрицу Ѳедосью Родіоновну повидать... — проговорилъ наконецъ Яша, чувствуя, какъ его начинаетъ пробивать потъ.

— Не чужіе будемъ, баушка Маремьяна,—вставилъ Мыльниковъ.

— А на какую причину она вамъ понадобилась?—отвѣтила старуха.

Старуха была одѣта по-старинному, въ кубовый косоклинный сарафанъ и въ бѣлую холщевую рубашку. Темный старушечій платокъ покрывалъ голову.

— Мы добромъ пріѣхали, баушка Маремьяна,— отвѣчалъ Мыльниковъ, размахивая рукой. — Однимъ словомъ, сродственники... Не съѣдимъ сестрицу Ѳедосью Родивоновну.

— Ладно, коли съ добромъ,—согласилась старуха и вышла въ маленькую дверку.

— Медвѣдица...—проговорилъ Мыльниковъ, указывая глазами на дверь, въ которую вышла старуха.—Погоди, вотъ я разговорюсь съ ней по-настоящему... Такого холоду напущу, что не обрадуется.

Вошла Ѳеня, высокая и стройная дѣвушка, конфузившаяся теперь своего краснаго кумачнаго платка, повязаннаго по-бабьи. Она замѣтно похудѣла за эти дни и пугливо смотрѣла на брата и на зятя своими большими сѣрыми глазами, опушенными такими длинными рѣсницами.

— Здравствуйте, братецъ, Яковъ Родивонычъ,—

покорнымъ тономъ проговорила она, кланяясь.— И вы, Тарасъ Матвѣичъ, здравствуйте...

— Вотъ што, Ѳеня,—заговорилъ Яша:—сегодня родитель съ Фотьянки выворотится—и всѣмъ намъ изъ-за тебя безъ смерти смерть... Вотъ какая оказія, сестрица любезная. Мамушка слезьми изошла... Наказала кланяться.

— Крутенекъ тестюшка-то Родивонъ Потапычъ,— прибавилъ Мыльниковъ. — Таку резолюцію наведетъ...

— Что же я, братецъ Яковъ Родивонычъ...— прошептала Ѳеня со слезами на глазахъ.—Одинъ мой грѣхъ и тотъ на виду, а тамъ ужъ какъ батюшка разсудитъ... Мужъ за меня отвѣтитъ, Акинфій Назарычъ. Жаль мнѣ матушку до смерти...

Она всхлипнула и закрыла лицо руками. Въ коридорѣ за дверкой слышалось осторожное шушуканье, а потомъ показался самъ Акинфій Назарычъ, плотный и красивый молодецъ, одѣтый по-городски въ суконный пиджакъ и брюки на выпускъ.

— Вотъ что, господа,—заговорилъ онъ, прикрывая жену собой:—не женское дѣло разговоры разговаривать... У Ѳедосьи Родіоновны есть мужъ, онъ и въ отвѣтѣ. Такъ скажите и батюшкѣ Родіону Потапычу... Мы отъ отвѣта не прячемся. Нашъ грѣхъ...

— Вотъ ты поговори съ нимъ, съ тестемъ-то, малиновая голова!—замѣтилъ Мыльниковъ и засмѣялся.—Онъ тебѣ покажетъ...

— И поговоримъ и даже очень поговоримъ,— увѣренно отвѣтилъ Акинфій Назарычъ.—Не первая Ѳедосья Родіоновна и не послѣдняя.

— Да про убѣгъ нѣтъ слова, Акинфій Назарычъ, — вступился Яша: — дѣло житейское... А вотъ какъ насчетъ вѣры? Не стерпитъ тятенька.

— Что же вѣра? Всѣ одному Богу молимся, всѣ грѣшны, да Божьи... И опять не первая Ѳедосья Родіоновна по древнему благочестію вдалась: у Мятелевыхъ жена православная въ городу взята, у Никоновыхъ ваша же балчуговская... Да мало ли!.. А между прочимъ, что это мы разговариваемъ, какъ на окружномъ судѣ... Мамынька, Ѳеня, обряжайте закусочку да чего-нибудь потеплѣе для родственниковъ. Честь лучше безчестья завсегда... Такъ, вѣдь, Тарасъ?

— Ахъ, и хитеръ ты, Акинфій Назарычъ!—блаженно изумлялся Мыльниковъ.—Въ самое то-есть живое мѣсто попалъ... Семь бѣдъ—одинъ отвѣтъ. Когда я Татьяну свою уволокъ у Родивона Потапыча, было тоже грѣха, а только я свою линію строго повелъ. Нѣтъ, братъ, шалишь... Не тронь!..

Закуска и выпивка явились какъ по щучьему велѣнью: и водка, и настойка, тенерифъ, и капуста, и грибочки, и огурчики.

— Господа, пожалуйте!—приглашалъ Акинфій Назарычъ.—Сухая ложка ротъ деретъ... Вкусимъ по единой, аще же не претитъ, то и по другой.

Яша тяжело вздохнулъ, принимая первую рюмку, точно онъ продавалъ себя. Эхъ, и достанется же отъ родителя... Ну, да все равно: семь бѣдъ—одинъ отвѣтъ... И Ѳени жаль и родительской грозы не избѣжать. Зато Мыльниковъ торжествовалъ, попавъ на даровое угощеніе... Любилъ онъ выпить въ хорошей компаніи...

— А гдѣ баушка Маремьяна?—присталъ онъ.— Хочу безпремѣнно съ ей выпить, потому люблю... Ѳеня, тащи баушку!..

Старуха для приличія поломалась, а потомъ вышла и даже „пригубила“ какой-то настойки.

— Какъ же теперь намъ быть?—спрашивалъ Яша послѣ третьей рюмки.—Безъ ножа зарѣзала насъ Ѳеня...

— Чему быть, того не миновать!—весело отвѣтилъ Акинфій Назарычъ.—Ну, пошумитъ старикъ, покажетъ пыль—и весь тутъ... Не всякое лыко въ строку. Мало ли наши кержанки за православныхъ убѣгомъ идутъ? Тутъ, братъ, силой ничего не подѣлаешь. Не тѣ времена, Яковъ Родіонычъ. Разсудите вы сами...

— Оно, конечно,—соглашался пьянѣвшій Яша.— Я, вѣдь, тоже съ родителемъ на перекосыхъ... Очень ужъ онъ компаніи нашей подверженъ, а я наоборотъ: до старости у родителя въ недоноскахъ состою... Тоже въ другой разъ и обидно.

— А ты выдѣла требуй, Яша,—совѣтовалъ Мыльниковъ.—Слава Богу, своимъ умомъ пора жить... Я бы такъ давно наплевалъ: самъ большой—самъ маленькій, и знать ничего не хочу. Вотъ каковъ Тарасъ Мыльниковъ!

— Перестань молоть! — оговаривала его старая Маремьяна.—Не вездѣ въ задоръ да волчьимъ зубомъ, а миркомъ да ладкомъ, пожалуй, лучше... Такъ вѣдь я говорю, сватъ—большая родня?

— Какой я сватъ, баушка Маремьяна, когда Родивонъ Потапычъ считаетъ меня въ томъ родѣ, какъ троюродное наплевать. А мнѣ Богъ съ нимъ...

Я бы его не обидѣлъ. А выпить мы можемъ завсегда... Ну, Яша, которую не жаль, та и наша.

Съ каждой новой рюмкой гости дѣлались все разговорчивѣе. У Яши начали сладко слипаться глаза, и онъ чувствовалъ себя уже совсѣмъ хорошо.

— Что же, ну, пусть родитель выворачивается съ Фотьянки...—разсуждалъ онъ, дѣлая соотвѣтствующій жестъ.— Ну, выворотится, я ему напрямки и отрѣжу: такъ и такъ, былъ у Кожиныхъ, видѣлъ сестрицу Ѳедосью Родивоновну и всякое протчее... А тамъ хоть на части рѣжь...

— Онъ за бабъ примется,—говорилъ Мыльниковъ, удушливо хихикая.—И достанется бабамъ... ахъ, какъ достанется. А ты, Яша, ко мнѣ ночевать, къ Тарасу Мыльникову. Никто пальцемъ не смѣетъ тронуть... Вотъ это какое дѣло, Яша!

Когда гости нагрузились въ достаточной мѣрѣ, баушка Маремьяна выпроводила ихъ довольно безцеремонно. Что же, будетъ, посидѣли, выпили— надо и честь знать, да и дома ждутъ. Яша съ трудомъ усѣлся въ сѣдло, а Мыльниковъ занесъ уже половину своего пьянаго тѣла на лошадиный крупъ, но вернулся, отвелъ въ сторону Акинфія Назарыча и таинственно проговорилъ:

— Ужъ я все устрою, шуринъ... все!.. У меня, братъ, Родивонъ Потапычъ не отвертится... Я его приструню. А ты, Акинфій Назарычъ, соблаговоли мнѣ какъ-нибудь выросточекъ: у тебя ихъ много, а я сапожки сошью. Ухъ, у меня ловко моя Окся орудуетъ...

— Хорошо, хорошо...—соглашался „молодой“.— Двѣ кожи подарю. Самъ привезу.

Гостей едва выпроводили. Ѳеня горько плакала. Что-то тамъ будетъ, когда воротится домой грозный тятенька?.. А эти пьянчуги только ее срамятъ... И зачѣмъ пріѣзжали, подумаешь: у обоихъ умокъ-то ребячій.

— Перестань убиваться-то, — ласково уговаривалъ жену Акинфій Назарычъ.—Москва слезамъ не вѣритъ... Хорошая-то родня по хорошимъ, а наше ужъ такое съ тобой счастье.

Яша и Мыльниковъ возвращались домой въ самомъ праздничномъ настроеніи и, миновавъ могильникъ, затянули даже пѣсню:

Какъ сибирскій енералъ
Да станового обучалъ...

На тракту ихъ опять обогналъ цѣловальникъ Ермошка, возвращавшійся изъ города. Съ нимъ вмѣстѣ ѣхалъ пріисковый доводчикъ Ераковъ. Оба были немного навеселѣ.

— Охъ, два голубя, два сизыхъ!—крикнулъ Ермошка, поровнявшись съ верховыми. — Откедова Богъ несетъ?.. Подмокли малымъ дѣломъ...

— А тебѣ завидно?—огрызнулся Мыльниковъ. — Кабацкая затычка и больше ничего.

Ермошка любилъ когда его ругали, а чтобы потѣшиться, подстегнулъ лошадь веселыхъ родственниковъ, и они чуть не свалились вмѣстѣ съ сѣдломъ. Этотъ маленькій эпизодъ нѣсколько освѣжилъ ихъ, и они опять запѣли во все горло про сибирскаго генерала. Только подъѣзжая къ Балчуговскому заводу, Яша началъ приходить въ себя: хмель сразу вышибло. Онъ все чаще и чаще сталъ пробовать свой затылокъ...

— Который теперь часъ?—спрашивалъ онъ.

— А скоро, видно, три... Гляди ужъ господа теперь чай пьютъ. А ты, другъ, заѣдемъ на-перво ко мнѣ, а отъ меня... Знаешь, я тебя провожу. Боишься родителя-то?

— А ну его... Побьетъ еще, пожалуй.

— Н-но-о?..

— Вѣрно тебѣ говорю.

Яшей овладѣло опять такое малодушіе, что онъ радъ былъ хоть на часъ отсрочить неизбѣжную судьбу. У него сохранился къ деспоту-отцу какой-то паническій страхъ... А вотъ и Балчуговскій заводъ и широкая улица, на которой стояла проваленная избенка Тараса.

— Гли-ко, гли, Яша!—крикнулъ Мыльниковъ, выглядывая изъ-за его спины. — У моихъ-то воротъ кто сидитъ?

— И то какъ будто сидитъ.

— Да, вѣдь, это Шишка... Вѣрное слово!.. Ахъ, раздуй его горой...

У воротъ избы Тараса дѣйствительно сидѣлъ Кишкинъ, а рядомъ съ нимъ Окся. Старикъ что-то расшутился и довольно галантно подталкивалъ свою даму локтемъ въ бокъ. Окся сначала ухмылялась, показывая два ряда бѣлыхъ зубовъ, а потомъ, когда Кишкинъ попалъ локтемъ въ непоказанное мѣсто, съ быстротой обезьяны наотмашь ударила его кулакомъ въ животъ. Старикъ громко вскрикнулъ отъ этой любезности, схватившись за животъ обѣими руками, а развеселившаяся Окся треснула его еще разъ по затылку и убѣжала.

— Охъ-хо-хо! — заливался рара-Мыльниковъ,

подъѣзжавшій въ этотъ трагическій моментъ къ своему пепелищу. — Вотъ такъ Окся: уважила Андрона Евстратыча... Ишь, разыгралась къ ненастью! Ахъ курва, Окся, ловко она саданула...

V.

Ожиданіе возвращенія съ Фотьянки „самого“ въ зыковскомъ домѣ было ужасно. Сама Устинья Марковна чувствовала только одно, что у нея впередъ и языкъ нѣмѣетъ, и ноги подкашиваются. Что она будетъ говорить взбѣшенному мужу, когда сама кругомъ виновата и во-время не досмотрѣла за дочерью? Понадѣялась на дѣвичью совѣсть... „Вѣковушка“ Марья и замужняя Анна, конечно, останутся въ сторонѣ. Послѣдняя, хотя и слабая, надежда у старухи была на мужиковъ, на пасынка Яшу и на зятя Прокопія. Она все поглядывала въ окошко, не ѣдетъ ли Яша. Вотъ уже стало и темнѣться, значитъ близко шести часовъ, а въ семь свистокъ на фабрикѣ, а къ восьми выворотится Родіонъ Потапычъ и первымъ дѣломъ хватится своей Ѳени. Каждый стукъ на улицѣ заставлялъ ее вздрагивать.

— Хоть бы Прокопій-то поскорѣе пришелъ, — вслухъ думала старушка, начинавшая сомнѣваться въ благополучномъ исходѣ Яшиной засылки.

Вотъ загудѣлъ и свистокъ на фабрикѣ. Подъ окнами затопали торопливо шагавшіе съ фабрики рабочіе,—всѣ торопились по домамъ, чтобы поскорѣе попасть въ баню. Вотъ и зять Прокопій пришелъ.

— Нѣту, вѣдь, Яши-то, — шопотомъ сообщила ему Устинья Марковна.—Съ самаго утра уѣхалъ... Што ему дѣлать-то въ Тайболѣ столько время?.. Думаю, не завернулъ ли Яша въ кабакъ къ Ермошкѣ...

Прокопій ничего не отвѣтилъ. Онъ закусилъ у печки вчерашняго пирога съ капустой и пошелъ изъ избы.

— Ты куда, Прокопій?—окликнула его въ ужасѣ Устинья Марковна.

— Я пойду Яшу искать,—отвѣтилъ онъ, глядя въ уголъ.—Куды мы безъ него? Некуда ему дѣться окромя кабака.

И теща и жена отлично понимали, что Прокопій хочетъ скрыться отъ грѣха, пока Родіонъ Потапычъ будетъ производить надъ бабами судъ и расправу, но ничего не сказали: что же, извѣстное дѣло, зять... Всякому до себя.

— А што же въ баню-то сегодня не пойдешь што ли?—окликнула Прокопія уже на порогѣ вѣковушка Марья.

— Успѣется и баня, — отвѣтилъ Прокопій. — Пусть батюшка первымъ идетъ...

„Банный день“ справлялся у Зыковыхъ по-старинѣ: прежде, когда не было зятя, первыми шли въ баню старики, чтобы воспользоваться самымъ дорогимъ первымъ паромъ, за стариками шелъ Яша съ женой, а послѣ всѣхъ остальная чадь, т.-е. дѣвки, которыя вообще за людей не считались. Съ выходомъ Анны замужъ „первый паръ“ былъ уступленъ зятю, а потомъ шли старики. Убѣгавшій теперь отъ перваго пара Прокопій по-

казывалъ свою полную нравственную несостоятельность, что и подчеркнула своимъ вопросомъ вѣковушка Марья. Она горько улыбнулась, когда захлопнулась дверь за Прокопіемъ, и проворчала:

— Тоже, мужикъ называется... Оставилъ однѣхъ бабъ. Развѣ такъ настоящіе-то мужики дѣлаютъ?..

— Молчи, Марья!—окликнула ее мать.—Ты бы вотъ завела своего мужика, да и мудрила надъ нимъ... Не больно-то много нонѣ съ зятя возьмешь, а нашъ Прокопій воды не замутитъ.

— У тебя нѣтъ лучше Прокопья,—ворчала Марья.

— Ты у меня поворчи!—крикнула мать.—Зубы-то долги стали...

За убѣгомъ Ѳени съ Марьей точно что сдѣлалось, и она постоянно приставала къ матери, чего раньше и въ поминѣ не было.

Время летѣло быстро, и Устинья Марковна совсѣмъ упала духомъ: спасенья не было. Въ другой бы день можетъ кто-нибудь вечеромъ завернулъ, а на людяхъ Родіонъ Потапычъ и укротился бы, но теперь объ этомъ нечего было и думать: кто же пойдетъ въ банный день по чужимъ дворамъ. На всякій случай затеплила она лампадку предъ Скорбящей и положила предъ образомъ три земныхъ поклона.

Родіонъ Потапычъ явился на цѣлыхъ полчаса раньше, чѣмъ его ожидали. Его подвезъ какой-то попутній изъ Фотьянки.

— А гдѣ Ѳеня?—спросилъ онъ по обыкновенію, поднимаясь на крыльцо.

— Въ сосѣди увернулась, — отвѣтила Устинья Марковна, ни живая, ни мертвая отъ страху.

— Не нашла время...

Старикъ вошелъ въ избу, снялъ съ себя шубу, поставилъ въ передній уголъ желѣзную кружку съ золотомъ, добылъ изъ-за пазухи завернутый въ бумагу динамитъ и потомъ уже помолился.

— Это на какую причину лампадка теплится?— спросилъ онъ.

— А воскресенье завтра, Родивонъ Потапычъ... Банька готова, хоть сейчасъ можно итти.

— А Прокопій, когда успѣлъ въ баню сходить?

— Да онъ потомъ, Родивонъ Потапычъ, онъ тоже увернулся по дѣлу.

— Порядковъ не знаете?!—крикнулъ старикъ и топнулъ ногой.—Ты у меня смотри, потатчица...

Онъ сразу почуялъ что-то неладное и грозно посмотрѣлъ на трепетавшую старуху, потомъ хотѣлъ что-то сказать, но въ этотъ критическій моментъ подъ самымъ окномъ раздалась пьяная пѣсня:

Какъ сибирскій енералъ
Да ста-анового о-бучалъ!..

Устинья Марковна такъ и обомлѣла; она сразу узнала голосъ пьянаго Яши... Не успѣла она опомниться, какъ пьяные голоса уже послышались во дворѣ, а потомъ грузный топотъ шарашавшихся ногъ на крыльцѣ.

— Батюшки, да никакъ и Тарасъ съ нимъ!— охнула Устинья Марковна, опрометью бросаясь изъ избы, чтобы прогнать пьяницъ.

Но было уже поздно. Тарасъ и Яша входили въ избу, подталкивая другъ друга и придерживаясь за косяки.

— Родителю... многая лѣта...—бормоталъ Мыльниковъ, какъ-то сдирая шапку съ головы.—А мы вотъ съ Яшей, значитъ, тово... Да ты говори, Яша?..

Родіонъ Потапычъ точно онѣмѣлъ: онъ не ожидалъ такой отчаянной дерзости ни отъ Яши, ни отъ зятя. Пьяные, какъ стельки, и лѣзутъ съ мокрымъ рыломъ прямо въ избу... Предчувствіе чего-то дурного остановило Родіона Потапыча отъ надлежащей мѣры, хотя онъ уже и приготовилъ руки.

— Такъ мы, значитъ, изъ Тайболы...—объяснилъ Мыльниковъ, тыкая шапкой впередъ.—Отъ Ѳедосьи Родивоновны поклончикъ привезли.

— Отъ какой Ѳедосьи Родивоновны?—повторилъ старикъ, чувствуя, какъ у него волосы поднимаются дыбомъ.—Да вы сбѣсились, оглашенные?.. Да я...

— А ты не больно, родитель, тово...—неожиданно заявилъ насмѣлившійся Яша.—Не наша причина съ Тарасомъ, ежели Ѳеня тово... убѣжала, значитъ, въ Тайболу. Мы ее какъ домой тащили, а она свое... Однимъ словомъ, дура.

Тутъ уже Устинья Марковна не вытерпѣла и комомъ повалилась въ ноги грозному мужу, причитывая:

— Ужъ и што мы надѣлали!.. Ѳеня-то сбѣжала въ Тайболу... за кержака, за Акиньку Кожина... Третій день пошелъ...

Зыковъ зашатался на мѣстѣ, рванулъ себя за сѣдую бороду и рухнулъ на деревянный диванъ. Старуха подползла къ нему и съ причитаньями ухватилась за ногу, но онъ грубо оттолкнулъ ее.

— Да вы... вы одурѣли тутъ всѣ безъ меня?—

хрипло крикнулъ онъ, все еще не вѣря собственнымъ ушамъ.—Да я васъ... Яшка вонъ!.. Штобы и духу твоего не осталось.

— А ты не больно, родитель, тово... — дерзко отвѣтилъ Яша.

— Што-о?!.

— А вотъ это самое... Будетъ тебѣ надо мной измываться. Вполнѣ даже достаточно... Пора мнѣ и своимъ умомъ жить... Выдѣли меня, и конецъ тому дѣлу. Купи мнѣ избу, лошадь, коровенку, ну, обзаведенье, а тамъ я самъ...

— Правильно, Яша!..—поощрялъ Мыльниковъ.— У меня въ сусѣдяхъ мѣсто продается, первый сортъ. Я его самъ для себя берегъ, а тебѣ, ужъ такъ и быть, уступаю...

Старикъ рванулся съ мѣста, схватилъ Яшу лѣвой рукой, зятя правой и вытолкалъ ихъ за дверь...

— Да ты не больно!..—кричалъ Мыльниковъ уже въ сѣняхъ.—Ишь, какой выискался... Мы тоже и сами съ усами!.. Айда, Яша, со мной...

Въ этотъ моментъ выскочила изъ задней избы Наташа и ухватила отца за руку да такъ и повисла.

— Тятя, родимый!.. Я боюсь!.. Тятя!..

— Ну, вотъ...—проговорилъ Яша такимъ покорнымъ тономъ, какъ человѣкъ, который попалъ въ капканъ.—Ну, што я теперь буду дѣлать, Тарасъ? Наташка, отцѣпись, глупая...

— Тятенька, миленькій...

Яша сразу обезсилѣлъ: онъ совсѣмъ забылъ про существованіе Наташки и сынишки Пети. Куда онъ съ ними дѣнется, ежели родитель выгонитъ на улицу?.. Пока большія бабы судили да рядили,

Наташка не принимала въ этомъ никакого участія. Она пѣстовала своего братишку смирненько гдѣ-нибудь въ уголкѣ, какъ и слѣдуетъ сиротѣ, и все ждала, когда вернется отецъ. Когда въ передней избѣ поднялся крикъ, у ней тряслись руки и ноги.

— Наташка, перестань... брось... — уговаривалъ ее Мыльниковъ.—Не смущай свово родителя...Вишь, какъ онъ сразу укоротился. Яша, што же это ты въ самомъ-то дѣлѣ?.. По первому разу и испугался родителей...

— И ты тоже хорошъ,—корилъ Яша своего сообщника.—Только языкомъ здря болтаешь... Ступай-ка вотъ, поговори съ тестемъ-то.

Мыльниковъ презрительно фыркнулъ на малодушнаго Яшу и смѣло отворилъ дверь въ переднюю избу. Тамъ шелъ судъ. Родіонъ Потапычъ сидѣлъ попрежнему на диванѣ, а Устинья Марковна, стоя на колѣняхъ, во всѣхъ подробностяхъ разсказывала, какъ все вышло. Когда она начинала всхлипывать, старикъ грозно сдвигалъ брови и топалъ на нее ногой. Появленіе Мыльникова нарушило это супружеское объясненіе.

— Ты... ты зачѣмъ? — грозно спрашивалъ его старикъ.

— А дѣло есть, Родіонъ Потапычъ... Ты вотъ Тараса Мыльникова въ шею, а Тарасъ Мыльниковъ тебѣ же съ добромъ, съ хорошимъ словомъ.

— Говори скорѣе, коли дѣло есть, а то проваливай, кабацкая затычка...

— И не маленькое дѣльце, Родивонъ Потапычъ, только пусть любезная наша теща Устинья Мар-

ковна какъ быдто выдетъ изъ избы. Женскому полу это не слѣдствуетъ и понимать...

Зыковъ сдѣлалъ знакъ глазами, и любезная теща уплелась изъ избы, благословляя на этотъ разъ заблудящаго и отпѣтаго зятя.

— Дѣло-то самое короткое, Родивонъ Потапычъ... Шишка-то былъ у тебя на Фотьянкѣ?

— Ну, былъ...

— Опрашивалъ онъ тебя касаемо допрежнихъ временъ и казенной работы?

— Пустой онъ человѣкъ. Болталъ разное...

— Ну, такъ слушай... Ты вотъ Тараса за дурака считалъ и на порогъ не пускалъ...

— Да не болтай глупостевъ, шалая голова!.. Не люблю...

— Доносъ Шишка пишетъ, вотъ што! — точно выстрѣлилъ Тарасъ.—О казенной работѣ, какъ золото воровали на промыслахъ. Все пишетъ. Сегодня меня подговаривалъ... Значитъ, какъ я въ тѣ поры на Фотьянкѣ въ шорникахъ состоялъ, ну, такъ онъ и меня записалъ. Анжинеровъ Шишка хочетъ подъ судъ упечь, потому какъ очень ему теперь обидно, что они живутъ да радуются, а онъ дыра въ горсти. Слышь, и тебя въ главные свидѣтели запятилъ, и фотьянскихъ штегеровъ, и балчуговскихъ, всѣхъ въ одинъ узелъ хочетъ завязать. Вотъ онъ каковъ человѣкъ есть, значитъ, Шишка. Прямо такъ и говоритъ: „Всѣхъ въ Сибирь упеку“.

— Не пойму я тебя, Тарасъ,—сурово проговорилъ старикъ. — А ты садись, да и разсказывай толкомъ...

Мыльниковъ съ важностію присѣлъ къ столу и разсказалъ все по порядку: какъ они поѣхали въ Тайболу, какъ по дорогѣ нагнали Кишкина, какъ потомъ Кишкинъ дожидался ихъ у его избушки.

— Сперва-то онъ издалека рѣчь завелъ,—разсказывалъ Мыльниковъ.—Насчетъ Кедровской казенной дачи, што она выходитъ на волю и што всякій тамъ можетъ работать... Извѣстно, соблазнялъ, а потомъ и подсыпался: „Ты, Тарасъ Матвѣичъ, ходилъ въ шорникахъ на Фотьянкѣ? Можешь себя обозначить, ежели я въ свидѣтели поставлю, какъ анжинеры золото воровали“... И пошелъ. Золото, гритъ, у старателей скупали по 1 р. 20 к. за золотникъ, а въ казну его записывали по четыре да по пяти цалковыхъ. И пошелъ, и пошелъ... И нынѣшнюю, гритъ, компанію за одно подведу, потому, гритъ, мнѣ за одно пропадать. Вотъ онъ каковъ человѣкъ есть, Шишка этотъ. Самый зловредный выходитъ...

— Ну, а еще-то што?

— Да все тутъ... А ежели относительно сестрицы Ѳедосьи Родивоновны, то могу тоже соотвѣтствовать вполнѣ...

— Ну, это не твоего ума дѣло! Убирайся...

— Только и всего?

— Достаточно по твоему великому уму... И Шишка дуракъ, што съ такимъ худымъ рѣшетомъ, какъ ты, связывается!..

— Ну и далъ Богъ родню!—ругался Мыльниковъ, хлопая дверью.

Выгнавъ изъ избы дорогого зятя, старикъ долго

ходилъ изъ угла въ уголъ, а потомъ велѣлъ позвать Якова. Тотъ сидѣлъ въ задней избѣ, рядомъ съ Наташей, которая держала отца за руку.

— Ты это што за модель выдумалъ... а?!—грозно встрѣтилъ Родіонъ Потапычъ непокорное дѣтище.— Кто въ дому хозяинъ?...—Какія ты слова сейчасъ выражалъ отцу? Съ кѣмъ связался-то?... Ну, чего березовымъ пнемъ уставился?

— Изъ твоей воли, тятенька, я не выхожу,— упрямо заявилъ Яша, сторонясь, когда отецъ подходилъ слишкомъ близко.—А желаю выдѣлъ получить..

— Какой тебѣ выдѣлъ, полоумная башка?.. Выгоню на улицу, въ чемъ мать родила, вотъ и выдѣлъ тебѣ. По міру пойдешь съ ребятами...

— А ужъ што Богъ дастъ... Получше насъ съ тобой, можетъ, съ сумой въ другой разъ ходятъ. А што касаемо выдѣла, такъ ужъ какъ волостные старички разсудятъ, такъ тому и быть.

Родіонъ Потапычъ съ ужасомъ посмотрѣлъ на строптивца, хотѣлъ что-то сказать, но только махнулъ рукой и безсильно опустился на диванъ.

— Пора мнѣ и свой уголъ завести, — продолжалъ Яша.—Вотъ по веснѣ выйдетъ на волю Кедровская дача, такъ надо не упустить чая... Всѣ кинутся туда, ну и мы сговорились.

— Што-о?..

— Сговорились, говорю. Своя у насъ кампанія: значитъ, зять Тарасъ Матвѣичъ, я, Кишкинъ...

— Вотъ такъ кампанія! — охнулъ Родіонъ Потапычъ.—Всѣхъ васъ дураковъ на одно лыко связать да въ воду.. Ха-ха!..

Старикъ рѣдко даже улыбался, а какъ онъ хохочетъ — Яша слышалъ въ первый разъ. Ему вдругъ сдѣлалось такъ страшно, такъ страшно, какъ еще никогда не было, а ноги сами подкашивались. Родіонъ Потапычъ смотрѣлъ на него и продолжалъ хохотать. Спрятавшаяся за печь Устинья Марковна торопливо крестилась: трехнулся старикъ...

— Такъ каппанія? А?—спрашивалъ Родіонъ Потапычъ, дѣлая передышку. — Кедровская дача на волю выйдетъ? — Богачами захотѣли сдѣлаться... а?..

— Ужъ это кому какія Богъ счастки пошлетъ...

— Хорошо, я тебѣ покажу Кедровскую дачу. Ступай, оболокайся...

Когда Яша съ привычной покорностью вышелъ, изъ-за печи показалось испуганное лицо Устиньи Марковны.

— Какъ же насчетъ Ѳени-то...— шептала она побѣлѣвшими отъ страха губами.—Слезьми, слышь, изошла...

Старикъ посмотрѣлъ на жену, повернулся къ образу и, поднявъ руку, проговорилъ:

— Будь она отъ меня проклята...

Устинья Марковна такъ и замерла на мѣстѣ. Она всего ожидала отъ разсерженнаго мужа, но только не проклятія. Въ первую минуту она даже не сообразила, что случилось, а когда Родіонъ Потапычъ надѣлъ шубу и пошелъ изъ избы, бросилась за нимъ.

— Родіонъ Потапычъ, опомнись!.. Родной...

Но онъ уже спускался по лѣсенкѣ, а за нимъ покорно шелъ Яша.

VI.

Родіонъ Потапычъ вышелъ на улицу и повернулъ вправо, къ церкви. Яша покорно слѣдовалъ за нимъ на приличномъ разстояніи. Отъ церкви старикъ спустился подъ горку на плотину, подъ которой горбился деревянный корпусъ толчеи и промывальни. Сейчасъ за плотиной направо стоялъ ярко освѣщенный господскій домъ, къ которому Родіонъ Потапычъ и повернулъ. Было уже поздно, часовъ девять вечера, но дѣло было неотложное, и старикъ смѣло вошелъ въ настежь открытыя ворота на широкій господскій дворъ.

— Степанъ Романычъ дома?—сурово спросилъ онъ стоявшаго на крыльцѣ лакея Ганьку.

— У нихъ гости...—съ лакейской дерзостью отвѣтилъ Ганька и даже заслонилъ дверь своей лакейской особой.—Къ нимъ нельзя-съ...

— Дуракъ!—обругалъ старикъ, отталкивая Ганьку.—А ты, Яшка, подождешь меня здѣсь...

Господскій домъ на Низахъ былъ построенъ еще въ казенное время, по общему типу построекъ временъ Аракчеева: съ фронтономъ, бѣлыми колоннами, мезониномъ, галлереей и подъѣздомъ во дворѣ. Кругомъ шли пристройки: кухня, людская, кучерская и т. д. Построекъ было много, а еще больше неудобствъ, хотя главный управляющій Балчуговскихъ золотыхъ промысловъ, Станиславъ Раймундовичъ Карачунскій, и жилъ старымъ хо-

лостякомъ. Рабочіе перекрестили его въ Степана Романыча. Онъ служилъ на промыслахъ уже лѣтъ двѣнадцать и давно былъ своимъ человѣкомъ.

Въ большой передней всѣхъ гостей встрѣчали охотничьи собаки, и Родіонъ Потапычъ каждый разъ морщился, потому что питалъ какое-то органическое отвращеніе къ псу вообще. На его счастье вышла смазливая горничная въ кокетливомъ бѣломъ передникѣ и отогнала обнюхивавшихъ гостя собакъ.

— У нихъ гости...—шопотомъ заявила она, какъ и Ганька.—Анжинеръ Ониковъ да лѣсничій Штаммъ...

Доносившійся изъ кабинета молодой хохотъ не говорилъ о серьезныхъ занятіяхъ, и Зыковъ велѣлъ доложить о себѣ.

— Сурьезное дѣло есть... Такъ и скажи,—наказывалъ онъ съ обычной внушительностью.—Не задержу...

Горничная посмотрѣла на поздняго гостя еще разъ и, приподнявъ плечи, пошла въ кабинетъ. Скоро послышались легкіе и быстрые шаги самого хозяина. Это былъ высокій, бодрый и очень красивый старикъ, ходившій танцующимъ шагомъ, какъ ходятъ щеголи-поляки. Волнистые волосы снѣжной бѣлизны были откинуты назадъ, а великолѣпная сѣдая борода, закрывавшая всю грудь, эффектно выдѣлялась на черномъ бархатномъ жакетѣ. Карачунскій былъ отчаянный франтъ, настоящій идолъ замужнихъ женщинъ и необыкновенно веселый человѣкъ. Онъ всегда улыбался, всегда шутилъ и шутя прожилъ всю жизнь. Такихъ счастливцевъ остается немного.

— Ну, что, дѣдушка?—весело проговорилъ Карачунскій, хлопая Зыкова по плечу.—Шахту, видно, опустилъ?..

— Съ нами крестная сила!—охнулъ Родіонъ Потапычъ и даже перекрестился.—Ужъ только и скажешь словечко, Степанъ Романычъ...

— Что же, этого нужно ждать: на Спасо-Колчеданской шахтѣ красикъ пошелъ, значитъ и вода близко... Помнишь, какъ Шишкаревскую шахту опустили? Ну и съ этой тоже будетъ...

— Можетъ и будетъ, да говорить-то объ этомъ не слѣдъ, Степанъ Романычъ,—нравоучительно замѣтилъ старикъ.—Не таковское это дѣло...

— А что?

— Да такъ... Не любитъ она, шахта, когда здря про нее начнутъ говорить. Ужъ я замѣчалъ... Вотъ когда пріѣзжаютъ посмотрѣть работы, да особливо который гость похвалитъ—нѣтъ того хуже.

— Сглазить шахту можно?..—засмѣялся Карачунскій.—Ну, Богъ съ ней...

Зыковъ переминался съ ноги на ногу, косясь на стоявшую въ залѣ горничную. Карачунскій сдѣлалъ ей знакъ уйти.

— Что, развѣ чай будемъ пить, дѣдушка?—весело проговорилъ онъ.—Что мы будемъ въ передней-то стоять... Проходи.

— Охъ, не до чаю мнѣ, Степанъ Романычъ...

Оглядѣвшись еще разъ, старикъ проговорилъ упавшимъ голосомъ, въ которомъ слышались слезы:

— Къ твоей милости пришелъ, Степанъ Рома-

нычъ... Не откажи, будь отцомъ роднымъ! На тебя вся надежа...

Съ послѣдними словами онъ повалился въ ноги. Неожиданность этого маневра заставила растеряться даже Карачунскаго.

— Дѣдушка, что ты... Дѣдушка, нехорошо!..— бормоталъ онъ, стараясь поднять Родіона Потапыча на ноги.—Развѣ можно такъ?..

— Парня я къ тебѣ привелъ, Степанъ Романычъ... Совсѣмъ отъ рукъ отбился малый: сладу не стало. Такъ я того... Будь отцомъ роднымъ...

— Какого парня, дѣдушка?

— Да Яшку моего безпутнаго...

— Ахъ, да... Ну, такъ что же я могу сдѣлать?

— Окажи божецкую милость, Степанъ Романычъ, прикажи его, варнака, на конюшнѣ отодрать... Онъ на дворѣ ждетъ.

Карачунскій даже отступился, стараясь припомнить, нѣтъ ли у Зыкова другого сына.

— Да, вѣдь, онъ ужъ сѣдой, твой-то парень? Ему ужъ подъ шестьдесятъ?

— Вотъ то-то и горе, што сѣдой, а дуритъ... Надо изъ него вышибить эту самую дурь. Прикажи отправить его на конюшню...

Зыковъ опять повалился въ ноги, а Карачунскій не могъ удержаться и звонко расхохотался. Что же это такое? „Парнишкѣ“ шестьдесятъ лѣтъ и вдругъ его драть... На хохотъ изъ кабинета показались молодой горный инженеръ Ониковъ, безцвѣтный молодой человѣкъ въ форменной тужуркѣ, и тощій носатый лѣсничій Штаммъ.

— Вотъ не угодно ли?—обратился къ нимъ Ка-

рачунскій, дѣлая отчаянное усиліе, чтобы не расхохотаться снова.—Парнишку хочетъ сѣчь, а парнишкѣ шестьдесятъ лѣтъ... Нѣтъ, дѣдушка, это не годится. А позови его сюда, можетъ быть, я васъ помирю какъ-нибудь.

— Нѣтъ, ужъ это ты оставь, Степанъ Романычъ: не стоитъ онъ, поганецъ, штобы въ чистыя комнаты его пущали. Одна гадость. Такъ нельзя, Степанъ Романычъ?

— Я не имѣю права, да и никто другой тоже.

— Ну, все равно, я его въ волости отдеру. Мочи не стало съ нимъ, совсѣмъ отъ рукъ отбился.

Гости Карачунскаго изъ уваженія къ знаменитому „пріисковому дѣдушкѣ“ только переглядывались, а хохотать не смѣли, хотя у Оникова уже морщился носъ и вздрагивала верхняя губа, покрытая бѣлобрысыми усами.

— Вотъ что, дѣдушка, снимай шубу да пойдемъ чай пить,—заговорилъ Карачунскій. — Мнѣ тоже необходимо съ тобой поговорить.

Пить чай въ господскомъ домѣ для Родіона Потапыча составляло всегда настоящую муку, но отказаться онъ не смѣлъ и покорно снялъ шубу. Карачунскій повелъ его прямо въ столовую. Родіонъ Потапычъ ступалъ своими большими сапогами по налощенному полу съ такой осторожностью, точно боялся что-то пролить. Столовая была обставлена съ настоящимъ шикомъ: стѣны подъ дубъ, дубовый массивный буфетъ съ рѣзными украшеніями, дубовая мебель, поставецъ и т. д. Чай разливалъ самъ хозяинъ. Зыковъ присѣлъ на кончикъ стула и весь вытянулся.

— Разскажи сначала, дѣдушка, что у тебя съ сыномъ вышло,—заговорилъ Карачунскій, стараясь смягчить давешній неумѣстный хохотъ. — Чѣмъ онъ тебя обидѣлъ?

— А за его качества...— сурово отвѣтилъ Родіонъ Потапычъ, хмуря сѣдыя брови. — Вотъ за это за самое.

Наливъ чай на блюдечко, старикъ, не торопясь, разсказалъ про всѣ подвиги Яши, какъ онъ пріѣхалъ пьяный съ Мыльниковымъ, какъ началъ „зубить" и требовать выдѣла.

— А главная причина донялъ онъ меня Кедровской дачей, — закончилъ Родіонъ Потапычъ свою повѣсть.—Въ старатели хочетъ итти съ зятишкой да съ Кишкинымъ.

— Кишкинъ? Это тотъ самый, который дѣло затѣваетъ?

— Вотъ я и котѣлъ разсказать все по порядку, Степанъ Романычъ, потому какъ Кишкинъ меня въ свидѣтели хочетъ выставить... Забѣгалъ онъ ко мнѣ какъ-то на Фотьянку и все выпытывалъ про старое, а я догадался, што онъ не спроста и ничего ему не сказалъ. Увертливъ пёсъ.

— А я только сегодня узналъ, дѣдушка: и до глухого вѣсти дошли. Вотъ Ониковъ слышалъ на фабрикѣ... Вездѣ болтаютъ про Кишкина.

— Пустой человѣкъ, — коротко рѣшилъ Зыковъ.—Ничего изъ того не будетъ, да и дѣло прошло... Тоже и въ живыхъ немного ужъ осталось, кто послѣ воли на казну робилъ. На Фотьянкѣ найдутся двое-трое, да въ Балчуговскомъ десятокъ

— А если тебя подъ присягой будутъ спрашивать?

— Ничего я не знаю, Степанъ Романычъ... Вотъ хоша и сейчасъ взять: я и на шахтахъ, я и на Фотьянкѣ, а конторское дѣло опричь меня дѣлается. Работы были такія же и раньше, какъ сейчасъ. Все одно... А потомъ пугалъ еще меня Кишкинъ вольными работами въ Кедровской дачѣ. Обложатъ, гритъ, ваши промысла пріисками, будутъ скупать ваше золото, а запишутъ въ свои книги. Это-то онъ резонно говоритъ, Степанъ Романычъ. Грѣха не оберешься.

— Ничего, все это пустяки...—отшучивался Карачунскій.—Мелкіе золотопромышленники будутъ скупать наше золото, а мы будемъ скупать ихнее. Набавимъ цѣну—и вся недолга.

— Было бы изъ чего набавлять, Степанъ Романычъ,—строго замѣтилъ Зыковъ. — Имъ сколько угодно дай — все возьмутъ... Я только одному дивлюсь, што это вышнее начальство смотритъ?.. Департаменты-то на што налажены? Все дача была казенная и вдругъ будетъ вольная. Какой же это порядокъ?.. Изроютъ старатели всю Кедровскую дачу, какъ свиньи, растащатъ все золото, а потомъ и бросятъ все... Казеннаго добра жаль.

— Да ты что такъ о чужомъ добрѣ плачешься, дѣдушка?—въ шутливомъ тонѣ заговорилъ Карачунскій, ласково хлопая Родіона Потапыча по плечу.—У казны еще много останется отъ насъ съ тобой...

Эта шутка задѣла Родіона Потапыча за живое, и онъ посмотрѣлъ съ укоризной на веселаго хозяина.

— Какъ же это такъ, Степанъ Романычъ?.. — бормоталъ онъ.—Всѣ мы отъ казны хлѣбъ ѣдимъ... Казна—всему голова... Да ежели бы старое-то горное начальство поднялось изъ земли да посмотрѣло на нынѣшніе порядки—Господи, что же это такое дѣлается? Точно во снѣ... Да недалеко ходить, вотъ покойничекъ, родитель Александра Иваныча (старикъ указалъ глазами на Оникова), Иванъ Герасимычъ, бывало, только еще выѣзжаетъ вотъ изъ этого самаго дома на работы, а ужъ на Фотьянкѣ всѣ знаютъ... А какъ пріѣхалъ—всѣ въ струнку, не дышатъ, а Иванъ Герасимычъ орломъ на всѣхъ, и пошла работа. По два воза розогъ передъ работой привозили, а безъ того и работы не начинали... Вотъ какіе настоящіе-то начальники были, Степанъ Романычъ! А инженеръ Телятниковъ?.. Тотъ изъ собственныхъ рукъ: ка-акъ развернется, ка-акъ ахнетъ по скулѣ... Любимая поговорка у Телятникова была: „Дѣлай мое неладно, а свое ладно забудь!“ Телятникова всѣ до смерти боялись... Какъ-то разъ одинъ служащій,—повытчики еще тогда были,—повытчикъ Мокрушинъ, сѣдой ужъ старикъ, до пенсіи ему оставалось двѣ недѣли, выпилъ грѣшнымъ дѣломъ на именинахъ да пьяненькій и попадись Телятникову на глаза. „Зайди,—говоритъ,—дѣдушка, ко мнѣ...“ Это, значитъ, Телятниковъ говоритъ. У Мокрушина, обыкновенно, душа въ пятки. Приходитъ. Телятниковъ и говоритъ: „Выбирай изъ любыхъ—или я тебя сейчасъ со службы прогоню, и пенсіи ты лишишься, или выпорю“. Ну, старикъ плакать, въ ноги, на колѣнкахъ ползетъ за Телят-

никовымъ. Другой бы и смиловался, а Телятниковъ достигъ своего и отодралъ служащаго... Только пенсіи-то Мокрушинъ все-таки не получилъ: померъ черезъ три дня. Вотъ какіе начальники были, Степанъ Романычъ: отца родного для казны не пожалѣютъ. Отцы были... Да ежели бы они узнали, что теперь замышляютъ съ Кедровской дачей,—косточки бы ихнія въ могилкахъ перевернулись.

Карачунскій слушалъ и весело смѣялся: его всегда забавлялъ этотъ фанатикъ казеннаго пріисковаго дѣла. Старикъ весь былъ въ прошломъ, въ томъ жестокомъ прошломъ, когда казенное золото добывалось шпицрутенами. Ониковъ молчалъ. Нѣмецъ Штаммъ нарушилъ наступившую паузу хладнокровнымъ замѣчаніемъ:

— Будемъ посмотрѣть, дѣдушка...

— Што это я сижу-то,—спохватился Родіонъ Потапычъ.—Меня вѣдь парень-то ждетъ во дворѣ.

— Оставь, дѣдушка,—вступился Карачунскій.—Мало ли что бываетъ: не всякое лыко въ строку...

— Никакъ невозможно, Степанъ Романычъ!.. Словечко бы мнѣ съ тобой еще надо сказать...

Карачунскій проводилъ старика до передней, и тамъ Родіонъ Потапычъ повѣдалъ свое домашнее горе относительно сбѣжавшей Ѳени.

— Это которая?—припоминалъ Карачунскій.—Одна съ сѣрыми глазами была...

— Вотъ эта самая, Степанъ Романычъ... Самая значитъ, младшая она у меня въ семьѣ. Души я въ ней не чаялъ.

— Да, дѣйствительно, непріятный случай...—тянулъ Карачунскій, закусывая свою бороду.

— Что же я теперь долженъ дѣлать?

— Гм... да... Что же, въ самомъ дѣлѣ, дѣлать?—соображалъ Карачунскій, быстро вскидывая глаза—эта романическая исторія его заинтриговала.—Собственно говоря, теперь ужъ ничего нельзя подѣлать... Когда Ѳеня ушла?

— Да ужъ четвертыя сутки... Вотъ я и хотѣлъ попросить тебя, Степанъ Романычъ, яви ты Божецкую милость, вороти дѣвку... Парня ежели не хотѣлъ отодрать, ну, Богъ съ тобой, а дѣвку вороти. Служилъ я на промыслахъ вѣрой и правдой шестьдесятъ лѣтъ, заслужилъ же хоть што-нибудь? Цѣпному псу и то косточку бросаютъ...

— Ахъ, дѣдушка, какъ это ты не поймешь, что я ничего не могу сдѣлать!..—взмолился Карачунскій.—Ужъ для тебя-то я все бы сдѣлалъ.

— Парня я выдеру самъ въ волости, а вотъ дѣвку-то выворотить... Главная причина, вѣра у Кожиныхъ другая. Грѣхъ великій я на душу приму, ежели оставлю это дѣло такъ...

— Ну, хорошо, воротишь, а потомъ что? Снова дѣвушкой отъ этого она, вѣдь, не сдѣлается и будетъ ни дѣвка, ни баба.

— У насъ есть своя поговорка мужицкая, Степанъ Романычъ: тѣмъ море не испоганилось, што песъ налакалъ... Сама виновата, ежели не умѣла правильной дѣвицей прожить.

— Сколько ей лѣтъ?

— Да въ Спажинки девятнадцатый годъ пошелъ.

— Нельзя воротить: совершеннолѣтняя...

— Какъ же, значитъ, я, родной отецъ, и вдругъ не могу? Совершеннолѣтняя-то она двадцать-одного будетъ... Нѣтъ, это не таковское дѣло, Степанъ Романычъ, штобы потакать.

— Что же, пожалуй, я могу съѣздить въ Тайболу,—предложилъ Карачунскій, чтобы хоть чѣмъ-нибудь угодить старику.—Только едва ли будетъ успѣхъ... Или приглашу Кожина сюда. Я его знаю немного.

Зыковъ махнулъ рукой.

— Ежели бы живъ былъ Иванъ Герасимычъ...— со вздохомъ проговорилъ онъ, — да, кажется, изъ земли бы вырыли дѣвку. Отошло, видно, времечко... Прости на глупомъ словѣ, Степанъ Романычъ. Придется ужъ, видно, черезъ волость.

— Ничего я не могу подѣлать! — увѣрялъ Карачунскій.

Старикъ такъ и ушелъ, увѣренный, что управляющій не хотѣлъ ничего сдѣлать для него. Какъ же, главный управляющій всѣхъ Балчуговскихъ промысловъ и вдругъ не можетъ отодрать Яшку?.. Своего блуднаго сына Зыковъ нашелъ у подъѣзда. Яша присѣлъ на послѣднюю ступеньку лѣстницы, положивъ голову на руки, и спалъ самымъ невиннымъ образомъ. Отецъ разбудилъ его пинкомъ и строго проговорилъ:

— Вставай, варнакъ! Ужо, завтра я тебѣ въ волости покажу, какая Кедровская дача бываетъ...

VII.

Золотопромышленная компанія „генералъ Мансвѣтовъ и К°“ имѣла громадную силу и совершенно исключительныя полномочія. Кто такой этотъ генералъ Мансвѣтовъ, откуда онъ взялся, какими путями онъ вложился въ такое громадное дѣло— едва ли зналъ и самый главный управляющій Карачунскій. Это былъ генералъ-невидимка, хотя его именемъ и вершились милліонныя дѣла. Самая компанія возникла на развалинахъ упраздненныхъ казенныхъ работъ, унаслѣдовавъ онъ нихъ всю организацію, штатъ служащихъ, рабочихъ и территорію въ пятьдесятъ квадратныхъ верстъ. Ограничивающимъ условіемъ при передачѣ громадныхъ промысловъ въ частныя руки было только одно, именно, чтобы компанія главнымъ образомъ вела разработку жильнаго золота, покрывая неизбѣжные убытки въ такомъ рискованномъ дѣлѣ доходами съ розсыпного золота. Затѣмъ существовала какая-то подать въ пользу казны съ добытаго пуда, но какая — этого тоже никто не зналъ, какъ и генерала Мансвѣтова, никогда не бывавшаго на своихъ промыслахъ.

Балчуговская дача была усыпана золотомъ и давала милліонные дивиденды. Пока развѣдано было меньше половины всего пространства, а остальное служило резервомъ. Всего удивительнѣе было то, что въ эту дачу попали, кромѣ казенныхъ земель, и крестьянскія, какъ принадлежавшія жи-

телямъ Тайболы. Но главная сила промысловъ заключалась въ томъ, что въ нихъ было заперто рабочее промысловое населеніе слишкомъ въ десять тысячъ человѣкъ, именно, самъ Балчуговскій заводъ и Фотьянка. Рабочіе не имѣли даже собственнаго выгона, не имѣли усадебъ,—тѣмъ и другимъ они пользовались отъ компаніи условно, пока находившаяся подъ выгономъ и усадьбами земля не была надобна для работъ. Это совершенно исключительное положеніе создало натянутыя отношенія между компаніей и мѣстнымъ промысловымъ населеніемъ. Полное безземелье отдавало рабочихъ въ безконтрольное распоряженіе компаніи, — она могла дѣлать съ ними, что хотѣла, тѣмъ болѣе что все населеніе рядомъ поколѣній выросло спеціально на золотомъ дѣлѣ, а это клало на всѣхъ неизгладимую печать. Промысловый человѣкъ совершенно особенный, и куда вы его ни суньте, онъ вездѣ будетъ бредить золотомъ и легкой наживой. Это была та узда, которой можно было сдерживать рабочую массу, и этимъ особенно умѣлъ пользоваться Карачунскій: онъ постоянно манилъ рабочихъ отрядными работами, которыя давали извѣстную самостоятельность, а главное, открывали вѣчно недостижимую надежду легкаго и быстраго обогащенія. Съ ловкостью настоящаго дипломата онъ умѣлъ обходить этимъ окольнымъ путемъ самыя больныя мѣста, хотя и вызывалъ строгій ропотъ такихъ фанатиковъ компанейскихъ интересовъ, какъ старѣйшій на промыслахъ штейгеръ Зыковъ. Правда, что населеніе давно вело упорную тяжбу съ компаніей изъ-за земли, посылало жалобы во всѣ

щели и дыры административной машины, подавало прошенія, засылало ходоковъ, но шелъ годъ за годомъ, а рѣшенія на землю не выходило. Когда поднимался вопросъ о недоимкахъ, всплывало и дѣло о размежеваніи. Непремѣнный членъ по крестьянскимъ дѣламъ выбивался изъ силъ и ничего не могъ подѣлать: рабочіе стояли на своемъ, компанія на своемъ. А недоимки росли съ каждымъ годомъ все больше, потому что народъ бѣдствовалъ серьезно, хотя и привыкъ уже давно ко всякимъ бѣдствіямъ. Кричали на сходкахъ больше молодые, которые выросли уже послѣ воли.

Карачунскій явился главнымъ управляющимъ Балчуговскихъ промысловъ съ критическаго момента перехода ихъ отъ казны въ руки компаній. Это происходило въ началѣ семидесятыхъ годовъ Громадное дѣло было доведено горными инженерами отъ казны до полнаго разстройства, такъ что новому управляющему пришлось всѣми способами и средствами замазывать чужіе грѣхи, чтобы не поднимать скандала. Карачунскій въ принципѣ былъ врагъ всевозможныхъ репрессалій и предпочиталъ всему тѣ полумѣры, уступки и сдѣлки, которыми только и поддерживалось такое сложное дѣло. По наружному виду, пріемамъ и привычкамъ это былъ самый заурядный бонвиванъ и даже немножко мышиный жеребчикъ, и никто на промыслахъ не повѣрилъ бы, что Карачунскій что-нибудь смыслитъ въ промысловомъ дѣлѣ и что онъ когда-нибудь работалъ. Но такое мнѣніе было несправедливо: Карачунскій отлично зналъ дѣло и обладалъ величайшимъ секретомъ работать неза-

мѣтно. Есть такіе особенные люди, которые цѣлую жизнь гору воротятъ, а ихъ считаютъ чуть не шалопаями. Весь секретъ заключался въ томъ, что Карачунскій никогда не стоналъ, что заваленъ работой по горло, какъ это дѣлаютъ всѣ другіе, потомъ онъ умѣлъ распорядиться своимъ временемъ и, главное, всегда имѣлъ такой безпечный, улыбающійся видъ. Даже самъ Родіонъ Потапычъ не понималъ своего главнаго начальника и если относился къ нему съ уваженіемъ, то исключительно только по традиціи, потому что не могъ не уважать начальства. Старикъ не понялъ и того, какъ непріятно было Карачунскому узнать о затѣяхъ и козняхъ какого-то Кишкина,—въ глазахъ Карачунскаго это дѣло было гораздо серьезнѣе, чѣмъ полагалъ тотъ же Родіонъ Потапычъ. Вообще, неожиданно заваривалась одна изъ тѣхъ исторій, о которыхъ никто не думаетъ сначала, какъ о дѣлѣ серьезномъ: бываютъ такія сложныя болѣзни, которыя начинаются съ какой-нибудь ничтожной царапины или еще болѣе ничтожнаго прыща.

Когда вечеромъ старикъ Зыковъ ушелъ, Карачунскій долго ходилъ по столовой, насвистывая какой-то игривый опереточный мотивъ.

— Вы знаете этого... этого Кишкина?—обратился онъ неожиданно къ Оникову.

— Что-то такое слыхалъ...—небрежно отвѣтилъ молодой человѣкъ.—Даже, кажется, гдѣ-то видалъ: этакой гнусный сморчокъ. Да, да... Когда отецъ служилъ въ Балчуговскомъ заводѣ, я еще мальчишкой дразнилъ его Шишкой. У него такая

кличка... Вообще что-то такое маленькое, ничтожное и... гнусное!..

Карачунскій издалъ неопредѣленный звукъ и опять засвисталъ. Штаммъ сидѣлъ уже битыхъ часа три и молчалъ самымъ возмутительнымъ образомъ. Его присутствіе всегда раздражало Карачунскаго и доводило до молчаливаго бѣшенства. Если бы онъ могъ, то завтра же выгналъ бы и Штамма и этого молокососа Оникова, какъ людей совершенно ему ненужныхъ, но навязанныхъ сильными покровителями. У Оникова были сильныя связи въ горномъ мірѣ, а Штаммъ явился прямо отъ Мансвѣтова, которому приходился даже какой-то родней.

— А вы какъ думаете, Карлъ Иванычъ?—обратился къ нѣмцу Карачунскій.

— Што я думаю?—отвѣтилъ нѣмецъ вопросомъ.—Я думаю, што будемъ посмотрѣть...

„Вотъ два дурака навязались!“ со злостью думалъ Карачунскій, продолжая шагать.

Утромъ на другой день Карачунскій послалъ въ Тайболу за Кожинымъ и запиской просилъ его пріѣхать по важному дѣлу вмѣстѣ съ женой. Кожинъ поставлялъ одно время на золотопромывальную фабрику ремни, и Карачунскій хорошо его зналъ. Посланный вернулся, пока Карачунскій совершалъ свой утренній туалетъ, отнимавшій у него по меньшей мѣрѣ часъ. Онъ каждое утро принималъ холодную ванну, подстригалъ бороду, притирался косметиками, чистилъ ногти и внимательно изучалъ свое розовое лицо въ зеркалѣ.

— Сейчасъ будутъ-съ, — докладывалъ Ганька, ѣздившій въ Тайболу нарочнымъ.

Дѣйствительно, когда Карачунскій пилъ свой утренній какао, къ господскому дому подкатила новенькая кошевка. Кожинъ правилъ самъ своей бойкой лошадкой, обряженной въ наборную сбрую. Ѳеня ужасно смущалась своего перваго визита съ мужемъ въ Балчуговскій заводъ и надвинула новенькій шерстяной платокъ на самые глаза. Привязавъ лошадь къ столбу на дворѣ, Кожинъ пошелъ съ женой на крыльцо, гдѣ уже ихъ ждалъ Ганька. Самъ Карачунскій встрѣтилъ ихъ въ передней, а потомъ провелъ въ кабинетъ. Ѳеня окончательно сконфузилась и не смѣла поднять глазъ.

— Вчера у меня былъ Родіонъ Потапычъ,—заговорилъ Карачунскій безъ предисловій. — Онъ ужасно огорченъ и просилъ меня... Однимъ словомъ, вамъ нужно помириться со старикомъ. Я не впутался бы въ это дѣло, если бы не уважалъ Родіона Потапыча... Это такой почтенный старикъ, единственный въ своемъ родѣ.

— Что же, мы всегда готовы помириться...— бойко отвѣтилъ Кожинъ, встряхивая напомаженными волосами...—Только изъ этого ничего не выйдетъ, Степанъ Романычъ: карахтерный старикъ, ни въ какой ступѣ его не утолчешь...

— Все-таки надо помириться... Старикъ совсѣмъ убитъ.

— И помирились бы въ лучшемъ видѣ, ежели бы не наша вѣра, Степанъ Романычъ... Все и горе

въ этомъ. Развѣ бы я сталъ брать Ѳеню убѣгомъ, кабы не наша старая вѣра.

— Да... это дѣйствительно... Какъ же быть-то, Акинфій Назарычъ? Старикъ грозился повести дѣло судомъ...

— А ужъ што Богъ дастъ,— рѣшительно отвѣтилъ Кожинъ. — По моему разсужденію такъ: што, конечно, старику обидно, а судомъ дѣла не поправишь... Утихомирится, дастъ Богъ.

Ѳеня все время молчала, а тутъ не выдержала и зарыдала. Карачунскій самъ подалъ ей стаканъ холодной воды и даже принесъ флаконъ съ какими-то крѣпкими духами.

— Ничего, все устроится помаленьку, — утѣшалъ ее Карачунскій, невольно любуясь этимъ молодымъ красивымъ лицомъ.

Это молодое горе было такъ искренно, а заплаканные дѣвичьи глаза смотрѣли на Карачунскаго съ такой умоляющей наивностью, что онъ не выдержалъ и проговорилъ:

— Хорошо, я постараюсь все это устроить... только для васъ, Ѳедосья Родіоновна.

— Что же ты не благодаришь Степана Романыча? — говорилъ Кожинъ, подталкивая растерявшуюся жену локтемъ.—Они весьма намъ могутъ способствовать...

— Не нужно, не нужно...—отстранилъ благодарность Карачунскій, когда Ѳеня сдѣлала движеніе поцѣловать у него руку.—Для такой красавицы можно и безъ благодарности сдѣлать все.

Когда Кожины уѣзжали, Карачунскій стоялъ у окна и проводилъ ихъ глазами за ворота. На-

свистывая свой опереточный мотивъ и барабаня пальцами по оконному стеклу, онъ думалъ въ такомъ порядкѣ: почему женщина всегда изящнѣе мужчины, и гдѣ тайна этой неотразимой женской прелести? Взять хоть ту же Ѳеню, какая она красавица... Раньше онъ ее видалъ мелькомъ у отца, но не обратилъ вниманія. И такая красавица родится у какого-нибудь Родіона Потапыча!.. Удивительно... А еще удивительнѣе то, что такая свѣжая, благоухающая красота достанется въ руки какому-нибудь вахлаку Кожину. Это просто несправедливо. Въ головѣ Карачунскаго заронились ревнивыя мысли по адресу Ѳени, и онъ даже вздохнулъ. Вотъ и сѣдые волосы у него, а сердце все молодо, да еще какъ молодо... Развѣ Кожины понимаютъ, какъ нужно любить хорошенькую женщину? Карачунскій сдѣлалъ даже гримасу и щелкнулъ пальцами.

Чтобы немного провѣтриться, Карачунскій отправился на золотопромывальную фабрику, работавшую и по праздникамъ въ виду спѣшки. За зиму накопилось много работы. Весь дворъ былъ заваленъ кучками золотоноснаго кварца, добытаго рабочими. Фабрика не успѣвала истолочь его и промыть, а рабочимъ приходилось ждать очереди по мѣсяцамъ, что вызывало ропотъ и недовольство. Съ внѣшней стороны золотопромывальня представляла собой очень неказистый видъ. На мѣстѣ бывшаго каторжнаго винокуреннаго завода сейчасъ стояло всего два деревянныхъ корпуса. Въ одномъ работала толчея, а въ другомъ совершалась промывка измельченнаго кварца на шлю-

захъ, покрытыхъ мѣдными амальгамированными ртутью листами. Въ первомъ корпусѣ работала небольшая паровая машина, такъ какъ воды въ заводскомъ прудѣ не хватало и на ползимы. Вообще, обстановка самая жалкая, не имѣвшая въ себѣ ничего импонирующаго. Эта несчастная фабрика постоянно возмущала Карачунскаго своимъ убожествомъ, и онъ мечталъ о грандіозномъ дѣлѣ. Но что подѣлаешь, когда и тутъ приходилось только сводить концы съ концами, потому что компанія требовала только дивидендовъ и больше ничего знать не хотѣла, да и главная сила Балчуговскихъ промысловъ заключалась не въ жильномъ золотѣ, а въ розсыпномъ.

На фабрикѣ Карачунскій нашелъ все въ порядкѣ. Паровая машина работала, толчея гремѣла своими пестами, въ промывальнѣ шла промывка. Всѣхъ рабочихъ „обращалось“ на заводѣ едва пятьдесятъ человѣкъ въ двѣ смѣны: одна выходила въ ночь, другая днемъ. На „пьяномъ дворѣ“ Карачунскій осмотрѣлъ кучки добытаго старателями кварца и только покачалъ головой. Хорошаго ничего не оказывалось, за исключеніемъ одной кучки изъ Ульянова кряжа, за Фотьянкой. Здѣсь Карачунскій встрѣтилъ къ своему удивленію Родіона Потапыча. Старикъ сидѣлъ у кучи кварца на корточкахъ и внимательно разсматривалъ отдѣльные куски.

— Ну, дѣдушка, что новенькаго?

— Да такъ, изъ-за хлѣба на воду старатели добываютъ...—угрюмо отвѣчалъ Зыковъ, швыряя куски кварца въ кучу.

Карачунскій осмотрѣлъ эту кучку и понялъ, что старикъ не хочетъ выдать новой находки. Какой-то неизвѣстный старатель изъ Фотьянки отыскалъ въ Ульяновомъ кряжѣ хорошую жилу.

Съ „пьянаго двора“ они вмѣстѣ прошли на толчею. Карачунскій велѣлъ при себѣ сейчасъ же произвести протолчку заинтересовавшей его кучки кварца. Родіонъ Потапычъ все время хмурился и молчалъ. Кварцъ былъ доставленъ въ ручномъ вагончикѣ и засыпанъ въ толчею. Карачунскій присѣлъ на верстакъ и, закуривъ папиросу, прислушивался къ громыхавшимъ пестамъ. На другихъ золотыхъ промыслахъ на Уралѣ вездѣ дробили кварцъ бѣгунами, а толчея оставалась только въ Балчуговскомъ заводѣ,—Карачунскій почему-то не хотѣлъ ставить бѣгуновъ.

— Вотъ что, Родіонъ Потапычъ, — заговорилъ Карачунскій послѣ длинной паузы.—Я посылалъ за Кожинымъ... Онъ былъ сегодня у меня вмѣстѣ съ женой и согласенъ помириться, т.-е. просить прощенія.

Зыковъ точно испугался и нѣсколько времени смотрѣлъ на Карачунскаго ничего непонимающими глазами, а потомъ махнулъ рукой и проговорилъ:

— Поздно, Степанъ Романычъ... Я... я проклялъ Ѳеню.

— А это что значитъ: проклялъ?

— А всталъ передъ образомъ и проклялъ. Теперь ужъ, значитъ, все кончено... Выворотится Ѳеня домой, тогда прощу.

— Ну, это ваше дѣло,—равнодушно замѣтилъ

Карачунскій.—Я свое слово сдержалъ... Это мое правило.

Толчея соединялась съ промывальной, и измельченный въ порошокъ кварцъ сейчасъ же выносился водяной струей на сложный деревянный шлюзъ. Цѣлая система амальгамированныхъ мѣдныхъ листовъ была покрыта деревянными ставнями,—это дѣлалось въ предупрежденіе хищничества. Промытый зарядъ новой руды далъ блестящіе результаты. Доводчикъ Ераковъ, занимавшійся съемкой золота, преподнесъ на желѣзной лопаточкѣ около золотника амальгамированнаго золота, имѣвшаго сѣрый оловянный цвѣтъ.

— Это съ двадцати пудовъ?—замѣтилъ Карачунскій.—Недурно .. А кто нашелъ жилу?

— Да ихъ тутъ цѣлая артель на Ульяновомъ кряжѣ близко года копалась,—объяснилъ уклончиво Зыковъ.—Все фотьянскіе... Гнѣздышко выкинулось, вотъ и золото.

Это открытіе обрадовало Карачунскаго. Можно будетъ заложить на Ульяновомъ кряжѣ новую шахту,—это будетъ очень эффектно и въ заводскихъ отчетахъ и для парадныхъ прогулокъ пріѣзжающихъ на промыслы любопытныхъ путешественниковъ. Значитъ, жильное дѣло подвигается впередъ и прочее.

Въ этомъ хорошемъ настроеніи Карачунскій возвращался домой, но оно было нарушено встрѣчей на мосту цѣлой группы своихъ служащихъ. Заводская контора была для него самымъ больнымъ мѣстомъ, потому что именно здѣсь онъ чувствовалъ себя окончательно безсильнымъ. Всѣхъ слу-

жащихъ насчитывалось около ста человѣкъ, а можно было сократить штатъ на половину. Но дѣло въ томъ, что этотъ штатъ все увеличивался, потому что каждый годъ пріѣзжали изъ Петербурга новые служащіе, которымъ нужно было создавать мѣсто и изобрѣтать занятія. Это была настоящая саранча, очень прожорливая, ничего не умѣвшая и ничего не желавшая дѣлать. Такихъ господъ высылали изъ Петербурга разныя вліятельныя особы, стоявшія близко къ дѣламъ компаніи. У каждой такой особы находились бѣдные родственники, подающіе надежды молодые люди и цѣлый отдѣлъ „пострадавшихъ“, которымъ необходимо было скрыться куда-нибудь подальше. И вотъ къ Карачунскому являлись разныхъ возрастовъ молодые люди, снабженные самыми трогательными рекомендаціями. И съ какими фамиліями, чуть не прямые потомки Синеуса и Трувора! Одинъ былъ даже съ фамиліей Монморанси. Про себя Карачунскій называлъ свою заводскую контору богадѣльней и считалъ ее громаднымъ зломъ, съѣдавшимъ напрасно десятки тысячъ рублей.

— Съѣдятъ меня эти Монморанси, — думалъ Карачунскій, напрасно стараясь припомнить что-то пріятное, смутно носившееся въ его воображеніи.

VIII.

Пока въ воскресенье Родіонъ Потапычъ ходилъ на золотопромывальную фабрику, дома придумали

средство спасенія, о которомъ раньше никому какъ-то не пришло въ голову.

Яша запировалъ съ Мыльниковымъ, а изъ мужиковъ оставался дома одинъ Прокопій. Первую мысль о баушкѣ Лукерьѣ подала Марья.

— Одна она управится съ тятенькой,—говорила дѣвушка потерявшей голову матери: — баушка Лукерья строгая и все дѣло уладитъ.

— Да, вѣдь, проклялъ онъ родное дѣтище, Марьюшка, — стонала Устинья Марковна, заливаясь слезами.—Свою кровь не пожалѣлъ...

— Ужъ баушка Лукерья знаетъ, што сдѣлать... Пока тятенька на заводѣ, Прокопій сгоняетъ въ Фотьянку.

Прокопій верхомъ отправился въ Фотьянку. Онъ вернулся всего часа черезъ два. Баушка Лукерья пріѣхала тоже верхомъ, несмотря на свои шестьдесятъ лѣтъ съ большимъ хвостикомъ. Это была еще крѣпкая старуха. Она зимой носила мужскую бобровую шапку и штаны, какъ мужикъ. Высокая, крѣпкая баушка Лукерья еще цвѣла какой-то старческой красотой. Лицо у нея было такое свѣжее, а сѣрые глаза смотрѣли съ строгой ласковостью. Она себя называла „расейкой“, въ отличіе отъ балчуговскихъ бабъ, некрасивыхъ и скуластыхъ. Сынъ, Петръ Васильевичъ, нисколько не походилъ на мать.

— Ну, што у васъ тутъ случилось? — строго спрашивала баушка Лукерья.—Эй, Устинья Марковна, перестань хныкать... Экая бѣда стряслась съ Ѳеней, и дѣвушка была, кажись, не замути

воды. Што же, грѣхъ-то не по лѣсу ходитъ, а по людямъ.

Съ появленіемъ баушки Лукерьи всѣ въ домѣ сразу повеселѣли и только ждали, когда вернется грозный тятенька. Устинья Марковна боялась, какъ бы онъ не проѣхалъ ночевать на Фотьянку, но Прокопію по дорогѣ кто-то сказалъ, что старика видѣли на золотой фабрикѣ. Родіонъ Потапычъ пришелъ домой только въ сумерки. Когда его въ дверяхъ встрѣтила баушка Лукерья, старикъ все понялъ.

— Иди-ко сюды, воевода, — ласково говорила старуха. — Иди... вишь, въ гости къ тебѣ пріѣхала.

— Здравствуй, баушка. И то давно не видались...

— Горденекъ сталъ, Родіонъ Потапычъ... На плотинѣ постоянно толчешься у насъ, а нѣтъ, штобы въ Фотьянку завернуть да старуху провѣдать.

— Некогда все... Собирался не одинова, а тутъ какая-нибудь причина и выйдетъ...

— У тебя все причина... А вотъ я не погордилась, и сама къ тебѣ пріѣхала. Угощай гостью...

— Не ко времю гоститься вздумала...

— Вотъ што я тебѣ скажу, Родіонъ Потапычъ, — заговорила старуха серьезно: — я къ тебѣ за дѣломъ... Ты это што надумалъ-то? Не похвалю твою Ѳеню, а тебя-то вдвое. Дѣвичья-то совѣсть извѣстная: до порога, а ты съ чего проклинать вздумалъ?.. Ну, пожужилъ, постращалъ, отвелъ душу и довольно...

— Што ужъ теперь говорить, баушка: пролитую воду не соберешь...

— Да ты слушай, умная голова, когда говорятъ... Ты не для того отецъ, штобы проклинать свою кровь. Самъ виноватъ, што раньше замужъ не выдавалъ. Вотъ Марью-то заморилъ въ дѣвкахъ по своей гордости. Вѣрно тебѣ говорю. Ты меня послушай, ежели своего ума не хватило. Проклясть-то не мудрено, а, вѣдь, ты помрешь, а Ѳеня останется. Ей-то еще жить да жить... Самъ, говорю, виноватъ!.. Ну, што молчишь?..

— Татьяну я не проклиналъ, хотя она и вышла изъ моей воли,—оправдывался старикъ:—зато и расхлебываетъ теперь горе...

— И тоже тебѣ нечѣмъ похвалиться-то: взялъ бы да и помогъ той же Татьянѣ. Баба изъ послѣднихъ силъ выбилась, а ты свою гордость тѣшишь. Да што тутъ толковать съ тобой... Эй, Прокопій, ступай къ о. Акакію и веди его сюда, да штобы крестъ съ собой захватилъ: разрѣшительную молитву надо сказать и отчитать проклятіе-то. Будетъ Господа гнѣвить... Со своими грѣхами замаялись, не то што другихъ проклинать.

Родіонъ Потапычъ былъ радъ, что подвернулась баушка Лукерья, которую онъ отъ души уважалъ. Самому бы не позвать попа изъ гордости, хотя старикъ въ теченіе сутокъ уже успѣлъ одуматься и давно понялъ, что сдѣлалъ неладно. Въ ожиданіи попа баушка Лукерья отчитала Родіона Потапыча вполнѣ, обвинивъ его во всемъ.

Батюшка, о. Акакій, былъ еще совсѣмъ молодой человѣкъ, котораго недавно назначили въ

Балчуговскій приходъ, такъ что у него не успѣли хорошенько даже волосы отрасти. Онъ былъ не мало смущенъ такимъ рѣдкимъ случаемъ, когда пришлось разрѣшать отъ проклятія. Порывшись въ требникѣ, онъ велѣлъ зажечь свѣчи передъ образомъ, надѣлъ епитрахиль и началъ читать по требнику установленныя молитвы. Баушка Лукерья поставила Родіона Потапыча на колѣни и строго слѣдила за нимъ все время. Устинья Марковна стояла у печки и горько рыдала, точно хоронила Ѳеню.

Когда обрядъ кончился, и всѣ приложились къ кресту, о. Акакій сказалъ коротенькое слово о любви къ ближнему, о прощеніи обидъ, о безграничномъ милосердіи Божіемъ.

— Нѣтъ, ты ему, отецъ, епитимію опредѣли,— настаивала баушка Лукерья.—Надо такъ сдѣлать, штобы онъ чувствовалъ...

Батюшка согласился и на это, назначивъ по десяти земныхъ поклоновъ въ теченіе сорока дней.

— А теперь и о дѣлѣ потолкуемъ, — рѣшила баушка Лукерья.—Садись, о. Акакій, и образумь насъ, темныхъ людей...

О. Акакій уже зналъ, въ чемъ дѣло, и опять не зналъ, что посовѣтовать. Конечно, воротить Ѳеню можно, но къ чему это поведетъ: сегодня воротили, а завтра она убѣжитъ. Не лучше ли пока ее оставить и подѣйствовать на мужа: можетъ онъ перейдетъ изъ-за жены въ православіе.

— Нѣтъ, это пустое, отецъ,—рѣшила баушка Лукерья.—Самъ-то Акинфій Назарычъ пожалуй бы и ничего, да старуха Маремьяна не дозволитъ... Настоящая медвѣдица и крѣпко своей старой вѣры держится. Ничего изъ того не выйдетъ, а Ѳеню надо воротить... Главное дѣло, она изъ своего православнаго закону вышла, а наши роды съ испоконъ вѣка православные. Жиденькій еще умокъ у Ѳени, вотъ она и ввѣрилась...

— Силой нельзя заставить людей быть тѣмъ или другимъ,—замѣтилъ о. Акакій.—Мнѣ самому этотъ случай непріятенъ, но не сдѣлать бы хуже... Люди молодые, все можетъ быть. Въ своей семьѣ теперь Ѳедосья Родіоновна будетъ хуже чужой...

— А я ее къ себѣ возьму и выправлю,—рѣшила старуха.—Не погибать же православной душѣ... Ужъ я ее шелковой сдѣлаю.

— Будь ей замѣсто матери... — упрашивала Устинья Марковна, кланяясь въ ноги.—Я-то слаба, не умѣю, а Родіонъ Потапычъ перестрожитъ. Ты ужъ лучше...

— У меня отойдетъ и дурь свою броситъ...

О. Акакій посидѣлъ, сколько этого требовали приличія, напился чаю и отправился домой. Проводивъ его до порога, Родіонъ Потапычъ вернулся и проговорилъ:

— Славный бы попикъ, да молодъ больно...

— Ему же лучше, што и молодъ и уменъ. Вонъ какой очесливый да скромный...

— Ну вотъ што, други мои милые, засидѣлась я у васъ,—заговорила баушка Лукерья.—Стемни-

лось совсѣмъ на дворѣ... Домой пора: тоже не близкое мѣсто. Поволокусь какъ ни-на-есть...

— Да ты верхомъ, што ли, пригнала? — сурово спросилъ Родіонъ Потапычъ.

— Пѣшкомъ-то я угорѣла ужъ ходить: было похожено вдосталь...

Старуха сходила въ заднюю избу проститься „съ дѣвками", а потомъ надѣла шапку и стала прощаться.

— Куда ты ускорилась-то? — спрашивалъ Родіонъ Потапычъ, которому не хотѣлось отпускать старуху.—Ночевала бы, баушка, а то еще заѣдешь куда-нибудь въ ширпъ...

— Невозможно мнѣ... Гребтится все, какъ тамъ у насъ на Фотьянкѣ. Петръ-то Васильичъ мой што-то больно нонѣ сталъ къ водочкѣ припадать. Связался съ Мыльниковымъ да съ Кишкинымъ... Не гожее дѣло.

— Золото хотятъ искать... Эхъ, бить-то ихъ некому, баушка!.. А я вотъ што тебѣ скажу, Лукерья: погоди малость, я оболокусь, да провожу тебя до Краюхина увала. Мутитъ меня дома-то, а на вольномъ воздухѣ можетъ обойдусь...

— И любезное дѣло,—согласилась баушка, подмигивая Устиньѣ Марковнѣ.—Одной-то мнѣ, пожалуй, и опасливо по нонѣшнему времю ѣздить, а севодни еще воскресенье... Пируютъ у васъ на Балчуговскомъ, страсть пируютъ. Восетта *) ѣду я также на вершной, а навстрѣчу мнѣ ваши балчуговскіе парни идутъ. Совсѣмъ молодые, а пья-

*) Восетта—въ прошлый разъ.

ненькіе... Увидали меня, озорники, и давай галиться: „Тпру, баушка!..“ Ну, я ихъ нагайкой, а они меня обозвали што ни есть хуже, да еще съ сѣдла хотѣли стащить...

— Собака народъ сталъ, баушка...

Родіонъ Потапычъ одѣлся, захватилъ съ собой весь припасъ, помолился и, не простившись съ домашними, вышелъ. Прокопій помогъ старухѣ сѣсть въ сѣдло.

— Вотъ говорятъ, што гусь свиньѣ не товарищъ, — шутила баушка Лукерья, выѣзжая на улицу.

Ночь была темная, и только освѣщали улицу огоньки, свѣтившіеся кое-гдѣ въ окнахъ. Фабрика темнѣла чернымъ остовомъ, а высокая желѣзная труба походила на корабельную мачту. Издали еще волчьимъ глазомъ глянулъ Ермошкинъ кабакъ: у его двери горѣла лампа съ зеркальнымъ рефлекторомъ. Темныя фигуры входили и выходили, а въ открывавшуюся дверь вырывалась смѣшанная струя пьянаго галдѣнья.

— Тьфу!..—отплюнулся Родіонъ Потапычъ, стараясь не глядѣть на проклятое мѣсто. — Вотъ, баушка, до чего мы съ тобой дожили: не выходитъ народъ изъ кабака... Днюютъ и ночуютъ у Ермошки.

— Охъ, и не говори, Родіонъ Потапычъ! У насъ на Фотьянкѣ тоже мужики пируютъ безъ утыху... Што только и будетъ, какъ жить-то будутъ. Ополоумѣли въ конецъ... Никакой страсти не стало въ народѣ.

— Глаза бы не глядѣли,—съ грустью отвѣчалъ

Родіонъ Потапычъ, шагая по серединѣ улицы рядомъ съ лошадью. — Охальники... И нѣтъ хуже, какъ эти понедѣльники. Глаза бы не глядѣли, какъ работнички-то наши выйдутъ завтра на работу... Какъ мухи травленыя ползаютъ. Рыло опухнетъ, глаза затекутъ... тьфу!..

Поравнявшись съ кабакомъ, они замолчали, точно ѣхали по зачумленному мѣсту. Родіонъ Потапычъ нѣсколько разъ волкомъ посмотрѣлъ на кабацкую дверь и еще разъ плюнулъ. Угнетенное настроеніе продолжалось на разстояніи цѣлой улицы, пока кабацкій глазъ не скрылся изъ виду.

— Помнишь мѣсто-то?..—тихо проговорила бабушка Лукерья, кивая головой въ сторону чернѣвшей „пьяной конторы“.—Много тутъ нашихъ варнацкихъ слезъ пролито...

Старикъ тряхнулъ головой и ничего не отвѣтилъ.

— Когда нашу партію изъ Расеи пригнали, — продолжала тихо старуха, точно боялась разбудить каторжныя тѣни, витавшія здѣсь,—дорога-то шла черезъ Тайболу... Ну, входитъ партія въ Балчуговскій, а покойница сестрица, Мареа Тимоѳеевна, поглядѣла этакъ кругомъ и шепчетъ мнѣ: „Луша, тутъ наша смертынька“. Обнаковенно, тамъ въ Расеѣ-то и слыхомъ не слыхали, што такое есть каторга, а только словомъ-то пугали: „Вотъ приведутъ въ Сибирь на каторгу, такъ тамъ узнаете...“ И у меня сердце ёкнуло, когда завидѣлся заводъ, а все-таки я потихоньку отвѣчаю Мареѣ Тимоѳеевнѣ: „Погляди, глупая, вонъ церковь-то... Помремъ, такъ хоть похоронить есть кому!“ Глупы-

глупы, а это соображаемъ, што безъ попа церковь не стоитъ... И обрадѣли мы вотъ этой самой балчуговской церкви, какъ родной матери. Да и вся наша партія тоже... Извѣстно, женское дѣло, страшливое: вотъ, молъ, гдѣ она, эта самая каторга. По этапамъ-то вели насъ близко полугода, такъ всего натерпѣлись и думаемъ, што въ каторгѣ еще того похуже разъ на десять.

Такъ въ разговорахъ они незамѣтно выѣхали за околицу. Небо начинало проясняться. Низкія зимнія тучи точно раздвинулись, открывъ мигавшія звѣздочки. Нѣмая тишина обступала кругомъ все. Подъемъ на Краюхинъ увалъ точно былъ источенъ червями. Родіонъ Потапычъ попрежнему шагалъ рядомъ съ лошадью, мѣрно взмахивая правой рукой.

— Привели-то насъ, какъ теперь помню, подъ вечеръ...—продолжала баушка Лукерья.—Мужицкая каторга каменная, а наша, бабья,—деревянная и деревяннымъ тыномъ обнесена. Вотъ завели партію во дворъ, выстроили, а покойникъ Антонъ Лазаричъ ужъ на крыльцѣ стоитъ и этакъ изъ-подъ ручки насъ оглядываетъ, а самъ усмѣхается. Въ окнахъ у казармы тоже все залѣплено арестантками: любопытно на свѣженькихъ поглядѣть... Этакъ съ крайчику, слѣва, значитъ, я стою, а Марѳа Тимоѳеевна жмется около меня; она въ партіи-то всѣхъ помоложе была и изъ себя красивѣе. Ну, Антонъ Лазаричъ...

— Молчи, ради Христа! Молчи...—простоналъ Родіонъ Потапычъ.

— Дѣло прошлое, што грѣха таить... А покой-

ничекъ Антонъ Лазаричъ, не тѣмъ будь помянутъ, больно ужъ погонный былъ старичокъ до дѣвокъ. Сѣденькій, лысенькій, ручки трясутся, а ни одной не пропуститъ... Бабъ не трогалъ, ни-ни, потому, говоритъ, „самъ я женатый человѣкъ, и нехорошо чужихъ женъ обижать". Кабы не эта его повадка, такъ и лучше бы не надо намъ смотрителя: добрѣющій человѣкъ и богобоязливый... Каждое воскресенье въ церкви впередъ всѣхъ стоитъ, молится, а самъ слезми заливается. И жена, вѣдь, у него молодая была... Охъ грѣхи, грѣхи!..

— Охальникъ былъ...—сурово замѣтилъ Родіонъ Потапычъ.—Собакѣ собачья и смерть.

— Понапрасну погинулъ, это ужъ што говорить! — согласилась баушка Лукерья, понукая убавившую шагъ лошадь.—Одна дѣвка каторжанка издалась упрямая и чуть его не зарѣзала, черкаска-дѣвка... Ну, приходитъ онъ къ намъ въ казарму и намъ же плачется: „Вотъ, говоритъ, черкаска меня ножикомъ рѣзала, а я человѣкъ семейный..." Слезами заливается. Какъ разъ черезъ три дня его и порѣшили сердешнаго.

— Бузунъ его зарѣзалъ... Съ нашей же каторги бѣглый. Онъ около Балчуговъ бродяжилъ.

А пощто же на палача Никитушку говорили?

— Здря народъ болталъ...

Молчаніе. Начался подъемъ на Краюхинъ увалъ. Лошадь вытягиваетъ шею и тяжело дышитъ. Родіонъ Потапычъ, чтобы не отстать, ухватывается одной рукой за лошадиную гриву.

— Сказываютъ, Никитушку недавно въ городу

видѣли,—говоритъ старуха.—Ходитъ по купцамъ и милостыньку проситъ... Охъ-хо-хо!.. А прежде-то какая ему честь была: „Никита Степанычъ, отецъ родной... благодѣтель...“ А онъ-то бахвалится.

— Пьяный былъ безъ просыпа... Перевозили его съ одной каторги на другую, а онъ ничего не помнитъ.

— Бывалъ онъ и у насъ въ казармѣ... Придетъ, поглядитъ и молвитъ: „Ну, крестницы мои, какое мнѣ отъ васъ уваженіе слѣдуетъ? Почитайте своего крестнаго...“ Крестнымъ себя звалъ. Бабенки улещали его и за себя и за мужиковъ, когда къ наказанію онъ выѣзжалъ въ Балчуги. Страшно было на него смотрѣть, на пьянаго-то...

— Вотъ ты, Лукерья, про каторгу раздумалась,—перебилъ ее Родіонъ Потапычъ:—а я вотъ про нынѣшніе порядки соображаю... Этакъ какъ раскинешь умомъ-то, такъ ровно даже ничего и не понимаешь. Въ умъ не возьмешь, што и къ чему слѣдуетъ. Каторга была такъ каторга, солдатчина была такъ солдатчина, однимъ словомъ, казенное время... А теперь-то што?.. Не то што другихъ тамъ судить, а у себя въ дому, какъ гнилой зубъ во рту... Дальше-то што будетъ?...

— На промыслахъ вездѣ одни порядки, Родіонъ Потапычъ: ослабѣлъ народъ, измолодушествовался... Главная причина: никакой народу страсти не стало... Въ церковь придешь: однѣ старухи. Въ конецъ измотался народъ.

Въ этихъ разговорахъ они добрались до спуска съ Краюхина увала, гдѣ уже начинались шахты.

Когда лошадь баушки Лукерьи поравнялась съ караушкой Спасо-Колчеданской шахты, старуха проговорила:

— Ну, прощай, Родіонъ Потапычъ... Такъ ты тово, Ѳеню-то добывай изъ Тайболы да вези ко мнѣ на Фотьянку, утихоморимъ дѣвку, коли на то пойдетъ.

Родіонъ Потапычъ что-то хотѣлъ сказать, но только застоналъ и отвернулся: по лицу у него катились слезы. Баушка Лукерья отлично поняла это безмолвное горе: „Эхъ если бъ жива была Марѳа Тимоѳеевна, развѣ бы она допустила до этого!..“

IX.

Неожиданное появленіе Родіона Потапыча на шахтѣ никого не удивило, потому что рабочіе давно уже привыкли къ подобнымъ сюрпризамъ. Къ суровому старику относились съ глубокимъ уваженіемъ именно потому, что онъ видѣлъ каждое дѣло насквозь, и не было никакой возможности обмануть его въ ничтожныхъ пустякахъ. Всякую промысловую работу Родіонъ Потапычъ прошелъ собственнымъ горбомъ и „видѣлъ на два аршина въ землю“, какъ говорили про него рабочіе. Это, впрочемъ, не мѣшало ругать его за глаза иродомъ, жидомъ и пр. Балчуговское воскресенье отдалось и на шахтахъ: коморникъ Мутовка, сидѣвшій въ караулкѣ при шахтѣ, усиленно моргалъ подслѣповатыми глазами, у маши-

ниста Семеныча, молодого парня-франта, языкъ заплетался, откатчики при шахтѣ мотались на ногахъ, какъ чумная скотина.

— Да вы тутъ совсѣмъ сбѣсились!—гремѣлъ старикъ на подгулявшихъ рабочихъ.—Чему обрадовались-то, черти? А гдѣ подштейгеръ?

Подштейгеръ Лучокъ, сѣдой старикъ, былъ совсѣмъ пьянъ и спалъ гдѣ-то за котлами, выбравъ тепленькое мѣстечко. Это ужъ окончательно взбѣсило Родіона Потапыча, и онъ началъ разносить пьяную команду вдребезги. Проснувшійся Лучокъ вдобавокъ забунтовалъ, что иногда случалось съ нимъ подъ пьяную руку.

— А ты не больно тово...—огрызался онъ изъ своей засады.—Слава Богу, не казенное время, штобы съ живого человѣка три шкуры драть! Да...

— Ахъ, варвары!.. А кто станетъ отвѣчать, ежели вы, подлецы, шахту опустите?..

— Обыкновенно, ты отвѣтишь,—согласился Лучокъ.—Ты жалованья-то пятьдесятъ цалковыхъ получаешь, ну, значитъ, кругомъ и будешь виноватъ... А съ меня за двадцать-то цалковыхъ немного возьмешь.

— Ты еще разговаривать у меня, мокрое рыло?!.

— И скажу завсегда.

Взбѣшенный Родіонъ Потапычъ собственноручно извлекъ Лучка изъ-за котловъ, нахлобучилъ ему шапку на пьяную башку и вытолкалъ изъ корпуса, а пожитки подштейгера велѣлъ выбросить на дорогу.

— Ступай, жалуйся на меня, песъ!—кричалъ

старикъ вдогонку лукавому рабу.—Я на твое мѣсто двадцать такихъ-то найду...

— А мнѣ плевать!—слышался изъ темноты голосъ Лучка. — Ишь, какъ расшеперился... Нѣтъ, братъ, не тѣ времена.

Эта комедія изгнанія Лучка со службы продѣлывалась въ годъ раза три-четыре, благодаря его пьяной строптивости. Нѣсколько дней послѣ такой оказіи Лучокъ высиживалъ въ кабакѣ Ермошки, а потомъ шелъ къ Родіону Потапычу съ повинной. Составлялось примиреніе на непремѣнномъ условіи, что это „въ послѣдній разъ". Всѣ знали, что и настоящая исторія закончится миромъ, потому что Родіонъ Потапычъ не могъ жить безъ Лучка и никому не довѣрялъ, кромѣ него, чѣмъ Лучокъ и пользовался. Если бы не пьянство, Лучокъ давно „ходилъ бы въ штегеряхъ", а можетъ быть и главнымъ штейгеромъ. Зналъ онъ дѣло на рѣдкость, и въ трудныхъ случаяхъ Родіонъ Потапычъ совѣтовался только съ нимъ, потому что горныхъ инженеровъ и самого Карачунскаго въ пріисковомъ дѣлѣ въ грошъ не ставилъ. У Лучка была особенная смѣлость, которой недоставало Родіону Потапычу,—живо все сообразитъ и изъ собственной кожи вылѣзетъ, когда это нужно.

По настоящему, слѣдовало бы спуститься въ шахту и осмотрѣть работы, но Родіонъ Потапычъ вдругъ какъ-то обезсилѣлъ, чего съ нимъ никогда не бывало. Онъ ни разу въ жизнь свою не хворалъ, и теперь только горько покачалъ головой. Эта пустяшная ссора съ пьянымъ Лучкомъ окончательно подорвала старика, и онъ едва дошелъ

до своей конторки, отгороженной въ уголкѣ машиннаго корпуса. Ключъ отъ конторки былъ всегда съ нимъ. Здѣсь онъ иногда и ночевалъ, прикурнувъ на засаленную деревянную скамейку. Родіонъ Потапычъ засвѣтилъ сальную свѣчу и присѣлъ къ столу. Въ маленькое оконце, дребезжавшее отъ работы паровой машины, глядѣла ночь чернымъ пятномъ; подъ поломъ, тоже дрожавшимъ, съ хрипѣньемъ и бульканьемъ бѣжала поднятая изъ шахты рудная вода; слышно было, какъ хрипѣлъ насосъ и громыхали чугунныя шестерни. Все это было, какъ всегда, какъ запомнитъ себя Родіонъ Потапычъ на промыслахъ, только самъ онъ ужъ не тотъ. Мысль о безсильной жалкой старости явилась для него въ такой яркой и безжалостной формѣ, что онъ даже испугался. Что же это такое?..

Онъ присѣлъ къ столу, облокотился и, положивъ голову на руку, крѣпко задумался. Семейныя передряги и встрѣча съ баушкой Лукерьей подняли со дна души весь накопившійся въ ней тяжелый житейскій осадокъ.

Родился и выросъ Родіонъ Потапычъ дворовымъ человѣкомъ въ Тульской губерніи. Подросткомъ онъ состоялъ при помѣщичьемъ домѣ въ казачкахъ, а въ шестнадцать на свой грѣхъ попалъ въ барскую охоту. Не угодилъ онъ барину на волчьей облавѣ чѣмъ-то, кинулся на него баринъ съ поднятымъ арапникомъ... Окончаніе этого эпизода барской охоты было уже въ Балчуговскомъ заводѣ, куда Родіонъ Потапычъ былъ приведенъ въ кандалахъ, для отбытія каторжныхъ работъ. Но промысловая каторга для него явилась спасеніемъ:

серьезный не по лѣтамъ, трудолюбивый, умный и честный, онъ сразу выдвинулся изъ своей арестантской среды. Смотрителемъ тогда былъ тотъ самый Антонъ Лазаричъ, о которомъ разсказывала баушка Лукерья. Онъ очень полюбилъ молодого Зыкова и устроилъ такъ, что десятилѣтняя каторга для него была не въ каторгу, а въ обыкновенную промысловую работу, съ той разницей, что только ночевать ему приходилось въ острогѣ. Новая работа полюбилась Родіону Потапычу, и онъ приросъ къ ней всей душой. Да, что только было тогда, теперь даже и вспоминать какъ-то странно, точно все это во снѣ привидѣлось. Работа кипѣла, благо каторжный трудъ ничего не стоилъ. Съ одной стороны, работалъ каторжный винокуренный заводъ, а съ другой—золотые промыслы. Балчуговскій заводъ походилъ на военный лагерь, гдѣ вставали и ложились по барабану, обѣдали и шабашили по барабану и даже въ церковь ходили по барабану. На работу выступали поротно и повзводно, отбивая шагъ. При встрѣчѣ съ начальствомъ все вытягивалось въ струнку и дѣлало на-краулъ даже на работахъ. На площади, между каторгой и пьяной конторой, въ праздники, производилось настоящее солдатское ученье пригнанныхъ рекрутовъ, и тутъ же происходили жесточайшія экзекуціи. Съ одной стороны орудовалъ „крестный“ Никитушка, а съ другой солдатская „зеленая улица“. Сквозь строй гоняли каждое воскресенье, а для большаго эффекта приводили народъ для этого случая даже съ Фотьянки. Кромѣ своего каторжнаго начальства и солдатскаго для рекрутовъ, въ распоряженіи

горныхъ офицеровъ находилось еще два казачьихъ батальона съ спеціальной обязанностью производить наказанія на самомъ мѣстѣ работъ; это было домашнее дѣло, а крестный Никитушка и „зеленая улица“ параднымъ наказаніемъ, главнымъ образомъ, на страхъ другимъ. Когда партія рабочихъ выступала куда-нибудь на пріискъ, за ней вмѣстѣ съ провіантомъ слѣдовалъ цѣлый возъ розогъ, точно ихъ нельзя было приготовить на мѣстѣ дѣйствія. Военное горное начальство въ этомъ случаѣ разсуждало такъ, что порядокъ наказанія прежде всего, а работа пойдетъ сама собой.

Первые два года Родіонъ Потапычъ работалъ на винокуренномъ заводѣ, гдѣ все дѣло вершилось исключительно однимъ каторжнымъ трудомъ, а затѣмъ попалъ въ разрядъ исправляющихся и былъ отправленъ на промыслы. Винокуренный заводъ до самаго конца оставался за каторгой, а на промыслы высылались только отбывшіе каторгу. Родіонъ Потапычъ засталъ Балчуговскій заводъ еще совсѣмъ небольшимъ. Селеніе шло только по Нагорной высотѣ, а Низы заселились уже при немъ, когда посадили на промыслы сразу три рекрутскихъ набора. Изъ ссыльно-поселенцевъ постепенно выросла Фотьянка, которая служила главнымъ каторжнымъ гнѣздомъ. На промыслахъ Родіонъ Потапычъ прошелъ всю работу, начиная съ простого откатчика, отвозившаго на тачкѣ пустую землю въ отвалы. Сколько теперь этихъ отваловъ кругомъ Балчуговскаго завода; страшно подумать о томъ казенномъ трудѣ, который былъ затраченъ на эту египетскую работу въ полномъ смыслѣ

слова. Людей не жалѣли, и промыслы работали „сильной рукой“, т.-е. высылали на розсыпь тысячи рабочихъ. Добытое такимъ даровымъ трудомъ золото составляло для казны уже чистый дивидендъ. Родіонъ Потапычъ скоро выбился на промыслахъ изъ простыхъ рабочихъ и попалъ въ десятники. Съ дѣломъ онъ освоился, и начальство цѣнило въ немъ его фанатическое трудолюбіе. Чуть только не свихнулся онъ, когда встрѣтилъ свою первую жену, Марѳу Тимоѳеевну. Ее только что пригнали изъ Россіи, и Антонъ Лазаричъ сразу намѣтилъ красивую каторжанку. Ей было всего 19 лѣтъ, а попала она изъ помѣщичьей дѣвичьей на каторгу, какъ значилось въ спискѣ, за кражу сахара. Сестра Лукерья пришла вмѣстѣ съ ней и значилась въ спискѣ виновной въ кражѣ меда. Чья-то рука изощряла остроуміе надъ судьбой двухъ сестеръ, но онѣ должны были отбыть положенные три года, а затѣмъ поступили въ разрядъ ссыльныхъ и переселены были на Фотьянку. Антонъ Лазаричъ прозвалъ Марѳу Тимоѳеевну „сахарницей“ и на третій же день потребовалъ ее къ себѣ „по секретному дѣлу“. Сестра Лукерья избѣжала этого секретнаго дѣла только потому, что Антона Лазарича во-время успѣли зарѣзать.

— Одна сестра съ сахаромъ, другая съ медомъ,— шутилъ смотритель,—а я до сахару большой охотникъ...

Родіонъ Потапычъ числился въ это время на каторгѣ и не разъ былъ свидѣтелемъ, какъ Марѳа Тимоѳеевна возвращалась по утрамъ изъ смотрительской квартиры вся въ слезахъ. Эти ли дѣ-

вичьи слезы, дѣвичья ли краса, только началъ онъ крѣпко задумываться... Замѣтилъ эту перемѣну даже Антонъ Лазаричъ и не разъ спрашивалъ:

— Што это съ тобой, Родіонъ?.. Какъ будто ты не въ себѣ...

— Неможется, Антонъ Лазаричъ,—сурово отвѣчалъ Зыковъ, стараясь не глядѣть на каторжнаго насильника.

Запала крѣпкая и неотвязная дума Родіону Потапычу въ душу, и онъ только выжидалъ случая, чтобы „порѣшить“ лакомаго смотрителя, но его предупредилъ другой каторжанинъ Бузунъ, зарѣзавшій Антона Лазарича за недоданный паекъ. Гора свалилась съ плечъ, а потомъ Марѳа Тимоѳеевна была переведена на Фотьянку, гдѣ онъ съ ней сейчасъ же познакомился и сейчасъ же женился. Много было каторжанокъ, и ни одна не осталась непристроенной: всѣ вышли замужъ, развели семьи и населили Фотьянку и Нагорную сторону. Замѣчательно, что среди каторжанокъ не было ни одной женщины легкаго поведенія.

Хорошо и любовно зажилъ Родіонъ Потапычъ съ молодой женой и никогда ни однимъ словомъ не напомнилъ ея прошлаго: подневольный грѣхъ въ счетъ не шелъ. Но сама Марѳа Тимоѳеевна все время замужества оставалась туманной и грустной и только передъ смертью призналась мужу, что ее заѣло.

— Не дѣвушкой я за тебя выходила замужъ...— шептали побѣлѣвшія губы.—Нѣтъ моей въ томъ вины, а забыть не могла. Чѣмъ ты ко мнѣ ласковѣе,

тѣмъ мнѣ страшнѣе. Молчу, а у самой сердце кровью обливается.

— Марѳа, Богъ съ тобой, какія ты слова говоришь...

— Я сама себя осудила, Родіонъ Потапычъ, и горше это было мнѣ каторги. Вотъ сыночка тебѣ родила, и его совѣстно. Не корилъ ты меня худымъ словомъ, любилъ, а я все думала, какъ бы мы съ тобой вѣкъ свѣковали, ежели бы не моя злосчастная судьба.

Молодой умерла Марѳа Тимоѳеевна и въ гробу лежала такая красивая да бѣлая, точно восковая. Вмѣстѣ съ ней бѣлый свѣтъ закрылся для Родіона Потапыча, и на всю жизнь его брови сурово сдвинулись. Взялъ онъ вторую жену, но счастья не воротилъ, по пословицѣ: покойникъ у воротъ не стоитъ, а свое возьметъ. Поминкомъ по любимой женѣ Марѳѣ Тимоѳеевнѣ остался безпутный Яша...

Жизнь для Родіона Потапыча прошла въ суровой работѣ, изо дня въ день. Онъ точно разъ и навсегда замерзъ на своемъ промысловомъ дѣлѣ да больше и не оттаялъ. Трудно приходилось—молчалъ, хорошо—молчалъ, а потомъ превратился въ живую машину. Только разъ въ теченіе своей службы онъ покривилъ душой, именно, въ пятидесятыхъ годахъ, когда на Уралъ тайно пріѣхалъ казенный фискалъ. Несмотря на военныя строгости при разработкѣ золота, рабочіе ухитрялись его воровать. То же самое было и на другихъ казенныхъ и частныхъ промыслахъ. Были и свои скупщики, которые проникли и въ заколдованный

кругъ Балчуговской каторги. Сыщикъ умѣлъ купить золото кой у кого, но одинъ Родіонъ Потапычъ вызналъ въ немъ настоящую птицу и пустилъ стороной слухъ, чтобы спасти десятки легковѣрныхъ людей. Пожалѣлъ онъ дураковъ... И дѣйствительно, Балчуговскій заводъ пострадалъ меньше, а на другихъ промыслахъ разразилась страшная гроза. Сотни были прогнаны сквозь строй и сосланы въ Восточную Сибирь въ безсрочную каторгу. Впрочемъ, никто не зналъ на Балчуговскихъ промыслахъ, кто первый догадался относительно фискала. Родіонъ Потапычъ молчалъ, какъ будто не его дѣло. Тогда, между прочимъ, спасся только чудомъ Кишкинъ, замѣшанный въ этомъ дѣлѣ: какой-нибудь одинъ часъ, и онъ улетѣлъ бы въ Восточную Сибирь да еще прошелъ бы насквозь всю „зеленую улицу“.

„Вотъ я ему, подлецу, помяну какъ-нибудь про фискалу-то, — подумалъ Родіонъ Потапычъ, припоминая готовившееся скандальное дѣло. — Эхъ, надо бы мнѣ было ему тогда на Фотьянкѣ узелокъ завязать, да не догадался... Ну, какъ-нибудь въ другой разъ“.

Слишкомъ тридцать-пять лѣтъ „казеннаго времени“ отбылъ Родіонъ Потапычъ, когда объявлена была воля. Онъ совершенно не понималъ этого событія, никакъ не укладывавшагося въ его голову. Родіонъ Потапычъ даже какъ-то совсѣмъ растерялся, особенно когда упразднили каторгу, винокуренный заводъ закрыли, а казеннымъ промысловымъ работамъ пришелъ конецъ. Мысль о томъ, что теперь нужно будетъ платить каждому рабо-

чему, просто возмущала его. Помилуйте, такая орава рабочихъ, и, вдругъ, каждому плати, а что же казнѣ-то останется? Казенныя работы, переведенныя на вольнонаемный трудъ и лишенныя военной закваски, сразу захудали, и добытое этимъ путемъ золото, несмотря на готовый инвентарь и всякое промысловое хозяйство, стало обходиться казнѣ въ пять разъ дороже его биржевой стоимости. Нѣкоторое время поддержала падавшее дѣло открытая на Фотьянкѣ Кишкинымъ богатѣйшая розсыпь, давшая въ теченіе трехъ лѣтъ больше ста пудовъ золота, а дальше случился уже скандалъ—золотникъ золота обходился казнѣ въ 27 руб. при номинальной его стоимости въ 4 рубля. Не мало смущали Родіона Потапыча горные инженеры.

Послѣднія пять лѣтъ Балчуговскіе заводы существовали только на бумагѣ, когда явился генералъ Мансвѣтовъ и комп. Кое-какъ поддерживалась одна шахта, да работали мѣстами старатели. Водвореніе компаніи сразу подняло дѣло, и Родіонъ Потапычъ ожилъ, перенеся на компанейское дѣло всѣ свои крѣпостныя симпатіи. Когда первое опьянѣніе волей миновало, оказалось, что промысловое населеніе очутилось въ полной экономической зависимости отъ компаніи. Между тѣмъ, это было казенное промысловое населеніе, нѣсколькими поколѣніями воспитавшееся на своемъ пріисковомъ дѣлѣ. Въ Низахъ бывшіе „некрута“ дѣлали отчаянныя попытки прожить своимъ средствіемъ, и здѣсь нѣкоторое время процвѣтали столяры и сапожники. Нагорная и Фотьянка, эти старыя каторж-

ныя гнѣзда, остались вѣрными своему промысловому дѣлу и не увлекались никакими сторонними заработками.

Съ водвореніемъ на Балчуговскихъ промыслахъ компанейскаго дѣла Родіонъ Потапычъ успокоился, потому что хотя прежней каторжной и военно-горной крѣпи уже не существовало, но ее замѣнила цѣлая система невидимыхъ нитей, которыми жизнь промыслового населенія была опутана еще крѣпче. Промысловому рабочему некуда было дѣваться, какъ онъ ни изворачивался. Примѣръ Низовъ служилъ въ этомъ случаѣ лучшимъ доказательствомъ. Не было внѣшняго давленія, какъ въ казенное время, но „вольные" рабочіе съ своей волчьей волей не знали куда дѣваться и шли работать къ той же компаніи на самыхъ невыгодныхъ условіяхъ, какъ вообще было обставлено дѣло: досыта не наѣшься и съ голоду не умрешь.

Открытіе Кедровской казенной дачи для вольныхъ работъ измѣняло весь строй промысловой жизни, и никто не чувствовалъ этого съ такой рельефностью, какъ Родіонъ Потапычъ, этотъ промысловый испытанный волкъ.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

I.

Каждое утро у кабака Ермошки, на лавочкѣ, собиралась цѣлая толпа рабочихъ. Издали эта публика казалась ворохомъ живыхъ лохмотьевъ—настоящая пріисковая рвань. А солнышко уже свѣтило по-весеннему, и рвань ждала того рокового момента, когда „тронется вешняя вода". Только бы вода взялась, тогда всѣмъ будетъ работа... Это были именно чающіе движенія воды.

Кабакъ Ермошки помѣщался въ собственномъ полукаменномъ домикѣ, отстроенномъ заново года два назадъ. Нижній этажъ былъ занятъ наполовину кабакомъ и наполовину галантерейной и суровской торговлей, такъ что получалось заведеніе вполнѣ. Домъ стоялъ на углу, какъ разъ напротивъ золотопромывальной фабрики. Раньше онъ принадлежалъ Кишкину. Въ концѣ улицы краснымъ пятномъ выдѣлялись кирпичныя стѣны бывшей каторги, а рядомъ громадное, покосившееся бревенчатое зданіе „пьяной конторы". Собственно каторжный винокуренный заводъ стоялъ на мѣстѣ нынѣшней золотопромывальной фабрики, но онъ

сгорѣлъ уже послѣ воли. Оставалась одна „пьяная контора“ да каменный дворъ съ низкими каменными казармами упраздненной каторги. Эти два памятника добраго стараго времени для Ермошки были бѣльмомъ на глазу. Сидя у себя наверху, онъ подолгу смотрѣлъ на нихъ и со вздохомъ повторялъ:

— Этакое обзаведенье и задармá пропадаетъ... Што бы тутъ можно сдѣлать, кабы къ рукамъ! То-есть, кажется, отдалъ бы все...

Ермошка былъ средняго роста, раскостый и плечистый мужикъ съ какой-то угловатой головой и сѣрыми вытаращенными глазами, поставленными необыкновенно широко, какъ у козы. Приплюснутый мягкій носъ точно былъ приклеенъ съ другого лица. Жиденькая клочковатая бороденка придавала ему встрепанный видъ, какъ у человѣка, который второпяхъ вскочилъ съ постели. Это былъ типичный россійскій сидѣлецъ, вороватый и льстивый, нахальный и умѣющій во-время принизиться. Въ люди онъ вышелъ черезъ жену Дарью, которая въ свое время состояла „на положеніи горничной“ у старика Оникова, во времена его грознаго владычества. Ермошка былъ лакеемъ, какъ теперь Ганька. Старикъ Ониковъ вдовѣлъ и отъ скуки развлекался крѣпостными красавицами, въ числѣ которыхъ Дарья являлась послѣднимъ номеромъ. Она была круглой сиротой, за красоту попала въ господскій домъ, но ничѣмъ не сумѣла бы воспользоваться при своемъ положеніи, если бы не подвернулся Ермошка. Ониковъ умеръ какъ-то вдругъ, и, что всего удивительнѣе, послѣ него не оказа-

лось никакихъ сбереженій. Стоустая молва приписала его скоропостижную смерть Ермошкѣ, воспользовавшемуся при такой оказіи господскимъ добромъ. Онъ сейчасъ же женился на Дарьѣ и зажилъ своимъ домомъ, какъ слѣдуетъ справному мужику, а впослѣдствіи уже открылъ кабакъ и лавку. Положеніе Дарьи было самое забитое: Ермошка вымещалъ на ней худую славу, вынесенную изъ господскаго дома. Бѣдная женщина ходила по своимъ горницамъ, какъ тѣнь, и вся дрожала, когда слышала шаги мужа. Открыто Ермошка ее не увѣчилъ, какъ это дѣлали другіе мужики, а изводилъ ее медленно и безжалостно, какъ ненужную скотину.

„Хоть бы умереть поскорѣе“... —мечтала иногда Дарья.

Дѣтей у нихъ не было, и Ермошка мечталъ, когда умретъ жена, завестись настоящей семьей и имѣлъ уже на примѣтѣ Ѳеню Зыкову. Такъ разсчитывалъ Ермошка, но не такъ вышло. Когда Ермошка узналъ, какъ ушла Ѳеня изъ дому убѣгомъ, то развелъ только руками и проговорилъ:

— Эхъ, Ѳедосья Родивоновна, не могла ты обождать самую малость, когда моя-то Дарья помретъ...

Жалѣла объ этомъ обстоятельствѣ и сама Дарья, потому что давно уже чувствовала себя лишней и съ удовольствіемъ уступила бы свое мѣсто молодой любимой женѣ.

— Связала я тебя, Ермолай Семенычъ,—говорила она мужу о себѣ, какъ говорятъ о покойникахъ. —Въ самый бы тебѣ разъ жениться на зы-

ковской Ѳенѣ... Дѣвка—чистякъ. Охъ, нейдетъ моя смертынька...

— Развѣ не стало невѣстъ?—резонировалъ Ермошка въ тонъ женѣ. —Какъ помрешь, сорокъ дёнъ выйдетъ и женюсь...

— Въ Балчуговскомъ у насъ невѣстъ непочатый уголъ, Ермолай Семенычъ, любую да лучшую выбирай.

— Въ Тайболѣ возьму, а то и городскую приспособлю... Слава Богу, и мы не въ уголъ рожей-то.

— Богатую не бери, а попроще... Сиротку лучше, Ермолай Семенычъ, потому какъ ты ужъ въ годкахъ и будешь на положеніи вдовца. Богатыя-то дѣвки не больно такихъ жениховъ уважаютъ...

— Это ты правильно, Дарья... Только помирай скорѣе, а то время напрасно идетъ. Совсѣмъ изъ годовъ выйду, покедова подохнешь...

— Охъ, скоро помру, Ермолай Семенычъ... Жаль, вѣдь, мнѣ глядѣть на тебя, какъ ты со мной маешься.

Дарья употребляла всѣ мѣры, чтобы умереть и никакъ не могла. Она ходила босая по снѣгу, пила „дорогую траву“, морила себя голодомъ, но ничего не помогало. Ермошка колотилъ ее только подъ пьяную руку и давно извелъ бы въ конецъ, если бы не боялся отвѣтственности. Притомъ, у него было какое-то темное предчувствіе, что Дарья—его судьба, которой ни на какомъ конѣ не объѣдешь. Самоуниженіе Дарьи дошло до того, что она сама выбирала невѣстъ на случай своей смерти, и въ этомъ направленіи въ Ермошкиномъ домѣ

велись довольно часто очень серіозные разговоры. Чета, вообще, была оригинальная.

Ермошка ждалъ вешней воды не меньше балчуговскихъ старателей, потому что самое бойкое кабацкое время было связано именно съ лѣтнимъ сезономъ, когда всѣ промысла были въ полномъ ходу. Онъ зналъ свой заводъ и Фотьянку, какъ свои пять пальцевъ: кто захудалъ изъ мужиковъ, кто справился, кто ни шатко, ни валко живетъ. Никакой статистикъ не могъ бы представить такихъ обстоятельныхъ и подробныхъ свѣдѣній о своемъ „приходѣ", какъ называлъ Ермошка старателей. Низы, гдѣ околачивались строгали и швали, онъ не долюбливалъ, потому что тамъ царила оголтѣлая нищета, а въ „приходѣ" нѣтъ-нѣтъ и провернется счастье.

— Ну-ка, Боговы работнички, поворачивай!—покрикивалъ Ермошка у себя за стойкой на вѣчно галдѣвшую толпу старателей.

— Благодѣтель, на тебя стараемся!—отвѣчали пьяные голоса.—Мимо тебя ложки въ ротъ не пронесешь... Всѣ у тебя, какъ говядина въ горшкѣ.

— А куды бы вы безъ меня-то дѣлись? А?..

— Ужъ это ты правильно, отецъ родной...

Всѣхъ больше надоѣдалъ Ермошкѣ шваль Мыльниковъ, который ежедневно являлся въ кабакъ и толкался въ народѣ неизвѣстно зачѣмъ. Онъ имѣлъ привычку приставать къ каждому, задиралъ, ссорился и частенько бывалъ битъ, но послѣднее мало на него дѣйствовало.

— Шелъ бы ты домой, Тарасъ,—часто уговаривалъ его Ермошка,—дома-то, поди, жена тебя вотъ

какъ ждетъ. А по пути завернулъ бы къ тестю чаю напиться. Богатый у тебя тестюшко.

— А тебѣ завидно? И напьемся чаю, даже вотъ какъ напьемся.

— А не хочешь того, чѣмъ ворота запираютъ?..

Подвыпившій Мыльниковъ проявлялъ необыкновенную гордость. Онъ билъ кулаками себя въ грудь и выкрикивалъ на всю улицу, что — погодите, покажетъ онъ, каковъ есть человѣкъ Тарасъ Мыльниковъ, и т. д. Кабацкіе завсегдатаи покатывались надъ Мыльниковымъ со смѣху и при случаѣ подносили стаканчики водки.

— Погодите, братцы, разсчитаюсь... — увѣрялъ Мыльниковъ.—Ужъ я достигну... Дайте только на ноги встать, а тамъ расчетъ пойдетъ мелкими.

Послѣ Пасхи Мыльниковъ частенько сталъ приходить въ кабакъ вмѣстѣ съ Яшей и Кишкинымъ. Онъ требовалъ прямо полуштофъ и распивалъ его съ пріятелями гдѣ-нибудь въ уголкѣ. Друзья вели какія-то таинственныя душевныя бесѣды, шептались и вообще чувствовали потребность въ уединеніи. Разъ, пошатываясь, Мыльниковъ пошелъ къ стойкѣ и потребовалъ второй полуштофъ.

— Да ты съ какой это радости расширился? — спрашивалъ его Ермошка.—Наслѣдство, што ли, получилъ?..

— А тебѣ какая печаль?.. Х-хе.. Никто не укажетъ Тарасу Мыльникову: самъ большой, самъ маленькій. А ты, Ермолай Семенычъ, теперь надо мной шутки шутишь, потому какъ я шваль и больше ничего...

— У всѣхъ у васъ въ Низахъ одна вѣра: голь

перекатная. Хоть вывороти васъ, двоегривеннаго не найдешь...

— А што, ежели, напримѣрно, богачество у меня, Ермолай Семенычъ? Вѣдь ты первый шапку ломать будешь, такой сякой... А я шубу енотовую надѣну, серебряные часы съ двумъ крышкамъ, гарусный шарфъ, да этакимъ чортомъ къ тебѣ подкачу. Какъ ты полагаешь?

— По одеждѣ встрѣчаютъ, Тарасъ... Разбогатѣешь, такъ насъ не забудь. Знаешь, кому счастье?..

— Ахъ, ты, курицынъ сынъ?.. Да я, можетъ, весь Балчуговскій заводъ куплю и выворочу его совершенно наоборотъ... Вотъ я каковъ есть человѣкъ...

— Не пугай впередъ, а то еще во снѣ увижу тебя богатаго... Вороны завсегда къ ненастью каркаютъ.

Эти сцены повторялись слишкомъ часто, чтобы обращать на себя серіозное вниманіе. Мыльникову никто не вѣрилъ, и только удивлялись, откуда онъ беретъ деньги на пьянство.

Къ этой компаніи потомъ присоединился Клейменый Мина, старикъ изъ балчуговскихъ каторжанъ, которыхъ уцѣлѣло не больше десятка. Это былъ молчаливый, лысый старикъ, съ большимъ лбомъ и глубоко посаженными глазами. Въ кабакъ онъ заходилъ рѣдко и скромно сидѣлъ все время гдѣ-нибудь въ уголкѣ. Потомъ появились старатели съ Фотьянки: красавецъ Матюшка, старый Турка и самъ Петръ Василичъ. Мыльниковъ угощалъ всѣхъ и ходилъ по кабаку козыремъ. Промысловые скептики сначала относились къ этой

компаніи подозрительно, а потомъ вдругъ увѣровали. Кто-то пустилъ слухъ, что раскошелился Кишкинъ въ виду открытія Кедровской дачи и набираетъ артель для развѣдки гдѣ-то на рѣкѣ Мутяшкѣ, гдѣ Клейменый Мина открылъ золото еще при казнѣ, но скрылъ до поры до времени. Даже увѣровалъ самъ Ермошка, зараженный охватившей всѣхъ золотой лихорадкой. Такъ онъ нѣсколько разъ уже заговаривалъ съ Кишкинымъ.

— Андронъ Евстратычъ, пусти въ кампанію...

— Рыломъ еще не вышелъ...—отвѣчалъ Кишкинъ торжественно.

— Да, вѣдь, все равно, мнѣ же золото будете сдавать,—тихо прибавлялъ Ермошка, прищуривая одинъ глазъ.

— Ужъ это, какъ Господь приведетъ... Одно сдавать золото, другое—добывать. Рука у тебя тяжелая, Ермолай Семенычъ...

— А у Мыльникова легкая?

— Пухъ—вотъ какая рука.

Совѣщанія составлявшейся компаніи не представляли тайны ни для кого, потому что о Мутяшкѣ давно уже говорили, какъ о золотомъ днѣ, и всѣ мечтали захватить тамъ мѣстечко, какъ только объявится Кедровская дача свободной. Явилась даже спекуляція на Мутяшку: нѣкоторые рабочіе ходили по кабакамъ, на базарѣ и вездѣ, гдѣ сбивался народъ, и въ самой таинственной формѣ предлагали озолотить „за красную бумагу". На Мутяшку образовался даже свой курсъ. Таинственные обогатители сообщали подъ страшнымъ секретомъ о существованіи какого-нибудь ложка

или ключика, гдѣ золото греби лопатой. Сложился цѣлый рядъ легендъ о золотѣ на Мутяшкѣ, въ родѣ того, что тамъ на золотѣ положенъ большой зарокъ, который не дѣйствуетъ только на невинную дѣвицу, а мужику не дается. Разсказывали о какихъ-то бѣглыхъ, во времена еще балчуговской каторги, которые скрывались въ Кедровской дачѣ и первые „натакались“ на Мутяшку и простымъ ковшомъ намыли столько, сколько только могли унести въ котомкахъ, что потомъ этихъ бродягъ, нагруженныхъ золотомъ, подкараулили въ Тайболѣ и убили. Такъ и осталось неизвѣстнымъ, гдѣ собственно схоронилось мутяшское золото. Довѣрчивые люди съ замираніемъ слушали эти разсказы и все сильнѣе распалялись желаніемъ легкой наживы. Знатоки Мутяшки скоро перестали довольствоваться красной бумагой, а стали требовать уже четвертной билетъ. Между прочимъ, этимъ промышлялъ и кривой Петръ Васильичъ, только не въ Балчуговскомъ заводѣ, а въ городѣ. Но лучше всѣхъ повелъ дѣло Мыльниковъ, который теперь и пропивалъ дурóмъ полученныя деньги. Всѣ знали, что это пропащій человѣкъ, и что онъ даже и не знаетъ пріисковаго дѣла, но такова была жажда золота, что вѣрили пустому человѣку, сулившему золотыя горы. И разговоръ у Мыльникова былъ самый пустой и дурашливый:

— Ужъ я произведу... Вó какъ по гробъ жизни благодарить будете... У меня рука легкая на золото; вотъ главная причина... Да... Всѣмъ могу руководствовать вполнѣ...

Азартъ носился въ самомъ воздухѣ, и Мыльниковъ заговаривалъ людей во сто разъ умнѣе себя, какъ тотъ же Ермошка, выдавшій швали тоже красный билетъ. Впрочемъ, Мыльниковъ на другой же день поднялъ Ермошку насмѣхъ въ его собственномъ заведеніи.

— Будешь меня благодарить, Ермолай Семенычъ!—кричалъ онъ.—А твоя красная бумага на поминъ моей души пойдетъ... У волка въ зубѣ—Егорій далъ.

Весь кабакъ надрывался отъ хохота, а Ермошка плюнулъ въ Мыльникова и со стыда убѣжалъ къ себѣ наверхъ. Центромъ разыгравшагося ажіотажа явился именно кабакъ Ермошки, куда сходились хоть послушать разсказовъ о золотѣ, и его владѣлецъ потерпѣлъ законно.

Кромѣ всего этого, къ кабаку Ермошки каждый день подъѣзжали таинственныя кошевки изъ города. Изъ такой кошевки вылѣзалъ какой-нибудь пробойный городской мѣщанинъ или мелкотравчатый купеческій братъ и для отвода глазъ сначала шелъ въ магазинъ, а ужъ потомъ, будто случайно, заводилъ разговоръ съ сидѣвшими у кабака старателями.

— Не надо ли партію?—спрашивали старатели.—Можетъ на счетъ того, штобы ширпъ ударить...

— Нѣтъ, мы этимъ не занимаемся, — продолжалъ отводить глаза отпѣтый городской человѣкъ.—Я по своимъ дѣламъ...

Ермошка, спрятавшись наверху, наблюдалъ въ окно этихъ городскихъ гостей и ругался всласть.

— Вотъ дураки-то!.. Дарь, мотри, вонъ какой

крендель выкидываетъ Затыкинъ; я его знаю, у него въ Щепномъ рынкѣ лавка. Х-ха, конечно балчуговскаго золота захотѣлъ отвѣдать... Мотри, Мыльниковъ къ нему подходитъ! Ахъ, песъ, ахъ, антихристъ... Охо-хо-хо! То-то дураки, эти самые городскіе... Мыльниковъ-то, Мыльниковъ по первому слову четвертной билетъ заломилъ: по рожѣ вижу. Всякую совѣсть потерялъ человѣкъ...

Городской человѣкъ, продѣлавъ для отвода глазъ необходимыя церемоніи, попадалъ въ кабакъ и за полуштофомъ водки получалъ самыя точныя свѣдѣнія, гдѣ найти самое вѣрное золото.

— Да што тутъ говорить: выставляй прямо четверть!..—бахвалился входившій въ ражъ Мыльниковъ. —Развѣ золото безъ водки живетъ? Разочнемъ четверть,—вотъ тебѣ и золото готово.

Простые рабочіе, не владѣвшіе даромъ „словесности“, какъ Мыльниковъ, довольствовались пока тѣмъ, что забирали у городскихъ охотниковъ задатки и записывались за-разъ въ нѣсколько развѣдочныхъ партій, а деньги, конечно, пропивались въ кабакѣ тутъ же. Никто не думалъ о томъ, чтобы завести новую одежду или сапоги. Всѣ надежды возлагались на будущее, а въ частности на Кедровскую дачу.

— Ишь, какъ воронье облѣпили кабакъ!—злорадствовалъ Ермошка.—Только и канпанія... Тутъ ходи да оглядывайся.

Большую сенсацію произвело появленіе въ кабакѣ извѣстнаго городского скупщика краденаго золота Ястребова. Это былъ высокій, плечистый и осанистый мужчина съ свирѣпымъ лицомъ. Гу-

стыя брови у него совсѣмъ срослись, а ястребиные глаза засѣли глубоко въ орбитахъ, какъ у настоящаго хищника. Окладистая съ просѣдью борода придавала ему степенный купеческій видъ. Одѣтъ онъ былъ въ енотовую шубу и бобровую шапку.

— Никитѣ Яковличу, благодѣтелю!.. — слышались голоса раболѣпныхъ прихлебателей. — Не хошь ли мѣстечка потеплѣе?..

— Ладно, заговаривай зубы,—сурово отвѣчалъ Ястребовъ, окидывая презрительнымъ взглядомъ пріисковую рвань.—Поищите кого попроще, а я то вполнѣ превосходно васъ знаю... Добрыхъ людей обманываете, черти.

Онъ прошелъ наверхъ къ Ермошкѣ и долго о чемъ-то бесѣдовалъ съ нимъ. Ермошка и Ястребовъ были завѣдомые скупщики краденаго съ Балчуговскихъ промысловъ золота. Всѣ это знали; всѣ объ этомъ говорили, но никто и ничего не могъ доказать: очень ужъ ловкіе были люди, умѣвшіе хоронить концы. Впрочемъ, пьяный Ястребовъ —онъ пилъ запоемъ,—хлопнувъ Ермошку по плечу, каждый разъ говорилъ:

— Ну, Ермошка, плачетъ о насъ острогъ-то!..

— Не тѣ времена, Никита Яковличъ,—подобострастно отвѣчалъ Ермошка, чувствовавшій къ Ястребову безграничное уваженіе.

II.

Дома Мыльниковъ почти не жилъ. Вставши утромъ и не прочухавшись хорошенько съ похмелья,

онъ выкраивалъ съ грѣхомъ пополамъ „уроки“ для своей мастерской, ругалъ Оксю, завѣдывавшую всей работой, и уходилъ изъ дому до поздняго вечера.

Избушка у Мыльникова была самая проваленная, какъ старый грибъ. Одинъ уголъ осѣлъ, крыша прогнила, ворота покосились, а надворныя постройки постепенно шли на дрова. Однимъ словомъ, домъ рушился со всѣхъ концовъ, и отъ него вѣяло нежилымъ. Впрочемъ, на Низахъ было много такихъ развалившихся дворовъ, потому что здѣсь главнымъ образомъ царила самая вопіющая бѣдность. Дѣло въ томъ, что Нагорная, гдѣ поселились каторжные, отбывшіе срокъ наказанія, послѣ освобожденія осталась вѣрной исконному промысловому дѣлу. То же было и на Фотьянкѣ, гдѣ сгруппировались ссыльно-поселенцы. А Низы, населившіеся „некрутами“, захотѣли послѣ воли существовать своимъ средствіемъ, и здѣсь быстро развились два ремесла: столярное и чеботарное. Положимъ, что балчуговская работа пользовалась очень плохой репутаціей, но все дѣло сводилось на то, чтобы освободиться отъ пріисковаго шатанья и промысловой маеты. Мѣстомъ сбыта служилъ главнымъ образомъ городъ, а отсюда уже балчуговское мастерство расходилось по нѣсколькимъ уѣздамъ и дальше. Сотни семей были заняты однимъ и тѣмъ же дѣломъ и сбивали цѣну товара самымъ добросовѣстнымъ образомъ: городскіе купцы богатѣли, а Низы захудали до послѣдней крайности. Избушка Мыльникова служила яркимъ примѣромъ подобнаго промысловаго захуда-

нія, и ея исторія служила иллюстраціей всей картины.

Тарасъ Мыльниковъ былъ кантонистъ. Его отецъ, пригнанный въ одинъ изъ рекрутскихъ наборовъ въ Балчуговскій заводъ, не вынесъ золотой каторги и за какую-то провинность долженъ былъ пройти „зеленую улицу“ въ нѣсколько тысячъ шпицрутеновъ. Онъ не вынесъ наказанія и умеръ на телѣжкѣ, на которой довозили изнемогшихъ „грѣшниковъ“ до конца улицы. Дѣло въ томъ, что преступниковъ сначала вели, привязавъ къ прикладу солдатскаго ружья, и когда они не могли итти,—везли на телѣжкѣ и здѣсь уже добивали окончательно. Опытные люди знали, что стоитъ такому грѣшнику сейчасъ послѣ наказанія напиться воды и конецъ. Такъ было и съ Мыльниковымъ, по крайней мѣрѣ въ семьѣ сохранилось преданіе, что онъ умеръ отъ воды. Маленькій Тарасъ послѣ отца попалъ въ кантонисты и вынесъ тяжелую школу въ мѣстномъ батальонѣ, а когда пришелъ въ возрастъ, его отправили на промысла. Здѣсь онъ вывернулся съ перваго раза, потому что поступилъ въ пріисковые шорники: и работа не трудная, да и жилъ онъ все время въ теплѣ. Воля избавила Тараса отъ солдатчины и обязательной промысловой службы. Онъ сейчасъ же поселился на Низахъ, гдѣ купилъ себѣ избу и занялся столярнымъ дѣломъ. Одинокому человѣку было нужно немного, и Тарасъ зажилъ справно, какъ слѣдуетъ настоящему мужику. Это время его благосостоянія совпало съ

его женитьбой на Татьянѣ, которую онъ вывелъ изъ богатаго зыковскаго дома.

Затѣмъ послѣдовалъ крутой поворотъ. Въ концѣ шестидесятыхъ годовъ, когда начиналась хивинская война, вдругъ образовался громадный спросъ на балчуговскій сапогъ, и Тарасъ бросилъ свое столярное дѣло. У него былъ свой расчетъ: въ столярномъ дѣлѣ ему приходилось отдуваться одному, а при сапожномъ ремеслѣ ему могла помогать жена и подроставшія дѣти. Такъ и вышло: Тарасъ разсчиталъ вѣрно. Вся семья запряглась въ тяжелую работу, а по мѣрѣ того, какъ подростали дѣти, Тарасъ сталъ все больше и больше отлынивать отъ дѣла, удѣляя досуги любезнымъ разговорамъ въ кабакѣ Ермошки. Особенно облегчала его жизнь подросшая старшая дочь Окся, корявая и курносая дѣвка, здоровая какъ чурбанъ. Это было безотвѣтное существо, обладавшее неистощимымъ терпѣніемъ. Жена Татьяна отъ работы, бѣдности и дѣтей давно выбилась изъ силы и больше управлялась по домашности, а воротила всю работу Окся, подъ непосредственнымъ наблюденіемъ которой работали еще двое братьевъ подростковъ.

— И въ кого ты у насъ уродилась, Окся,—часто говорила Татьяна, наблюдая дочь.—Равно у насъ такихъ неуворотныхъ бабъ и въ роду не бывало. Дерево деревомъ.

— Такая ужъ уродилась, маменька,—отвѣчала Окся, не разгибаясь отъ работы.—Вся тутъ...

— Охъ, горе ты мое, Окся!—стонала Татьяна.—Другія-то дѣвки вотъ замужъ повыскакали, а ты

такъ въ дѣвкахъ и зачичеревѣешь... Кому тебя нужно, песообразную.

— Богъ пошлетъ счастья, такъ и я замужъ выйду, маменька... Слава Богу, не хуже другихъ.

— Охъ, дура, дура...

Оригинальнѣе всего было то, что Оксю, кормившую своей работой всю семью, походя корили каждымъ кускомъ хлѣба, каждой тряпкой. Особенно изобрѣтателенъ былъ въ этомъ случаѣ самъ Тарасъ. Онъ каждый разъ, принимая Оксину работу, непремѣнно тыкалъ ее прямо въ физіономію чѣмъ попало: сапогами, деревянной сапожной колодкой, а то и шиломъ.

— Стерва, знаешь хлѣбъ жрать!—ругался онъ. —Пропасти на тебя нѣтъ!

Онъ все больше и больше наваливалъ работы на безотвѣтную дѣвку, а когда она не исполняла ея, хлесталъ ремнемъ или таскалъ за волосы. Окся не жаловалась, не плакала, и это окончательно выводило Тараса изъ себя.

— Безчувственная стерва...—удивлялся Тарасъ, измучившись боемъ.—Што ее учи, што не учи—одинъ прокъ.

Къ счастью Окси Тарасу некогда было серіозно заниматься наукой, и Окся въ его отсутствіе наслаждалась покоемъ. Что она думала,—никто не зналъ да и не интересовался знать, а Окся работала, не разгибая спины, и вѣчно молчала. Любимымъ удовольствіемъ для нея было выйти за ворота и смотрѣть на улицу. Окся могла простоять такимъ образомъ у воротъ часа три и все время скалила бѣлые зубы. Парни потѣшались надъ ней,

какъ надъ круглой дурой, и шутили грубыя шутки: то грязью запустятъ, то въ волосы закатаютъ сапожнаго вару, то вымажутъ сажей. Окся защищалась отчаянно, какъ обезьяна, и тоже не жаловалась, точно такъ все и должно быть.

Такъ шла жизнь семьи Мыльниковыхъ, когда въ нее неожиданно хлынули дикія деньги, какія Тарасъ вымогалъ изъ довѣрчивыхъ людей своей „словесностью". Разъ подъ вечеръ онъ привелъ въ свою избушку даже гостей — событіе небывалое. Съ нимъ пришли: Кишкинъ, Яша, Петръ Васильичъ съ Фотьянки и Мина Клейменый.

— Милости просимъ, — приглашалъ Тарасъ. — Здѣсь намъ много способнѣе будетъ разговоры-то разговаривать, а въ кабакѣ еще, того гляди, подслушаютъ да вызнаютъ... Тоже народъ нонѣ пошелъ, шильники. Эй, Окся, айда къ Ермошкѣ. Оборудуй четверть водки... Да у меня смотри: одна нога здѣсь, а другая тамъ. Господа, вы на нее не смотрите: дура набитая. При ней все можно говорить, потому, какъ стѣна, ничего не пойметъ.

Окся накинула на голову платокъ и бросилась къ двери.

— Эй, ты, пень березовый! — остановилъ ее отецъ.—Стой, дура, выслушай перво... Водки купишь, такъ на обратномъ пути заверни въ лавочку и купи фунтъ колбасы.

Это ужъ было совсѣмъ смѣшно, и Окся расхохоталась. Какая такая колбаса? Тоже и выдумаетъ тятенька.

— Ну, не дура ли набитая?—повторялъ Тарасъ, обращаясь уже къ гостямъ.

— Однако и дворецъ у тебя, Тарасъ!—удивлялся Кишкинъ, не зная, куда сѣсть.—Однимъ словомъ, хоромина.

— А вотъ погоди, Андронъ Евстратычъ, все справимъ, Богъ дастъ.

Петръ Васильичъ степенно молчалъ, оглядывая Тарасову худобу. Онъ даже пожалѣлъ, что пошелъ сюда: срамъ одинъ. Но предстояло важное дѣло, которое Мыльниковъ все откладывалъ: именно, сегодня Мина Клейменый долженъ былъ разсказать какую-то мудреную исторію про Мутяшку. Это былъ совсѣмъ древній старикъ, остовъ человѣка, и жизнь едва теплилась въ его потухавшихъ глазахъ. Свое прозвище онъ получилъ отъ клеймъ на вискахъ. На старческой ссохшейся и пожелтѣвшей кожѣ сохранились буквы: СК, т.-е. ссыльно-каторжный. Такихъ клейменыхъ въ Балчуговскомъ заводѣ оставалось уже немного: старики быстро вымирали. Мина былъ изъ дворовыхъ людей Рязанской губерніи и попалъ на каторгу за убійство бурмистра. Было это такъ давно, что и самъ Мина уже не могъ хорошенько припомнить, за что онъ убилъ. Прошлое у него совершенно вытерлось изъ памяти, заслоненное долголѣтней каторгой.

Когда Окся принесла водки и колбасы, твердой, какъ камень, разговоры сразу оживились. Всѣ пропустили по стаканчику, но колбасу ѣлъ одинъ Кишкинъ да хозяинъ. Окся стояла у печки и не могла удержаться отъ смѣха, глядя на нихъ: она

въ первый разъ видѣла, какъ ѣдятъ колбасу, и даже отплюнула нѣсколько разъ.

— Такъ ты намъ сначала разсказывай, Мина,— говорилъ Тарасъ, усаживая старика въ передній уголъ.—Какъ у васъ все дѣло было... Вѣдь ты тогда въ партіи былъ, когда при казнѣ по Мутяшкѣ ширпы были?

— Былъ, какъ же,—соглашался Мина, шамкая беззубымъ ртомъ.—Большая партія была...

— Это при Разовѣ было?—справился Петръ Васильичъ, сохраняя необыкновенную степенность.

— Не перешибай ты его! — останавливалъ Тарасъ. – Старичокъ—древній, какъ разъ запутается... Ну-ко, дѣдушка, еще стаканчикъ кувырни!

— Большая партія была... — продолжалъ Мина, точно пережевывалъ каждое слово.—Въ кандалахъ выгнали на работу, а мѣста по Мутяшкѣ болотистыя... лѣсъ... Казаки за нами съ нагайками... Битва была, а не работа. Ненастье поднялось страшенное, а хлѣбъ-то и подмокъ... Оголодали, промокли... Ну, Разовъ нагналъ и сейчасъ давай насъ драть. Онъ ужъ безъ этого не могъ... Лютый человѣкъ былъ. Ну, на Мутяшкѣ-то мы цѣльный мѣсяцъ муку принимали, а потомъ и подвернись казакамъ одинъ старецъ. Онъ тутъ въ лѣсу проживалъ, душу спасалъ... Казаки-то его поймали и приводятъ. Сѣденькій такой старецъ, а головка трясется. Разовъ велѣлъ и его отпалыскать... Ну, старецъ-то принялъ наказаніе, перекрестился и Разова благословилъ... „Миленькій, говоритъ, мнѣ тебя жаль: не отъ себя лютуешь“. Разовъ опять его бить... Тутъ ужъ старецъ слегъ: разнемогся

въ конецъ. И Разова тоже совѣсть взяла: оставилъ старца... Ну, мы робимъ, ширпы бьемъ, а старецъ подъ елочкой лежитъ и глядитъ на насъ. Глядѣлъ-глядѣлъ да и подзываетъ меня. „Што вы, говоритъ, понапрасну землю роете?.. И золото есть, да не вамъ его взять. Не вашими погаными руками ..“ — Какъ же, говорю я, взять его, дѣдушка?—„А умѣючи, говоритъ, умѣючи, потому положонъ здѣсь на золотѣ великій зарокъ. Ты къ нему, а оно отъ тебя... Надо, говоритъ, штобы невинная дѣвица обошла сперва мѣсто то по три зари да и ширпъ бы она же указала...“ Ну, какая у насъ въ тѣ поры невинная дѣвица, когда въ партіи все каторжане да казаки; такъ золото и не далось. Изъ глазъ ушло... На промывкѣ какъ-будто и поблескиваетъ, а стали доводить—и нѣтъ ничего. Такъ ни съ чѣмъ и ушли...

— Ну, а про свинью-то, дѣдушка, — напомнилъ Тарасъ.—Ты ужъ намъ все обскажи, какъ было дѣло...

— Тоже старецъ сказывалъ...—продолжалъ Мина, съ трудомъ переводя духъ.—Онъ самъ-то изъ Тайболы, старой вѣры... Ну, такъ въ допрежнія времена, еще до Пугача, одинъ мужикъ изъ Тайболы ходилъ по Кедровской дачѣ и разыскивалъ тумпасы. Только дошелъ онъ до Мутяшки, ударилъ гдѣ-то на мысу ширпъ и, што бы ты думалъ, братецъ ты мой?.. лопата какъ зазвенитъ... Мужикъ даже испугался... Ну, собрался съ духомъ и выкопалъ золотой самородокъ пуда въ два вѣсомъ. Выкопать-то выкопалъ мужикъ — да испугался... Первое дѣло, самородокъ-то на свинью походилъ:

и какъ-будто рыло, и какъ-будто ноги—какъ есть свинья. Другое дѣло, куды ему дѣваться съ самородкомъ? Въ тѣ поры съ золотомъ-то такія строгости были, одна страсть... Перваго-то мужика, который на Балчуговкѣ нашелъ золото, слышь, насмерть начальство запороло... Вотъ тайбольскому мужику и сдѣлалось страшно...

— Да не дуракъ ли? — вздохнулъ угнетенно Петръ Васильичъ.—Богъ счастья послалъ, а онъ испугался...

— Не перешибай!—оборвалъ его Тарасъ. — Дай кончить.

— И сдѣлалось мужику страшно, такъ страшно—до-смерти... Ежели продать самородокъ—поймаютъ, ежели такъ бросить—жаль, а ежели объявить начальству, повернутъ всю Тайболу въ каторгу, какъ повернули Балчуговскій заводъ. Три ночи не спалъ мужикъ: все маялся, и удумалъ штуку: взялъ да самородокъ и закопалъ въ ширпъ, гдѣ его нашелъ. А самъ убѣжалъ домой въ Тайболу и молчалъ до самой смерти, а когда сталъ помирать, разсказалъ все своему сыну и тоже положилъ зарокъ молчать до смерти. Сынъ тоже молчалъ и только передъ смертью объявилъ все внуку и тоже положилъ зарокъ, какъ дѣдушка.

— Ахъ, дуракъ мужикъ!.. — воскликнулъ Кишкинъ.—Ну, не дуракъ ли?..

— Да еще какой дуракъ-то: Богъ счастья послалъ, а онъ его опять въ землю зарылъ... Ему, подлецу, руки бы по локоть отрубить, а самого въ воду. Дуракъ, дуракъ...

— Удавить его мало! — заявилъ съ своей сто-

роны Тарасъ.—Да ежели бы мнѣ Богъ счастья послалъ, да я бы сейчасъ Ястребову въ городъ уперъ самородокъ-то, а потомъ ищи... Дуракъ мужикъ!..

Вся компанія разразилась такой неистовой руганью по адресу мужика, закопавшаго золотую свинью, что Мина Клейменый даже напугался, что всѣ накинулись на него.

— Да вѣдь это не я, братцы! — взмолился онъ, забиваясь въ уголъ.

— Ахъ, дуракъ мужикъ!.. Живого бы его изжарить на огнѣ... Дуракъ, дуракъ!..

Даже скромный Яша и тотъ ругался вмѣстѣ съ другими, размахивалъ руками и лѣзъ къ Минѣ съ кулаками. Лица у всѣхъ сдѣлались красными отъ выпитой водки и возбужденія.

— А мы его найдемъ, самородокъ-то!—кричалъ Мыльниковъ,—да къ Ястребову... Ха-ха!.. Ловко... Комаръ носу не подточитъ. Такъ я говорю, Петръ Васильичъ? Родимый мой... Вѣдь мы-то съ тобой еще въ свойствѣ состоимъ по бабушкамъ.

— Какъ есть родня: троюродное наплевать.

— А ты не хрюкай на родню. У Родіона Потапыча первая-то жена, Марья Тимоѳеевна, родной сестрой приходилась твоей матери Лукерьѣ Тимоѳеевнѣ. Значитъ, въ свойствѣ и выходитъ. Ловко Лукерья Тимоѳеевна прижала Родіона Потапыча. Утихомирила разомъ, а то совсѣмъ Яшку собрался драть въ волости. Люблю...

— Ну, братцы, надо объ дѣлѣ столковаться,— приставалъ Кишкинъ.—Первое мая на носу, надо партію...

— Валяй партію, всѣхъ записывай! — кричали

пьяные голоса.—Добудемъ Мутяшку... А то и самородку разыщемъ, свинью эту самую.

— Я на себя запишу заявку-то .. — предлагалъ Кишкинъ.

— Конешно, на себя: ты одинъ у насъ грамотный...

— А я Оксю приспособлю, можетъ, она найдетъ свинью-то,—предлагалъ Мыльниковъ:— она хоша и круглая дура, а честная...

— Можно и сестру Марью на такой случай вывести...—предлагалъ расхрабрившійся Яша.—Тоже дѣвица вполнѣ... Можетъ вдвоемъ-то онѣ скорѣе найдутъ. А ты, Андронъ Евстратычъ, главное дѣло, не ошибись гумагой, потому какъ гумага первое дѣло.

— Да уже надѣйтесь на меня: не подгадимъ дѣла,—увѣрялъ Кишкинъ.

Дальше въ избушкѣ поднялся такой шумъ, что никто и ничего не могъ разобрать. Окся успѣла слетать за второй четвертною и на закуску принесла соленаго максуна. Пока другіе пили водку, она успѣла стащить половину рыбы и раздѣлила братьямъ и матери, сидѣвшимъ въ холодныхъ сѣняхъ.

— Они теперь совсѣмъ одурѣли... — коротко объяснила она, уплетая соленую рыбу за обѣ щеки.—А тятенька прямо на стѣну лѣзетъ...

— Да развѣ на одной Мутяшкѣ золото-то?—выкрикивалъ Мыльниковъ, качаясь на ногахъ.—Да сколько его хошь, золота: по Худенькой, по Малиновкѣ, по Генеролкѣ, а тамъ Свистунья, Ле-

дянка, Миляевъ мысъ, Суходойка, Маякова слань. Бугры золота...

Увлекшись, Мыльниковъ совсѣмъ забылъ, что этими мѣстами обманывалъ городскихъ промышленниковъ, и теперь увѣрялъ всѣхъ, что вездѣ былъ самъ и вездѣ находилъ вѣрные знаки.

— Перестань врать, непутевая голова!—оборвалъ его Петръ Васильичъ.

Пьяный Мина Клейменый давно уже лежалъ подъ столомъ. Его тамъ нашли только утромъ, когда Окся принялась за свою работу. Разбуженный старикъ долго не могъ ничего понять, какъ онъ очутился здѣсь, и только беззвучно жевалъ своимъ беззубымъ ртомъ. Голова у него трещала съ похмелья, какъ худой колоколъ.

III.

Тронувшаяся вешняя вода не произвела обычнаго эффекта на промыслахъ. Рабочіе ждали съ нетерпѣніемъ перваго мая, когда открывалась Кедровская дача. Крупные золотопромышленники организовали поисковыя партіи чрезъ своихъ повѣренныхъ, а мелкота толкалась въ Балчуговскомъ заводѣ самолично. Цѣны на рабочія руки поднялись сразу, потому что вездѣ было нужно настоящихъ пріисковыхъ рабочихъ. Пока балчуговскіе мужики проживали полученные задатки, на компанейскія работы выходила только отчаянная голытьба и пріисковая рвань. Да и на эту рабочую силу былъ плохой расчетъ, потому что

и эти отбросы ждали только перваго мая. Родіонъ Потапычъ рвалъ на себѣ волосы въ отчаяніи.

— Ничего, пусть поволнуются...—успокаивалъ Карачунскій.—По крайней мѣрѣ, теперь не будетъ на насъ жалобъ, что мы тѣснимъ работами, мало платимъ и обижаемъ. Къ намъ-то придутъ, повѣрь...

— А время-то какое?..—жаловался Родіонъ Потапычъ.—Вѣдь въ прошломъ году у насъ стономъ стонъ стоялъ... Однихъ старателишекъ неочерпаемое множество, а теперь они и губу на локоть. Только и разговору: Кедровская дача, Кедровская дача. Безъ рабочихъ совсѣмъ останемся, Степанъ Романычъ.

— Вздоръ... Попробуютъ и бросятъ, повѣрь мнѣ. Во всякомъ случаѣ, я ничего страшнаго пока еще не вижу...

Чтобы развеселить старика, Карачунскій прибавилъ:

— Старатели будутъ, конечно, воровать золото на новыхъ промыслахъ, а мы будемъ его скупать... Новые золотопромышленники закопаютъ лишнія деньги въ Кедровской дачѣ, а рабочіе къ намъ же и придутъ. Уцѣлѣетъ одинъ Ястребовъ и будетъ скупать наше золото, какъ скупалъ его и раньше.

— Ужъ этотъ уцѣлѣетъ... Повѣсить его мало... Теперь у него съ Ермошкой кабатчикомъ такая дружба завелась—водой не разольешь. Рука руку моетъ... А што на Фотьянкѣ дѣлается: совсѣмъ сбѣсился народъ. Съ Балчуговскаго всѣ на Фоть-

янку кинулись... Смута такая пошла, што не слушай теплая хороминка. И этотъ Кишкинъ тутъ впутался, и Ястребовъ наѣзжалъ раза три... Живымъ мясомъ хотятъ разорвать Кедровскую-то дачу. Гляжу я на нихъ и дивлюсь про себя: вотъ до чего привелъ Господь дожить. Не глядѣли бы глаза.

— Ну, а что твоя Ѳеня?

Родіонъ Потапычъ не любилъ подобныхъ разспросовъ и каждый разъ хмурился. Карачунскій наблюдалъ его улыбающимися глазами и тоже молчалъ.

— Устроилъ...—коротко отвѣтилъ онъ, опуская глаза.—Къ себѣ-то въ домъ совѣстно было ее привезти, такъ я ее на Фотьянку, къ сродственницѣ опредѣлилъ. Баушка Лукерья... Она мнѣ по первой женѣ своячиной приходится. Ну, я къ ней и опредѣлилъ Ѳеню, пока што...

— А потомъ?

— А потомъ ужъ што Господь пошлетъ.

Послѣ длинной паузы старикъ прибавилъ:

— Своячина-то, значитъ, баушка Лукерья, совсѣмъ правильная женщина, а вотъ сынъ у ней...

— Петръ Васильичъ?—подсказалъ Карачунскій, обладавшій изумительной памятью на имена.

— Онъ самый... Сродственникъ онъ мнѣ, а прямо скажу: змѣй подколодный. Первое дѣло, съ Кишкинымъ конпанію завелъ, потомъ Ястребова къ себѣ на фатеру пустилъ... У нихъ теперь на Фотьянкѣ чортъ кашу варитъ.

Чтобы добыть Ѳеню изъ Тайболы, была употреблена военная хитрость. Во-первыхъ, къ Кожи-

нымъ отправилась сама баушка Лукерья Тимоѳеевна и заявила, что Родіонъ Потапычъ согласенъ простить дочь, буде она явится съ повинной.

— Конешно, построжитъ старикъ для видимости,—объясняла она старухѣ Маремьянѣ,—сорветъ сердце... Можетъ и побьетъ. А только родительское сердце отходчиво. Сама, поди, знаешь по своимъ дѣтямъ...

— А какъ онъ ее запретъ дома-то?—сомнѣвалась старая раскольница, пристально вглядываясь въ хитраго посла.

— Запре-отъ?—удивилась баушка Маремьяна.— Да ему-то какая теперь въ ней корысть? Была дѣвка, не умѣли беречь, такъ теперь вѣтра въ полѣ искать... Да еще и то сказать, въ Балчугахъ народъ балованный, какъ разъ еще и ворота дегтемъ вымажутъ... Парни-то нынче ножовые. Скажутъ: нами брезговала, а за кержака убѣжала. У нихъ свое на умѣ...

— Это ты правильно, баушка Лукерья...—туго соглашалась Маремьяна.—Хошь до кого доведись.

— Я-то вѣдь не неволю, а пріѣхала, васъ же жалѣючи... И Ѳенѣ-то не сладко жить, когда родители хуже чужихъ стали. А вѣдь Ѳеня-то, все-таки, своя кровь, изъ роду-племени не выкинешь.

— Ужъ ты-то помоги намъ, баушка...

Уластила старуха кержанку и уѣхала. Съ недѣлю думали Кожины, какъ быть. Акинфій Назарычъ былъ противъ того, чтобы отпускать жену одну, но не могъ онъ устоять передъ жениными

слезами. Нечего дѣлать, заложилъ онъ лошадь и подъ вечерокъ, чтобы не видѣли добрые люди, самъ повезъ жену на мировую. Выбрана была нарочно суббота, чтобы застать дома самого Родіона Потапыча. Высадилъ Кожинъ жену около церкви, поцѣловалъ ее въ послѣдній разъ и отпустилъ, а самъ остался дожидаться. Онъ даже прослезился, когда Ѳеня торопливо пошла отъ него и скрылась въ темнотѣ, точно чуяло его сердце бѣду.

Родіонъ Потапычъ, дѣйствительно, былъ дома и самъ отворилъ дочери дверь. Онъ ни слова не проронилъ, пока Ѳеня съ причитаньями и слезами ползала у его ногъ, а только велѣлъ Прокопію запрячь лошадь. Когда все было готово, онъ вывелъ дочь во дворъ, усадилъ съ собой въ пошевни и выѣхалъ со двора, но повернулъ не направо, гдѣ дожидался Акинфій, а влѣво. Встрепенулась было Ѳеня, какъ птица, попавшая въ западню, но старикъ грозно прикрикнулъ на нее и погналъ лошадь. Онъ догадался, что Кожинъ ждетъ ее гдѣ-нибудь поблизости, и объѣхалъ засаду другой улицей, а тамъ мелькнула пьяная контора, Ермошкинъ кабакъ и послѣднія избушки Нагорной.

— Тятенька, родимый, куда ты везешь меня?— взмолилась Ѳеня.

— А вотъ узнаешь, куда...

Ѳеня вся похолодѣла отъ ужаса, такъ что даже не сопротивлялась и не плакала. Вотъ и Краюхинъ увалъ, и шахты, и казенный громадный разрѣзъ, и молодой лѣсокъ, выросшій по свалкамъ и отвастволамъ. Когда уже мелькнули впереди огонь-

ки Фотьянки, Ѳеня догадалась, куда отецъ везетъ ее, и внутренно обрадовалась: баушку Лукерью она видала рѣдко, но привыкла ее уважать. Пошевни переѣхали р. Балчуговку по ветхому мостику, поднялись на мысокъ, гдѣ стоялъ кабакъ Фролки, и остановились у дома Петра Васильича. На топотъ лошади въ волоковомъ оконцѣ показалась голова самой баушки Лукерьи. Старуха сама вышла на крыльцо встрѣчать дорогихъ гостей и проводила Ѳеню прямо въ заднюю избу, гдѣ жила сама.

— Ты посиди здѣсь, жаръ-птица, а я пока потолкую съ отцомъ,—сказала она, припирая дверь на всякій случай желѣзной задвижкой.

Родіонъ Потапычъ сидѣлъ въ передней избѣ, которая дѣлилась капитальной стѣной на двѣ комнаты—въ первой была русская печь, а вторая оставалась чистой горницей.

— Ну, гостенекъ дорогой, проходи въ горницу-то,—приглашала баушка Лукерья.—Сядемъ рядкомъ да поговоримъ ладкомъ...

— О чемъ говорить-то: весь тутъ. Дома ничего не осталось... А гдѣ у тебя змѣй-то кривой?

— Охъ, не спрашивай... Компанятся они теперь въ кабакѣ вотъ ужъ близко мѣсяца, и конца краю нѣту. Только што и будетъ... Сегодня зятекъ-то твой, Тарасъ Матвѣичъ, пришелъ къ Кишкинымъ и сейчасъ къ Фролкѣ: у нихъ одно заведенье. Ну, такъ ты насчетъ Ѳени не сумлѣвайся: отвожусь какъ-нибудь...

— Ты съ нея одёжу-то ихнюю сыми первымъ дѣломъ... Ножъ мнѣ это вострый. А ежели наго-

нятъ на Тайболы да будутъ приставать, такъ ты мнѣ дай знать на шахты или на плотину: я ихъ живой рукой поверну.

— Всякъ куликъ на своемъ болотѣ великъ, Родіонъ Потапычъ... Управимся и безъ тебя. Чѣмъ я тебя угощать-то буду, своячекъ?.. Водочку не потребляешь?

— Отъ роду не пивалъ, не знаю, чѣмъ она и пахнетъ, а теперь ужъ поздно начинать... Ну такъ, своячинушка, направляй ты нашу заблудящую дѣвку, какъ тебѣ Богъ на душу положитъ, а тамъ можетъ и сочтемся. Што тебѣ понадобится, то и сдѣлаю. А теперь, значитъ, прощай...

Баушка Лукерья не задерживала гостя, потому что догадалась, чего онъ боится, именно, встрѣчи съ Петромъ Васильичемъ и Кишкинымъ. Она проводила его за ворота.

— Пріѣду какъ-нибудь въ другой разъ...—глухо проговорилъ старикъ, усаживаясь въ свои пошевенки.—А теперь мутитъ меня... Говорить-то объ *ней* даже не могу. Ну, прощай...

Такъ Ѳеня и осталась на Фотьянкѣ. Баушка Лукерья нѣсколько дней точно не замѣчала ея: придетъ въ избу, дѣлаетъ какое-нибудь свое старушечье дѣло, а на Ѳеню и не взглянетъ.

— Баушка, родненькая, мнѣ страшно... — нѣсколько разъ повторяла Ѳеня, когда старуха собиралась уходить.

— Страшнѣе того, што сама надѣлала, не будетъ...

Горько расплакалась Ѳеня всего одинъ разъ, когда братъ Яша привезъ ей изъ Балчугова ея

дѣвичье приданое. Снимая съ себя раскольничій косоклинный сарафанъ, подаренный богоданной матушкой Маремьяной, она точно навѣки прощалась съ своей тайболовской жизнью. Ахъ, какъ было ей горько и тошно, особенно вспоминаючи любовныя рѣчи Акинфія Назарыча... Гдѣ-то онъ теперь, милъ-сердечный другъ? Принесутъ ему ея дареное платье, какъ съ утопленницы. Баушка Лукерья поняла дѣвичье горе, нахмурилась и сурово сказала:

— Не о себѣ ревешь, непутевая... Перестань дурить. То-то ваша дѣвичья совѣсть... Не даромъ слово молвится: до порога.

— Хошь бы я словечко одно ему сказала...— плакала Ѳеня.—За привѣтъ да за ласку, да за его любовь...

— Очень ужъ просты на любовь-то мужики эти самые,—ворчала старуха, свертывая дареное платье.—Имъ, вѣдь, чужого-то вѣка не жаль, только бы свое получить. Не бойсь, утѣшится твой-то съ какой-нибудь кержанкой. Не стало вашего брата, дѣвокъ... А ты у меня пореви, на поклоны поставлю.

Хотѣла Ѳеня повидать Яшу, чтобы съ нимъ послать Акинфію Назарычу поклончикъ, да баушка Лукерья не пустила, а опять затворила въ задней избѣ. Горько убивалась Ѳеня, точно ее живую похоронили на Фотьянкѣ.

Баушка Лукерья жила въ задней избѣ одна, и, когда легли спать, она, чтобы утѣшить чѣмъ-нибудь Ѳеню, начала разсказывать про прежнюю „казенную жизнь“: какъ она съ сестрой Марѳой

Тимоѳеевной жила „за помѣщикомъ“, какъ помѣщикъ обижалъ своихъ дворовыхъ дѣвушекъ, какъ сестра Мароа Тимоѳеевна не стерпѣла поруганья и подожгла барскій домъ.

— А стыда-то, стыда сколько напринимались мы въ дѣвичьей,—разсказывалъ въ темнотѣ баушкинъ голосъ.—Сегодня одна, завтра другая... Конешно, подневольное наше дѣвичье дѣло было, а пригнали насъ на каторгу въ Балчуги, тутъ покойничекъ Антонъ Лукичъ лакомство свое тѣшилъ. Такъ это все грѣхъ подневольный, за который и взыску нѣтъ: чего съ каторжанокъ взять. А и тутъ, какъ вышли на поселенье, посмотри-ка какія бабы вышли: ни про одну худого слова не молвятъ. И ни одной такой-то не нашлось, штобы польстилась въ другую вѣру уйти... Терпѣть терпѣли всячину, а этого не было. И Бога не забывали и въ свою православную церковь ходили... Только и радости было, што одна церковь, когда каторгу отбывали. Родная мать наша была, церковь-то православная: сколько, бывало, поплачемъ да помолимся, столько и поживемъ. Вотъ это какое дѣло... Расейскій народъ крѣпкій, не то што здѣшніе.

Ѳеня внимательно слушала неторопливую баушкину рѣчь и проникалась прошлымъ страшнымъ горемъ, какое баушка принесла изъ далекой Расеи сюда, на каторгу. Съ дѣтства она слышала всѣ эти разсказы, но сейчасъ баушка Лукерья гнула свое, стороной обвиняя Ѳеню въ измѣнѣ православію. Послѣднее испугало Ѳеню, особенно когда баушка Лукерья сказала:

— А ты того не подумала, Ѳеня, што родился бы у тебя младенецъ, и потащила бы Маремьяна къ старикамъ да къ своимъ старухамъ крестить? Разѣ ихное крещенье правильное: загубила бы Маремьяна ангельскую душеньку—только и всего. Какой бы ты грѣхъ на свою душу приняла?.. Другая дѣвушка не сохранитъ себя,—вонъ какой у насъ народъ на промыслахъ! разродится младенцемъ, а все-таки младенецъ крещеный будетъ... Стыдъ-то свой дѣвичій сама износитъ, а младенческую душеньку ухранитъ... А того ты не подумала, што у тебя народилось бы человѣкъ пять ребятъ, тогда какъ?..

— Баушка, миленькая, я думала, што... очень ужъ любитъ меня Акинфій-то Назарычъ, можетъ, онъ и повернулся бы въ нашу православную вѣру. Думала я объ этомъ и день и ночь...

— А Маремьяна?.. Нѣтъ, голубушка, при живности старухи нечего было тебѣ и думать. Пустое это дѣло, закостенѣла она въ своей старой вѣрѣ...

— А ежели Маремьяна умретъ, баушка? Не два вѣка она будетъ жить...

— Тогда другой разговоръ... Только старые люди сказывали, што свинья не родитъ бобра. Понадѣялась ты на любовныя рѣчи своего Акинфія Назарыча прежде времени...

Каждый вечеръ происходили эти тихія любовныя рѣчи, и Ѳеня все больше проникалась сознаніемъ правоты баушки Лукерьи. А съ другой стороны ее тянуло въ Тайболу мертвой тягой: свер-

нулась бы птицей и полетѣла... Хоть бы одинъ разъ взглянуть, что тамъ дѣлается!

Ровно черезъ недѣлю Кожинъ разыскалъ, гдѣ была спрятана Ѳеня, и верхомъ пріѣхалъ въ Фотьянку. Сначала, для отвода глазъ, онъ завернулъ въ кабакъ, будто собирается золото искать въ Кедровской дачѣ. Поговорилъ онъ кой съ кѣмъ изъ мужиковъ, а потомъ послалъ за Петромъ Васильичемъ. Тотъ не заставилъ себя ждать и, какъ увидѣлъ Кожина, сразу смекнулъ, въ чемъ дѣло. Чтобы не выдать себя, Петръ Васильичъ съ часъ ломалъ комедію и сговаривался съ Кожинымъ о золотѣ.

— Пойдемъ-ка ко мнѣ, Акинфій Назарычъ,— пригласилъ онъ наконецъ смущеннаго Кожина,— можетъ, дома-то лучше сговоримся...

Свою лошадь Кожинъ оставилъ у кабака, а самъ пошелъ пѣшкомъ.

— Вотъ што, другъ милый,—заговорилъ Петръ Васильичъ,—зачѣмъ ты пріѣхалъ — твое дѣло, а только смотри, штобы тихо и смирно. Все отъ матушки будетъ: допуститъ тебя или не допуститъ. Такъ и знай...

— Тише воды, ниже травы буду, Петръ Васильичъ, а твоей услуги не забуду...

— То-то, уговоръ на берегу. Другое тебѣ слово скажу: напрасно ты пріѣхалъ. Я такъ мекаю, што матушка повернула Ѳеню на свою руку... Бабы это умѣютъ дѣлать: тихими словами какъ примется наговаривать да какъ слезами учнетъ донимать— хуже обуха.

Сначала Петръ Васильичъ пошелъ и предупре-

дилъ мать. Баушка Лукерья встрепенулась вся, но раскинула умомъ и велѣла позвать Кожина въ избу. Тотъ вошелъ такой убитый да смирный, что ей вчужѣ сдѣлалось его жаль. Онъ поздоровался, присѣлъ на лавку и заговорилъ, будто пріѣхалъ въ Фотьянку нанимать рабочихъ для заявки.

— Вотъ што, Акинфій Назарычъ, золото-то ты свое ужъ оставь,—обрѣзала баушка Лукерья.— Захотѣлъ Ѳеню повидать? Такъ и говори... Прямое дерево вѣтру не боится. Я ее сейчасъ позову.

У Кожина захолонуло на душѣ: онъ не ожидалъ, что все обойдется такъ просто. Пока баушка Лукерья ходила въ заднюю избу за Ѳеней, прошла цѣлая вѣчность. Петръ Васильичъ стоялъ неподвижно у печи, а Кожинъ сидѣлъ на лавкѣ, низко опустивъ голову. Когда скрипнула дверь, онъ весь вздрогнулъ. Ѳеня остановилась въ дверяхъ и не шла дальше.

— Ѳеня...—зашепталъ Акинфій Назарычъ, дѣлая шагъ къ ней.

— Не подходи, Акинфій Назарычъ...—остановила она.—Што тебѣ нужно отъ меня?

Кожинъ остановился, посмотрѣлъ на Ѳеню и проговорилъ:

— Одно я хотѣлъ спросить тебя, Ѳедосья Родіоновна: своей ты волей попала сюда или неволей?

— Попала неволей, а теперь живу своей волей, Акинфій Назарычъ... Спасибо за любовь да за ласку, а въ Тайболу я не поѣду, ежели...

Она остановилась, перевела духъ и тихо прибавила:

— Хочу, штобы все по нашей вѣрѣ было...

Эти слова точно пошатнули Кожина. Онъ сѣлъ на лавку, закрылъ лицо руками и заплакалъ. Петръ Васильичъ крякнулъ, баушка Лукерья стояла въ уголкѣ, опустивъ глаза. Ѳеня вся побѣлѣла, но не сдѣлала шагу. Въ избѣ раздавались только глухія рыданія Кожина. Еще бы одно мгновеніе и она бросилась бы къ нему, но Кожинъ въ этотъ моментъ поднялся съ лавки, выпрямился и проговорилъ:

— Богъ тебѣ судья, Ѳедосья Родіоновна... Не такъ у меня было удумано, не такъ было слажено, душу ты во мнѣ повернула.

— Зачѣмъ ты ее сомущаешь? — остановила его баушка Лукерья.—Она про свою голову промышляетъ...

Кожинъ посмотрѣлъ на старуху, ударилъ себя кулакомъ въ грудь и какъ-то простоналъ:

— Баушка, не мнѣ тебя учить, а только большой отвѣтъ ты принимаешь на себя...

— Ладно, я еще сама съ тобой поговорю... Ѳеня, ступай къ себѣ.

Разговоръ оказался короче воробьинаго носа: баушка Лукерья говорила свое, Кожинъ свое. Онъ не стыдился своихъ слезъ и только смотрѣлъ на старуху такими страшными глазами.

— Не о чемъ, видно, намъ разговаривать-то,— рѣшилъ онъ, прощаясь.—Пропадай, голова, ни за грошъ, ни за копеечку.

Когда Кожинъ вышелъ изъ избы, баушка Лукерья тяжело вздохнула и проговорила:

— Хорошъ мужикъ, кабы не старуха Маремьяна.

IV.

Кишкинъ не терялъ времени даромъ и дѣлалъ два дѣла за-разъ. Во-первыхъ, онъ закончилъ громадный доносъ на большое казенное управленіе Балчуговскихъ промысловъ, надъ которымъ работалъ года три самымъ тщательнымъ образомъ. Нужно было собрать фактическій матеріалъ, обставить его цыфровыми данными, иллюстрировать свидѣтельскими показаніями и вывести заключенія,— все это онъ исполнилъ съ добросовѣстностью озлобленнаго человѣка. Во-вторыхъ, нужно было подготовить все къ заявкѣ пріиска въ Кедровской дачѣ, а это требовало и времени, и умѣнья.

Когда-то у Кишкина былъ свой домъ и полное хозяйство, а теперь ему приходилось жаться на квартирѣ, въ одной каморкѣ, заваленной всевозможнымъ хламомъ. Стяжатель по натурѣ, Кишкинъ тащилъ въ свою каморку рѣшительно все, что могъ достать тѣмъ или другимъ путемъ: старую газету, которую выпрашивалъ почитать у кого-нибудь изъ компанейскихъ служащихъ, желѣзный крюкъ, найденный на дорогѣ, образцы разныхъ горныхъ породъ и т. д. Въ одномъ уголкѣ стоялъ завѣтный деревянный шкафикъ, занятый матеріалами для доноса. По ночамъ долго горѣла жестяная лампочка въ этой каморкѣ, и Кишкинъ строчилъ свою роковую повѣсть о „казенномъ времени“. Въ этомъ доносѣ сосредоточивалась вся его жизнь. Онъ переписывалъ его нѣ-

сколько мѣсяцевъ, выводя старческимъ убористымъ почеркомъ одну строку за другой, какъ паукъ ткетъ свою паутину. Когда работа была кончена, Кишкинъ набожно перекрестился: онъ вылилъ всю свою душу, все, чѣмъ наболѣлъ въ дни своего захуданія.

— Всѣмъ сестрамъ по серьгамъ!—говорилъ онъ вслухъ и ехидно хихикалъ, закрывая ротъ рукой.—Что такое теперь Кишкинъ: ничтожность! пыль!.. послѣдній человѣкъ!.. Хи-хи-хи!.. И вдругъ вотъ этотъ самый Кишкинъ всѣхъ и достанетъ... всѣхъ!.. Э, голубчики, будетъ: пожили, порадовались—надо и честь знать. Поди, думаютъ, что все ужъ умерло и быльемъ поросло, а тутъ вдругъ сюрпризецъ... Пожалуйте на цугундеръ, имя рекъ! Хи-хи... Вы въ коляскахъ катаетесь, а Кишкинъ пѣшкомъ ходитъ. Вы въ палатахъ поживаете, а Кишкинъ въ норѣ гніетъ... Погодите, всѣхъ выведу на свѣжую воду! Будете помнить Кишкина.

Цѣлую ночь не спалъ старый ябедникъ и все ходилъ по комнатѣ, разговаривая вслухъ и хихикая, такъ что вдова-хозяйка рѣшила про себя, что жилецъ свихнулся.

Захвативъ свое произведеніе, свернутое трубочкой, Кишкинъ пѣшкомъ отправился въ городъ, до котораго отъ Балчуговскаго завода считалось около двѣнадцати верстъ. Дорога проходила черезъ Тайболу. Кишкинъ шелъ такой радостный, точно помолодѣлъ лѣтъ на двадцать, и все улыбался, прижимая рукопись къ сердцу. Вотъ она, голубушка... Тепленькое дѣльце заварится. Дорого бы дали вотъ за эту бумажку тѣ самые, которые

сейчасъ не подозрѣваютъ даже о его существованіи. „Какой Кишкинъ?..“ Х-ха, вотъ вамъ и какой: добренькій, старенькій, бѣдненькій... Пѣшечкомъ идетъ Кишкинъ и несетъ вамъ гостинецъ.

Въ городѣ Кишкинъ зналъ всѣхъ и поэтому прямо отправился въ квартиру прокурора. Его заставили подождать въ передней. Прокуроръ, пожилой важный господинъ, отнесся къ нему совсѣмъ равнодушно и, сунувъ жалобу на письменный столъ, сказалъ, что разсмотритъ ее.

— Ничего, я подожду, ваше высокоблагородіе,— смиренно отвѣчалъ Кишкинъ, предвкушая въ недалекомъ будущемъ иныя отношенія вотъ со стороны этого важнаго чина.—Маленькій человѣкъ... Подожду.

Отъ прокурора Кишкинъ прошелъ въ горное правленіе, въ такъ называемый „золотой столъ“, за которымъ въ свое время вершились большія дѣла. Когда-то завѣтной мечтой Кишкина было попасть въ это обѣтованное мѣсто, но такъ и не удалось: „золотой столъ“ находился въ вѣдѣніи одной горной фамиліи вотъ уже пятьдесятъ лѣтъ, и чужому человѣку здѣсь дѣлать было нечего. А тепленькое мѣстечко... Въ горныхъ дѣлахъ царила фамилія Каблуковыхъ: старшій братъ, Илья Ѳедотычъ, служилъ секретаремъ при канцеляріи горнаго начальника, а младшій, Андрей Ѳедотычъ столоначальникомъ „золотого стола“. Около нихъ ютилась безчисленная родня. Собственно братья Каблуковы были близнецы, и разница въ рожденіи заключалась всего въ нѣсколькихъ часахъ. Въ

нихъ была вся сила, а горные инженеры и разное начальство служили только для декораціи.

— Ну что, Андронъ Евстратычъ?—спрашивалъ младшій Каблуковъ, съ которымъ въ богатое время Кишкинъ былъ даже въ дружбѣ и чуть не женился на его родной сестрѣ, конечно, съ тайной цѣлью хотя этимъ путемъ проникнуть въ роковой кругъ.—Каково прыгаешь?

— Да вотъ думаю золотишко искать въ Кедровской дачѣ.

— Развѣ лишнія деньги есть?

— На мои сиротскія слезы, можетъ, Богъ и пошлетъ счастья...

— Что же, давай Богъ нашему теляти волка поймати. Подавай заявку, а отводъ сейчасъ будетъ готовъ. По старой дружбѣ все устроимъ...

— Знаю я вашу дружбу...

Андрей Ѳедотычъ былъ добродушный и веселый человѣкъ и любилъ пошутить, вызывая скрытую зависть Кишкина: хорошо шутить, когда въ банкѣ тысячъ пятьдесятъ лежитъ. Старшій братъ, Илья Ѳедотычъ, наоборотъ, былъ очень мрачный субъектъ и не любилъ болтать напрасно. Онъ являлся главной силой, какъ старый дѣлецъ, знавшій всѣ ходы и выходы сложнаго горнаго хозяйства. Кишкина онъ принималъ всегда сухо, но на этотъ разъ отвелъ его въ сосѣднюю комнату и строго спросилъ:

— Ты это что, сбѣсился, Андрошка?

— А што?

— А вотъ это самое... Думаешь, мы и не зна-

емъ? Все знаемъ, не безпокойся. Кляузы-то свои пора тебѣ оставить.

— Не поглянулось?..

— Да ты чему радуешься-то, Андрошка? Знаешь поговорку: взвыла собака на свою голову. Такъ и твое дѣло. Ты еще не успѣлъ подумать, а я ужъ все знаю. Пустой ты человѣкъ, и больше ничего.

Кишкинъ смотрѣлъ на Илью Ѳедотыча и только ухмылялся: вотъ этотъ впередъ всѣхъ догадался... Его не проведешь.

— Вотъ што, Илья Ѳедотычъ,—заговорилъ Кишкинъ дѣловымъ тономъ,—теперь ужъ поздно намъ съ тобой разговаривать. Сейчасъ только отъ прокурора...

— Ахъ, песъ!..

— Вотъ тебѣ и песъ... Такой ужъ уродился. Раньше-то я за вами ходилъ, а теперь ужъ вы за мной походите. И походите, даже очень походите... А пока што, думаю заявочку въ Кедровской дачѣ сдѣлать.

— Не дадимъ, — коротко отрѣзалъ Илья Ѳедотычъ.

— Нѣтъ, дашь... — такъ же коротко отвѣтилъ Кишкинъ и ухмыльнулся. — Въ нѣкоторое время еще могу пригодиться. Не пошелъ бы я къ тебѣ, кабы не моя сила. Давно бы мнѣ такъ-то догадаться...

Илья Ѳедотычъ съ изумленьемъ посмотрѣлъ на Кишкина: передъ нимъ, дѣйствительно, былъ совсѣмъ другой человѣкъ. Великій горный дѣлецъ подумалъ, пожалъ плечами и рѣшилъ:

— Ну чортъ съ тобой, дѣлай заявку...

Эта ничтожная по своимъ размѣрамъ побѣда для Кишкина являлась предвѣстникомъ его возрожденія: самъ Илья Ѳедотычъ трухнулъ передъ нимъ, а это что-нибудь значитъ.

Вернувшись въ Балчуговскій заводъ, Кишкинъ принялся за дѣло.

Конецъ апрѣля выдался теплый и ясный. Компанейскія работы уже шли полнымъ ходомъ, главнымъ образомъ за Фотьянкой, гдѣ по обоимъ берегамъ Балчуговки залегали богатѣйшія розсыпи. Въ виду наступленія перваго мая поисковыя партіи сосредоточивались въ Фотьянкѣ, потому что отсюда до грани Кедровской дачи было рукой подать, т.-е. всего верстъ двѣнадцать. Первымъ на Фотьянку явился знаменитый скупщикъ Ястребовъ и занялъ квартиру въ лучшемъ домѣ, именно у Петра Васильича. Баушка Лукерья не хотѣла его пускать изъ страха передъ Родіономъ Потапычемъ, но Петръ Васильичъ, жадный до денегъ, такъ взъѣлся на мать, что старуха не устояла.

— Што, мы развѣ невольники какіе для твоего Родіона-то Потапыча, — выкрикивалъ Петръ Васильичъ.—Ему хорошо, такъ и другимъ тоже надо... Какъ собака лежитъ на сѣнѣ: самъ не ѣстъ и другимъ не даетъ. Продался компаніи и знать ничего не хочетъ... Захудалъ народъ въ конецъ, взять хоть нашу Фотьянку, а кто цѣны-то ставитъ? У него лишняго гроша никто еще не заработалъ...

— По кабакамъ бы меньше пропивали!

— Кабакъ тутъ не причина, маменька... Подшибся народъ въ конецъ, вотъ изъ послѣднихъ и компанятся по кабакамъ. Все одно за компаніей-то

пропадомъ пропадать... И наше дѣло взять: какая намъ такая печаль до Родіона Потапыча, когда съ Ястребова ты въ мѣсяцъ цалковыхъ пятнадцать получишь. Такого случая не скоро дождешься... Въ другой разъ Кедровскую дачу не будемъ открывать.

Старуха сдалась, потому что на Фотьянкѣ деньги стоили дорого. Ястребовъ, дѣйствительно, далъ пятнадцать рублей въ мѣсяцъ да еще сказалъ, что будетъ жить только наѣздомъ. Пріѣхалъ Ястребовъ на тройкѣ въ своемъ тарантасѣ и произвелъ на всю Фотьянку большое впечатлѣніе, точно этимъ пріѣздомъ открывалась въ исторіи кондоваго варнацкаго гнѣзда новая эра. Держалъ себя Ястребовъ настоящимъ бариномъ и сыпалъ деньги направо и налѣво.

— Ну, баушка, будемъ жить-поживать да добра наживать,—весело говорилъ онъ, располагая свои пожитки въ чистой горницѣ.

— А я тебѣ вотъ што скажу, Никита Яковличъ,— отвѣтила старуха:—жить живи себѣ на здоровье, а только боюсь я...

— Чего испугалась-то прежде времени, баушка?

— Да какъ же, начнешь золото скупать... И насъ засудятъ.

Ястребовъ засмѣялся.

— Ну, этого у меня заведенья не полагается, баушка,—успокоилъ онъ,—у меня одинъ законъ для всѣхъ: кто изъ рабочихъ только носъ покажетъ съ краденымъ золотомъ—шабашъ. Штобы и духу его не было... У меня строго, баушка.

— То-то, миленькій, смотри...

— Въ оба глядимъ, баушка, гдѣ плохо лежитъ,— пошутилъ Ястребовъ и даже похлопалъ старуху по плечу. — Не бойся, а только живи веселѣе,— скорѣе повѣсятъ...

— Съ тобой, съ разговоромъ, и то повѣсятъ...

Веселый характеръ опаснаго жильца понравился старухѣ, и она махнула на Родіона Потапыча.

Появленіемъ Ястребова въ домѣ Петра Васильича больше всѣхъ былъ огорченъ Кишкинъ. Онъ разсчитывалъ устроить въ избѣ главную резиденцію, а теперь пришлось занять просто баню, потому что въ задней избѣ жила сама баушка Лукерья съ Ѳеней.

— Ну, это не фасонъ, Петръ Васильичъ,—ворчалъ Кишкинъ. — Ты што раньше-то говорилъ: „У меня въ избѣ живите, какъ дома“, „у меня вольготно“, а самъ пустилъ Ястребова.

— Ахъ, Андронъ Евстратычъ, не я пустилъ, а мамынька,—отпирался Петръ Васильичъ самымъ безсовѣстнымъ образомъ.

— Не ври ужъ въ глаза-то, а то еще какъ разъ подавишься...

Такимъ образомъ, баня сдѣлалась главнымъ сборнымъ пунктомъ будущихъ милліонеровъ, и сюда же натащили разную пріисковую снасть, необходимую для развѣдки: ручной вашгердтъ, насосъ, скребки, лопаты, койлы, пробный ковшъ и т. д. Кишкинъ отобралъ заблаговременно паспорты у своей партіи и предъявилъ въ волость, что требовалось по закону. Всѣ остальные слѣпо повиновались Кишкину, какъ главному коноводу.

Канунъ перваго мая для Фотьянки прошелъ въ

какомъ-то чаду. Вся деревня поднялась на ноги съ ранняго утра, а изъ Балчуговскаго завода такъ и подваливала одна партія за другой. Золотопромышленники ѣхали отдѣльно въ своихъ экипажахъ парами. Около обѣда вокругъ кабака Фролки выросъ цѣлый таборъ. Кишкинъ толкался на народѣ и прислушивался, о чемъ галдятъ.

— Это твоя работа, анаѳема!..— корилъ Кишкинъ Мыльникова, котораго брали на разрывъ.— Вотъ сколько народу обовралъ...

— Былъ такой грѣхъ, Андронъ Евстратычъ, въ городу деньги легкія... Пусть потѣшится.

Къ обѣду пригналъ самъ Ермошка, повернулся въ кабакѣ, а потомъ отправился къ Ястребову и долго о чемъ-то толковалъ съ нимъ, плотно притворивъ дверь. Къ вечеру вся Фотьянка сразу опустѣла, потому что партій тридцать выступили по единственной дорогѣ въ Кедровскую дачу, которая изъ Фотьянки вела на Мелидинскій кордонъ. Это былъ настоящій походъ, точно двигалась какая-нибудь армія. Золотопромышленники ѣхали верхами, потому что въ весеннюю распутицу на колесахъ здѣсь не было хода, а рабочіе шли пѣшкомъ. Партія Кишкина выступила одной изъ послѣдней. Задержалъ Мыльниковъ, пропавшій въ самую критическую минуту,—его едва разыскали. Онъ, вообще, что-то хитрилъ.

— Ты у меня, оборотень, смотри!..—пригрозилъ Кишкинъ, вошедшій въ роль заправилы.—Въ лѣсу-то одинъ Никола богъ: расчетъ мелкими дадимъ.

Партія составлена была изъ слѣдующихъ лицъ: Кишкинъ, Петръ Васильичъ, Мыльниковъ, Яша,

Мина Клейменый, Турка и Матюшка. Настоящимъ работникомъ былъ одинъ Матюшка да развѣ Петръ Васильичъ съ Мыльниковымъ, а остальные больше для счета. Впрочемъ, прiисковая работа требовала большой сноровки, и старики могли отвѣтить за молодыхъ. Собственно вожакомъ служилъ Мина Клейменый, а другiе только провѣряли его. Въ хвостѣ партiи плелась Окся, взятая по общему соглашенiю для счастья. Это была единственная баба на всѣ поисковыя партiи, что замѣтно шокировало настоящихъ мужиковъ, какъ Матюшка, дѣлавшiй видъ, что совсѣмъ не замѣчаетъ Окси.

— Ты, дѣдушка, не ошибись,—упрашивалъ Кишкинъ.—Тоже не молодое твое мѣсто... Можетъ и запамятовалъ мѣсто-то?

— Чего его запамятовать-то?—обижался Мина.—Какъ перейдемъ Ледянку, сейчасъ тебѣ вправо выпадетъ дорога на Мелидинскiй кордонъ, а мы повернемъ влѣво, къ Каленой горѣ...

— Да вѣдь ты про Миляевъ мысъ сказывалъ-то?

— Ахъ, какой же ты, братецъ мой, непонятный: ну, тутъ тебѣ и есть Миляевъ мысъ, потому какъ Мутяшка упала въ Меледу подъ самой Каленой горой.

— Смотри, старый, не ошибись...

Кишкинъ ужасно волновался и подозрительно оглядывалъ каждаго встрѣчнаго.

— А гдѣ же Ястребовъ-то?—спохватился онъ.—Ахъ, батюшки... Какъ разъ онъ нагонитъ насъ да по нашимъ слѣдамъ и пойдетъ.

— Чай остался пить съ Ермошкой...—объяснилъ уклончиво Петръ Васильичъ.

Кедровская дача занимала громадную площадь въ четыреста тысячъ десятинъ и изъ одного угла въ другой была перерѣзана рѣкой Меледой, впадавшей въ Балчуговку верстахъ въ двадцати ниже Фотьянки. Вся дача состояла изъ непроходимыхъ болотъ и дремучаго лѣса. Единственнымъ живымъ пунктомъ былъ кордонъ на Меледѣ, гдѣ зиму и лѣто жилъ лѣсникъ. Въ Меледу впадалъ цѣлый рядъ болотныхъ рѣчекъ, какъ Мутяшка, Генералка, Ледянка, Свистунья и Суходойка. Застоявшаяся болотная вода этими рѣчонками выливалась въ Меледу. Мѣста были все глухія, куда выѣзжали только осенью „шишковать", т.-е. собирать шишки по кедровникамъ. Дорога въ верхотинахъ Суходойки и Ледянки была еще въ казенное время правлена и получила названіе Маяковой слани,—это была сейчасъ самая скверная часть пути, потому что мостовины давно сгнили, и приходилось людямъ и лошадямъ брести по вязкой грязи, въ которой плавали гнилыя мостовины. Про Маякову слань разсказывали нехорошія вещи: блазнило здѣсь и глаза отводило, если кто оробѣетъ. Передъ Маяковой сланью партіи дѣлали первую передышку, а часть отправилась на заявки внизъ по Суходойкѣ.

— Это твоя работа...—шутилъ Кишкинъ, показывая Мыльникову на пробитую по берегу Суходойки сакму.—Спасибо тебѣ скажутъ.

На Маяковой слани партія Кишкина „затемнала", и пришлось брести въ темнотѣ по страшному мѣсту. Особенно доставалось несчастной Оксѣ, которая постоянно спотыкалась въ темнотѣ и нѣ-

сколько разъ чуть не растянулась въ грязь. Мыльниковъ брелъ по грязи за ней и въ критическихъ мѣстахъ толкалъ ее въ спину чернемъ лопаты.

— Ну, ты, скотинка Богова...—ворчалъ онъ.— Вѣдь уродится же этакая тварина!

У конца Маяковой слани, гдѣ шла повертка на кордонъ, партія остановилась для совѣщанія. Отсюда къ Каленой горѣ приходилось итти прямо лѣсомъ.

— Мина, смотри, не ошибись! — кричали голоса.—Кабы на Малиновку не изгадать...

Рѣка Малиновка была правымъ притокомъ Мутяшки, о ней тоже ходили нехорошіе слухи. Когда партія двинулась въ лѣсъ, произошло нѣкоторое обстоятельство, невольно смутившее всѣхъ.

— Тятька, кто-то на вершной проѣхалъ,—заявила Окся, показывая на повертку къ кордону.— Остановился, поглядѣлъ и поѣхалъ...

— Да куда поѣхалъ-то, чучело гороховое?

— А за вами. .

Кишкину тоже показалось, что кто-то „слѣдитъ“ за партіей на извѣстномъ разстояніи.

V.

Ночь на первое мая была единственной въ лѣтописяхъ золотопромышленности: Кедровскую дачу брали приступомъ, точно кладъ. Всѣхъ партій по теченію Меледы и ея притоковъ сошлось больше сотни, и стономъ стонъ стоялъ. Ровно въ двѣнадцать часовъ начали копать заявочныя ямы и ста-

вить столбы. Главная работа загорѣлась подъ Каленой горой, гдѣ сошлось нѣсколько поисковыхъ партій, кромѣ партій Кишкина; очутился здѣсь и Ястребовъ, и кабатчикъ Ермошка, и мѣщанинъ Затыкинъ, и еще какіе-то никому невѣдомые люди, нагнавшіе изъ города. Всѣмъ хотѣлось захватить получше мѣстечко на Мутяшкѣ, о которой Мыльниковъ распустилъ самые невѣроятные слухи. На Миляевомъ мысу, гдѣ Кишкинъ предполагалъ сдѣлать заявку, произошла настоящая битва. Когда Кишкинъ пришелъ съ партіей на мѣсто, то на Миляевомъ мысу уже стояли заявочные столбы мѣщанина Затыкина, успѣвшаго предупредить всѣхъ остальныхъ.

— Руби столбы, ребята!—командовалъ Кишкинъ, размахивая руками.—До двѣнадцати часовъ поставлены... Не по закону!

— Врешь, у тебя часы переведены! — кричалъ Затыкинъ, показывая свои серебряные часы.—Не тронь мои столбы...

Поднялся шумъ и гвалтъ. Матюшка безъ разговоровъ выворотилъ затыкинскій столбъ и поставилъ на его мѣсто свой. Рабочіе Затыкина бросились на Матюшку. Произошла настоящая свалка, при чемъ громче всѣхъ раздавался голосъ Мыльникова:

— Батюшки, убили!.. Родимые, пустите душу на покаяніе...

Темнота увеличивала суматоху. Свои не узнавали своихъ, а лѣсная тишь огласилась неистовыми криками, руганью и ревомъ. Въ заключеніе появился Ястребовъ, пріѣхавшій верхомъ.

—\Что за драка?— крикнулъ онъ.—Убирайтесь вонъ съ моего мѣста, дураки...

— Давно ли оно твоимъ-то стало? — огрызился Кишкинъ охрипшимъ отъ крика и ругани голосомъ.—Проваливай въ палевомъ, проходи въ голубомъ...

Ястребовъ замахнулся на Кишкина нагайкой, но во-время остановился.

— Ну, ударь?!..—ревѣлъ Кишкинъ, наступая:— Ну?.. Не испугались... Да. Ударь!.. Не смѣешь при свидѣтеляхъ-то безобразіе свое показать...

— Не хочу!—отрѣзалъ Ястребовъ.—Вы въ моей заявкѣ столбы-то ставите... Вотъ я васъ и уважу.

— Н-но-о?

— Да ужъ видно такъ... Я зачертилъ Миляевъ мысъ отъ самой Каленой горы: какъ разъ пять верстъ вышло, какъ по закону для отвода назначено.

— Андронъ Евстратычъ, надо полагать Ермошка бросился съ заявкой на Фотьянку, а Ястребовъ для отвода глазъ смутьянитъ, — шопотомъ сообщилъ Мыльниковъ.—Вѣрно говорю... Должонъ онъ быть здѣсь, а его нѣтъ.

Кишкинъ остолбенѣлъ: конечно, Ястребовъ перехитрилъ и заслалъ Ермошку впередъ, чтобы записать свою заявку раньше всѣхъ. Вотъ такъ дали маху, нечего сказать...

— Вотъ што, Мыльниковъ, валяй и ты въ Фотьянку,—шепнулъ Кишкинъ,—можетъ скорѣе придешь... Да не заплутайся на Маяковой слани, гдѣ повертка на кордонъ.

— Ужъ и не знаю, какъ мнѣ быть... Боязно одному-то. Кабы Матюшка...

— Я вотъ покажу тебѣ Матюшку, оборотню!— пригрозилъ Кишкинъ.—Лупи во всѣ лопатки...

— А какъ же, напримѣръ, Окся?

— Ну тебя къ чорту вмѣстѣ и съ твоей Оксей...

Когда взошло солнце, оно освѣтило собравшіяся на Миляевомъ мысу партіи. Онѣ сбились кучками, каждая у своего огонька. Всѣ устали послѣ ночной схватки. Рабочіе улеглись спать, а бодрствовали одни хозяева, которымъ было не до сна. Они зорко слѣдили другъ за другомъ, какъ слетѣвшіяся на добычу хищныя птицы. Кишкинъ сидѣлъ у своего огня и вполголоса бесѣдовалъ съ Миной Клейменымъ.

— Такъ гдѣ казенные-то ширпы были?—допытывалъ онъ.

— А вонъ туда, къ самой горѣ...

— И старецъ тамъ лежалъ подъ елочкой?..

— Тамъ... Теперь мѣста-то и не узнаешь. Ужо казенные ширпы разыщемъ...

— Ну, а какъ нащетъ свиньи полагаешь?—уже совсѣмъ шопотомъ спрашивалъ Кишкинъ.—Гдѣ ее старецъ-то обозначилъ?..

— Да прямо онъ ничего не сказалъ, а только этакъ махнулъ рукою на Мутяшку...

— На Мутяшку?.. И черезъ дѣвицу, говоритъ, ищите?

— Это онъ вообще нащетъ золота...

— Значитъ и о свиньѣ тоже, потому какъ она золотая?..

— Можетъ статься... Болотинка тутъ есть, за

Каленой горой, такъ не тамъ ли это самое дѣло вышло.

— Да, вѣдь, ты говорилъ, что мужикъ въ лѣсу закопалъ свинью-то?

— Разѣ говорилъ? Ну, значитъ, въ лѣсу...

Окся еще спала, свернувшись клубочкомъ у огонька. Кишкинъ едва ее разбудилъ.

— Вставай ты, барышня... Возьму вотъ орясину да какъ примусь тебя обихаживать.

— Отстань!.. — ворчала Окся, толкая Кишкина ногой.—Умереть не дадутъ...

Кишкину стоило невѣроятныхъ усилій поднять на ноги эту невѣжливую дѣвицу. Окся рѣшительно ничего не понимала и глядѣла на своего мучителя совсѣмъ дикими глазами. Кишкинъ схватилъ ее за руку и потащилъ за собой. Мина Клейменый пошелъ за ними. Никто изъ партіи не слыхалъ, какъ они ушли, за исключеніемъ Петра Васильича, который притворился спящимъ. Онъ вообще держалъ себя какъ-то странно и во время ночной схватки даже голосу не подалъ, точно воды въ ротъ набралъ. Фотьянскій дипломатъ убѣдился въ одномъ, что изъ ихъ предпріятія рѣшительно ничего не выйдетъ. Съ другой стороны, онъ не вѣрилъ ни одному слову Кишкина, и когда тотъ увелъ Оксю, потихоньку отправился за ними, чтобы выслѣдить все дѣло.

— Одинъ, видно, заполучить свинью захотѣлъ,— возмущался Петръ Васильичъ, продираясь сквозь чащу.—То-то прохирь: хлѣбцемъ вмѣстѣ, а табачкомъ врозь... Нѣтъ, погоди, братъ, не на таковскихъ напалъ.

Съ другой стороны его смѣшило, какъ Кишкинъ тащилъ Оксю по лѣсу, точно свинью за ухо. А Мина Клейменый привелъ Кишкина сначала къ обвалившимся и заросшимъ лѣсомъ казеннымъ развѣдкамъ, потомъ показалъ мѣсто, гдѣ лежалъ подъ елкой старецъ, и наконецъ повелъ къ Мутяшкѣ.

— Ну, народецъ!..—ругался Петръ Васильичъ.— Все одинъ сграбаздать хочетъ...

Ему приходилось дѣлать большіе обходы, чтобы не попасть на глаза Шишкѣ, а Мина Клейменый велъ все впередъ и впередъ своимъ ровнымъ старческимъ шагомъ. Петръ Васильичъ быстро утомился и даже вспотѣлъ. Наконецъ, Мина остановился на краю круглаго болотца, которое выливалось ржавымъ ручейкомъ въ Мутяшку.

— Ну, ищи!..—толкалъ Кишкинъ ничего непонимавшую Оксю.—Ну, чего уперлась-то, какъ пень?..

— Да я тебѣ разѣ собака далась?!—огрызнулась Окся, закрывая широкій ротъ рукой.—Ищи самъ...

— Ахъ, дура точеная... Добромъ тебѣ говорятъ!— наступалъ Кишкинъ, размахивая короткими ручками.—А то у меня, смотри, разговоръ короткій будетъ...

Окся неожиданно захохотала прямо въ лицо Кишкину, а когда онъ замахнулся на нее, такъ толкнула его въ грудь, что старикъ кубаремъ полетѣлъ на траву. Петръ Васильичъ зажалъ ротъ, чтобы не расхохотаться во все горло, но въ этотъ моментъ за его спиной раздался громкій смѣхъ. Онъ оглянулся и остолбенѣлъ; за нимъ стоялъ

Ястребовъ и хохоталъ, схватившись руками за животъ.

— Ахъ, дураки, дураки!..—заливался Ястребовъ, качая головой.—То-то дураки-то... Другъ друга обманываютъ и другъ друга ловятъ. Ну, не дураки ли вы послѣ этого?..

— А ты проходи своей дорогой, Никита Яковличъ, — отвѣтилъ Петръ Васильичъ съ важностью:—дураки мы про себя, а ты, умный, не ввязывайся.

— Боишься, что вашу свинью найду?

— Это ужъ не твоего ума дѣло...

Хохотъ Ястребова заставилъ Кишкина опять схватить Оксю за руку и утащить ее въ чащу. Мина Клейменый стоялъ на одномъ мѣстѣ и крестился.

— Съ нами крестная сила!— шепталъ онъ, закрывая глаза.

Когда они сошлись опять вмѣстѣ, Кишкинъ шопотомъ спросилъ старика:

— Слышалъ? Какъ *онъ* захохочетъ...

— Не поглянулось *ему*... Не даромъ старецъ-то сказывалъ, што зарокъ положенъ на золото. Вотъ *онъ* и хохочетъ...

— А у меня инда морозъ по кожѣ...

На мѣстѣ дѣйствія оставались Ястребовъ и Петръ Васильичъ.

— Все я знаю, други мои милые,—заговорилъ Ястребовъ, хлопая Петра Васильича по плечу.— Бабьи бредни и запуки, а вы и вѣрите... Я еще пораньше про свинью-то слышалъ, посмѣялся— только и всего. Не положилъ—не ищи... А у тебя,

Петръ Васильичъ, свинья-то золотая дома будетъ, ежели съ умомъ... Напрасно ты ввязался въ эту свою канпанію: ничего не выйдетъ, окромя того, што время убьете да прохарчитесь...

Петръ Васильичъ и самъ думалъ объ этомъ же, почесывая затылокъ, хотя признаться чужому человѣку и было стыдно.

— Ну, а какая дома-то свинья, Никита Яковличъ?

— А такая... Ты отъ своей-то канпаніи не отбивайся, Петръ Васильичъ, это первое дѣло, и будто мы съ тобой вздоримъ—это другое. Понялъ теперь?..

— Какъ будто и понялъ, какъ будто и нѣтъ...

— Ладно, ладно... Не валяй дурака. Развѣ съ другимъ бы я сталъ разговаривать объ этакихъ дѣлахъ.

Эта исторія съ Оксей сдѣлалась злобой промысловаго дня. Кто ее распустилъ—такъ и осталось неизвѣстнымъ, но объ Оксѣ говорили на всѣ лады и на Миляевскомъ мысу и на другихъ развѣдкахъ. Отчаянные промысловые рабочіе рады были случаю и складывали самые невозможные варіанты.

— Онъ, значитъ, Кишкинъ, на веревку привязалъ ее, Оксюху-то, да и волокетъ, какъ овцу... А Мина Клейменый идетъ за ней да сзади ее подталкиваетъ. „Ищи, слышь, Оксюха“... То-то идолы!.. Ну, подвели ее къ болотинѣ, а Шишка и скомандовалъ: „Ползи, Оксюха“! То-то колдуны проклятые! Оксюха, извѣстно, дура: поползла, Шишка веревку держитъ, а Мина заговоръ наговариваетъ... И нашла бы, вѣдь, Оксюха-то, кабы *онъ* не захо-

хоталъ. Учуяла Оксюха золотую свинью было совсѣмъ, а *онъ* какъ грянетъ, какъ захохочетъ...

Особенно приставалъ Петръ Васильичъ, обиженный тѣмъ, что Кишкинъ не взялъ его на поискъ свиньи.

— Ахъ, и не хорошо, Андронъ Евстратычъ! Все вмѣстѣ были, а какъ дошло дѣло до богачества— одинъ ты и остался. Ухватилъ бы свинью, только тебя и видѣли. Вотъ какая твоя деликатность, братецъ ты мой...

— Отстань, смола!—огрызился Кишкинъ.—Што пасть-то растворилъ шире баннаго окна?.. Найдешь съ вами, дураками.

Рабочіе хотя и потѣшались надъ Оксей, но въ душѣ всѣ глубоко вѣрили въ существованіе золотой свиньи, и легенда о ней разрасталась все шире. Развѣ старецъ-то сталъ бы зря говорить?.. Въ казенное время всячина бывала, хотя нашедшій золотую свинью мужикъ и оказалъ себя круглымъ дуракомъ.

Центромъ заявочныхъ работъ служилъ Миляевъ мысъ, на которомъ шла горячая работа, несмотря на возникшія недоразумѣнія. На Миляевскомъ же мысу „утвердились“ и тѣ партіи, которыя дѣлали развѣдки по Мутяшкѣ съ ея притоками—Худенькой и Малиновкой, а также по Меледѣ и Генералкѣ. Очень ужъ угодное мѣсто издалось, не даромъ Миляевымъ мысомъ называется. Каленая гора въ виду зеленой мохнатой шапкой стоитъ, а отъ нея прошелъ лѣсистый увалъ до самой Меледы, гдѣ въ нее пала Мутяшка. Въ нѣсколько дней по мысу выросли десятки старательскихъ балагановъ,

кое-какъ налаженныхъ изъ бересты, еловой коры и хвои. Этотъ сборный пунктъ по вечерамъ представлялъ необыкновенно пеструю живую картину,— вездѣ пылали яркіе костры и шелъ немолчный людской гомонъ. Въ лѣсу стучалъ топоръ, гдѣ-то тренькала балалайка, а ухари-рабочіе распѣвали пѣсни. Враждебно встрѣтившіяся партіи давно побратались: пусть хозяева грызутся, а рабочимъ дѣлить нечего. Если что раздѣляло рабочую массу, такъ вынесенная еще изъ домовъ рознь. Варнаки съ Фотьянки и балчуговцы изъ Нагорной чувствовали себя настоящими хозяевами пріисковаго дѣла, на которомъ родились и выросли; рядомъ съ ними строгали и швали изъ Низовъ являлись жалкими отбросами, потому что лопаты и кайла въ руки не умѣли взять по-настоящему, да и земляная тяжелая работа была имъ не подъ силу. Варнаки относились къ нимъ съ подобающимъ презрѣніемъ и вездѣ давали чувствовать свое рабочее превосходство. Изъ-за этого происходили постоянныя стычки, перекоры, высмѣхи и безконечная ругань.

— Строгали и ходятъ-то, такъ ровно на костыляхъ,—смѣялся Матюшка, лучшій рабочій на Миляевомъ мысу.—Въ богадѣльню имъ такъ въ самую бы пору!.. Туда же, на золото польстились. Шиломъ имъ землю ковырять да стамезкой...

Въ партіи Кишкина находился и Яша Малый, но онъ и здѣсь былъ такимъ же безотвѣтнымъ, какъ у себя дома. Простые рабочіе его въ грошъ не ставили, а Кишкинъ относился свысока. Матюшка дружилъ только съ старымъ Туркой да со

своими фотьянскими. У нихъ были и свои разговоры. Соберутся около огонька своей артелькой и толкуютъ.

— Обыщемъ золото, а ухватятъ его хозяева,— ропталъ Матюшка, уже затронутый жаждой легкой наживы.—На нихъ не наробишься... Главная причина во всемъ—деньги.

Разъ вечеромъ, когда Матюшка сидѣлъ такимъ образомъ у огонька и разговаривалъ на излюбленную тему о деньгахъ, случилось маленькое обстоятельство, смутившее всю компанію, а Матюшку въ особенности.

— Эхъ, кабы раздобыть гдѣ ни на есть рублей съ триста!—громко говорилъ Матюшка, увлекаясь несбыточной мечтой.—Сейчасъ бы самъ заявку сдѣлалъ и на себя бы робить сталъ... Не велики деньги, а такъ и помрешь безъ нихъ.

— Ужъ это ты вѣрно...—уныло соглашался Турка, сидя на корточкахъ предъ огнемъ.—Люди родомъ, а деньги водомъ. Кому счастки... Вонъ Ермошку взять, да ему наплевать на триста-то рублей!

Кругомъ было темно, и только колебавшееся пламя костра освѣщало неясный кругъ. Зашелестѣвшій вблизи кустъ привлекъ общее вниманіе. Матюшка выхватилъ горѣвшую головню и освѣтилъ кустъ—за нимъ стояла растерявшаяся и сконфуженная Окся. Она подкралась очень осторожно и все время подслушивала разговоръ, пока не выдалъ ея присутствія хрустнувшій подъ ногой сучокъ.

— Ты, уродина, чего тутъ дѣлаешь?—накинулся на нее Матюшка.

— Ишь, подслушиваетъ,—замѣтилъ кто-то изъ рабочихъ.—Дура, а на это смыселъ тоже имѣетъ...

— Гони ее, Матюшка, въ три шеи!.. Омморошная какая-то...

Матюшка повернулъ Оксю за плечо и такъ ее двинулъ въ спину, что она отлетѣла сажени на три. Эта выходка сопровождалась общимъ хохотомъ.

— Ай да Матюшка! Уважилъ барышню... То-то она все шары пялитъ на него. Вотъ и вышло, што поглянулась собакѣ палка.

Окся съ трудомъ поднялась съ земли, отошла въ сторону, присѣла въ траву и горько заплакала. Ее съ дѣтства били, но тутъ выходило совсѣмъ особенное дѣло. Съ Оксей случилось что-то необыкновенное, какъ только она увидѣла Матюшку въ первый разъ, когда партія выступала изъ Фотьянки. И дорогой она все время присматривалась къ нему, и все время на Миляевомъ мысу. Смотритъ, а сама точно вся застыла... Остальной міръ больше для нея не существовалъ. Оксину душу освѣтилъ внутренній свѣтъ, та радость, которая боится сознаться въ собственномъ существованіи. Нѣчто подобное она испытывала въ дѣтствѣ, когда въ глухую полночь ударитъ колоколъ къ Христовой заутренѣ, и недавняя тишина и мракъ смѣнялись праздничной, гулкой и свѣтлой радостью.

VI.

Кишкинъ пользовался горячимъ временемъ и, кромѣ заявки на Миляевомъ мысу, поставилъ столбы въ трехъ мѣстахъ по Мутяшкѣ. Пробные шурфы

вездѣ давали хорошіе знаки. Но заявки были еще только началомъ дѣла. И отводъ заявленныхъ мѣстностей ему сдѣлаютъ раньше другихъ, какъ обѣщалъ Каблуковъ. Вся бѣда заключалась въ томъ, гдѣ взять денегъ на казенную подать,— по уставу о частной золотопромышленности полагалось ежегодно взносить по рублю съ десятины, въ среднемъ это составляло отъ 60 до 100 р. съ пріиска. Сумма по своему существу ничтожная, но Кищкинъ зналъ по личному опыту, какъ трудно достать даже три рубля, когда они нужны до зарѣзу.

— Будетъ день—будетъ хлѣбъ!.. утѣшалъ онъ себя, раздумавшись про свои дѣла.

Все, что можно было достать, выпросить, занять и просто выклянчить—все это было уже сдѣлано. Впереди оставался одинъ расчетъ: продать одну или двѣ заявки, чтобы этимъ перекрыться на разработку другихъ. А пока Кишкину приходилось работать наравнѣ со всѣми остальными рабочими, при чемъ ему это доставалось въ десять разъ тяжелѣе и по непривычкѣ къ ручному труду и просто по старческому безсилію. Набродившись по лѣсу за день, старикъ едва могъ добраться до своего балагана. Рабочіе сейчасъ же заваливались спать, а Кишкинъ лежалъ, ворочался съ боку на бокъ и все думалъ. Эхъ, если бы счастье улыбнулось ему на старости лѣтъ... Вѣдь есть же справедливость, а онъ столько лѣтъ бѣдствовалъ и терпѣлъ самую унизительную горькую нужду!.. Всего-то найти бы первое счастливое мѣстечко, чтобы расправить руки, а тамъ уже все пошло бы само

собой: деньги, какъ птицы, прилетаютъ и улетаютъ стаями...

— Показалъ бы я имъ всѣмъ, каковъ есть человѣкъ Андронъ Кишкинъ!—вслухъ думалъ старикъ и даже грозилъ этимъ всѣмъ въ темнотѣ кулакомъ.—Стали бы ухаживать за мной... лебезить... Нѣтъ, братъ, шалишь!.. Былъ раньше дуракомъ, а во второй разъ извините.

Занятый этими мыслями и соображеніями, Кишкинъ какъ-то совсѣмъ позабылъ о своемъ доносѣ, да и некогда о немъ теперь было думать, когда каждый день могъ сдѣлаться роковымъ.

Часто Кишкинъ одинъ ходилъ по теченію Мутяшки и высматривалъ новыя мѣста подъ заявки. Каждый свободный клочокъ земли пробуждалъ въ немъ какой-то страхъ: а если золото вотъ именно здѣсь спряталось? Если бы была возможность, онъ захватилъ бы въ свои руки всю Меледу со всѣми притоками и никому не уступилъ бы вершка, отцу родному. Когда онъ видѣлъ чужой заявочный столбъ, его охватывало знобившее чувство зависти. А свободныхъ мѣстъ по Мутяшкѣ уже не оставалось: въ теченіе какихъ-нибудь трехъ дней все было расхватано по клочкамъ. Даже то болотце, къ которому водилъ Мина искать золотую свинью, и оно было захвачено Ястребовымъ.

— Для счету прихватилъ,—объяснилъ Ястребовъ, встрѣтивъ какъ-то Кишкина.—Што ему, болоту, даромъ оставаться... Такъ, вѣдь, Андронъ Евстратычъ?.. Разбогатѣемъ мы, видно, съ тобой заодно...

— Гусь свиньѣ не товарищъ, Никита Яковличъ...

— Кто гусь-то, по-твоему?

— А ужъ какъ это тебѣ поглянется...

Кишкинъ относился къ Ястребову подозрительно, а тотъ нѣтъ-нѣтъ и заглянетъ на Миляевъ мысъ. И все-то у него шуткой да балагурствомъ: конечно, богатый человѣкъ, селезенка играетъ... Съ нимъ появлялся иногда кабатчикъ Ермошка, Затыкинъ и другіе золотопромышленники—мелочь. Острый періодъ заявочной горячки миновалъ, и предприниматели начали понемногу приглядываться другъ къ другу. Да и въ лѣсу совсѣмъ другое дѣло, чѣмъ гдѣ-нибудь въ городѣ: живому человѣку каждый радъ. Душой общества являлся Ястребовъ, какъ бывалый и опытный человѣкъ, прошедшій сквозь огонь, воду и мѣдныя трубы. Соберется такая компанія гдѣ-нибудь около огонька и балагуритъ.

— Никита Яковличъ, будешь ты наше золото скупать, — подшучиваютъ надъ Ястребовымъ. — Какъ пить дашь.

— Было бы што скупать, — отъѣдается Ястребовъ, который въ карманъ за словомъ не лазилъ.— Вашего-то золота котъ наплакалъ... А вотъ мое золото будетъ оглядываться на васъ. Тотъ же Кишкинъ скупать будетъ отъ моихъ старателей... Такъ, вѣдь, Андронъ Евстратычъ? Ты, вѣдь, еще при казнѣ набилъ руку...

— Было, да сплыло, — огрызался Кишкинъ.— Вотъ про себя лучше скажи, какъ балчуговское золото скупаешь...

— А ты видѣлъ, какъ я его скупаю? Вотъ то-то и есть... Всѣ кричатъ про меня, што скупаю чу-

жое золото, а никто не видалъ. Значитъ, кто поумнѣе, такъ тотъ и промолчалъ бы.

Разъ Ястребовъ пріѣхалъ немного навеселѣ. Подсѣвъ къ огоньку у балагана Кишкина, онъ нѣсколько времени молчалъ, встряхивая своей большой головой и улыбаясь. Кишкинъ долго всматривался въ его коренастую фигуру и разбойничью рожу, а потомъ проговорилъ съ лѣсной откровенностью:

— Гляжу я на тебя, Никита Яковличъ, и дивуюсь... Только дать тебѣ ножъ въ руки и сейчасъ на большую дорогу: какъ есть разбойникъ.

— Это ты правильно... ха-ха!..—засмѣялся Ястребовъ.—Не было бы разбойника, не стало бы и праведника...

Въ приливѣ нѣжности Ястребовъ обнялъ Кишкина и такъ любовно проговорилъ:

— Плачетъ о насъ съ тобой острогъ-то, Андронъ Евстратычъ... Всѣ тамъ будемъ, сколько ни попрыгаемъ. Ну, да это наплевать... Ахъ, Андронъ Евстратычъ!.. Развѣ Ястребовъ воръ? Воры-то ваша балчуговская компанія, которая народъ сосетъ, воры инженеры, канцелярскія крысы въ родѣ тебя, а я хлѣбъ даю народу... Компанія-то полуторыхъ рублей не даетъ за золотникъ, а я всѣ три цалковыхъ.

— Такъ ты, значитъ, въ томъ родѣ, какъ благодѣтель?

— Теперь-то какъ хочешь зови, а вотъ когда не будетъ Никиты Ястребова, тогда и благодѣтелемъ взвеличаютъ.

Эта разбойничья философія разсмѣшила Кишкина до слезъ. Воровали и въ казенное время,

только своимъ воровствомъ никто не хвастался, а Ястребовъ въ благодѣтели себя поставилъ.

— Утѣшилъ ты меня, Никита Яковличъ... Благодѣтель, говоришь?.. Ха-ха... Въ самую пропорцію благодѣтель. Медаль бы тебѣ только за усердіе... А я, грѣшный человѣкъ, все за разбойника тебя почиталъ.

Ястребовъ не обижался и хохоталъ вмѣстѣ.

— Что же это Мыльникова нѣтъ?—по нѣскольку разъ въ день спрашивалъ Кишкинъ Петра Васильича.—Точно за смертью ушелъ.

Онъ долженъ былъ вернуться на другой день и не вернулся. Прошло цѣлыхъ два дня, а Мыльникова все нѣтъ.

— Ужо я самъ схожу...—предлагалъ Петръ Васильичъ, которому хотѣлось улизнуть подъ благовиднымъ предлогомъ.

— Ну, нѣтъ, братъ, шалишь!—озлился Кишкинъ.— Мыльниковъ сбѣжалъ, теперь ты хочешь уйти, кто же останется? Тоже компанія, нечего сказать...

— Да, вѣдь, надо въ волости объявиться? — сказалъ Петръ Васильичъ. — Мы тутъ наставимъ столбовъ, а Затыкинъ да Ястребовъ запишутъ въ волостную книгу наши заявки за свои... Это тоже не модель.

— Ладно, сказывай...—ворчалъ Кишкинъ.—Знаю я васъ, охаверниковъ. Ужъ только и нарродецъ!.. Обождемъ еще мало мѣста, а потомъ я самъ пойду и все устрою.

— Да, вѣдь, ты сорокъ-то верстъ двѣ недѣли проползаешь, Андронъ Евстратычъ. Ножки у тебя коротенькія, задохнешься на полдорогѣ...

Мыльниковъ явился черезъ три дня совершенно неожиданно ночью, когда всѣ спали. Онъ напугалъ Петра Васильича до смерти, когда потащилъ изъ балагана его за ногу. Петръ Васильичъ былъ мужикъ трусливый и чуть не крикнулъ караулъ.

— А я думалъ, што Андрона Евстратыча пымалъ за ногу-то,—объяснялъ Мыльниковъ. — По ногамъ-то вы схожи...

— А ты разуй глаза-то сперва... Гдѣ пропадалъ, путаная голова?

— Охъ, и не говори.

На шумъ проснулся Кишкинъ. Развели потухшій огонекъ, и охавшій все время Мыльниковъ, послѣ нѣкотораго ломанья, объяснилъ все.

— Прихожу это я на Фотьянку, штобы въ волости въ книгѣ записать заявку,—разсказывалъ онъ слезливымъ тономъ,—а Затыкинъ-то ужъ въ книгѣ Миляевъ мысъ записалъ...

— Ну-у? Да не подлецъ ли... а?! Ахъ, жуликъ...

— Вѣрно говорю... Значитъ, теперь, такъ сказать, и наша заявка пропала, и ястребовская, потому какъ у Затыкина столбы-то дальше нашихъ поставлены, а пока мы спорились—онъ и хлопнулъ свою заявку. Замежевалъ онъ насъ...

— Ну, это онъ вретъ!—сказалъ Кишкинъ.—Онъ, значитъ, изъ пяти верстъ вышелъ, а это не по закону... Мы ему еще утремъ носъ. Ну, разсказывай дальше-то...

— Што дальше-то,—обезножилъ я, вотъ тебѣ и дальше... Побродилъ по студеной вешной водѣ,

ну, и обезножилъ, какъ другая опоеная лошадь.

— Ой, врешь!—усомнился Петръ Васильичъ.—Поди, опять у Ермошки въ кабакѣ ноги-то завязилъ? У всѣхъ у васъ, строгалей, одна вѣра-то...

— Одинова, это точно, согрѣшилъ... — каялся Мыльниковъ.—Силкомъ затащили робята. Сидимъ это, братецъ ты мой, мы въ кабакѣ, напримѣрно, и вдругъ трахъ! слѣдователь... Трахъ! сейчасъ народъ сбивать на земскую квартиру и меня въ первую голову зацѣпили, какъ значитъ я обозначенъ у него въ гумагѣ. И слѣдователь не простой, а важный—такъ и называется: важный слѣдователь.

— Это, што же, по твоей, видно, жалобѣ?—уныло спросилъ Петръ Васильичъ, почесывая въ затылкѣ.—Вотъ такъ крендель, братецъ ты мой.. Ловко!

— Ну, разсказывай,—торопилъ Кишкинъ, принимая дѣловой видъ.—Не важный слѣдователь, а слѣдователь по особо важнымъ дѣламъ..

— А скажу я тебѣ, Андронъ Евстратычъ, што заварилъ ты кашу... Ка-акъ мнѣ это самое сказали, што гумага и слѣдователь, точно меня кто подъ колѣнку ударилъ, дыхнуть не могу. Ужъ Ермошка сжалился, поднесъ стаканчикъ... Ну, пошелъ я на земскую квартиру, а тамъ и староста, и урядникъ, и нашихъ балчуговскихъ стариковъ человѣкъ съ пять. Сейчасъ слѣдователь, напримѣрно, ко мнѣ: „Вы—Тарасъ Мыльниковъ?“—„Точно такъ, ваше высокородіе...“ — „Можете себя оправдать по дѣлу отставного канцелярскаго служителя Андрона Кишкина?“—„Точно такъ-съ...“—

„А гдѣ Кишкинъ?“ Тутъ ужъ я совсѣмъ испугался и брякнулъ: „Не могу знать, ваше высокородіе... Я его совсѣмъ не знаю, а только стороной слыхивалъ, што какой-то Кишкинъ служилъ у насъ на промыслахъ“.

— Вотъ и вышелъ дуракъ!—озлился Кишкинъ.— Чего испугался-то, дурья голова? Небойсь, кожу не снимутъ съ живого...

Петръ Васильичъ молчалъ, угнетенно вздыхая. Вся его фигура теперь изображала собой одно слово: влопался!..

— Да ты послушай дальше-то! — спорилъ Мыльниковъ.—Слѣдователь-то прямо за горло... „Вы, Тарасъ Мыльниковъ, состояли шорникомъ на промыслахъ и должны знать, что жалованье выписывалось пятерымъ шорникамъ, а въ полученіи расписывались вы одинъ?“ — „Не подверженъ я этому, ваше высокородіе, потому какъ я не грамотный, а кресты ставилъ — это было...“ И пошелъ пытать, и пошелъ мотать, и пошелъ вертѣть, а у меня поджилки трясутся. Не помню, какъ я и ушелъ отъ него да прямо сюда и стриганулъ... Какъ олень летѣлъ!

— Зачѣмъ ты про меня-то вралъ, Тарасъ?..

— Испужался, Андронъ Евстратычъ... И сюда-то бѣгу, а самому все кажется, што ровно кто за мной гонится. Вотъ тѣ Христосъ...

Бесѣда велась вполголоса, чтобы не услышали другіе рабочіе. Мыльниковъ повторилъ разъ пять одно и то же, съ необходимыми варіантами и украшеніями.

— Что же ты молчишь, Петръ Васильичъ? — спрашивалъ Кишкинъ.

— А што мнѣ говорить, Андронъ Евстратычъ: плакала, видно, наша золотая свинья изъ-за твоей гумаги... Поволокутъ теперь по судамъ.

— А гдѣ моя Окся?—спрашивалъ Мыльниковъ въ заключеніе.

Хватились Окси, а ея и слѣдъ простылъ:—она скрылась неизвѣстно куда.

VII.

Компанейскія работы сосредоточивались на нынѣшнее лѣто въ двухъ пунктахъ: въ устьяхъ р. Меледы, гдѣ она впадала въ Балчуговку, и на Ульяновомъ кряжѣ. Въ первомъ пунктѣ разработывалась громадная розсыпь Дерниха, вскрытая разрѣзомъ еще съ зимы, а во второмъ заложена была новая шахта Рублиха. Оба мѣсторожденія открыты были фотьянскими старателями, и компанія поставила свои работы уже на готовое. Особенно заманчивой являлась Рублиха, изъ которой старатели дудками добыли около полпуда золота,—это и была та самая жила, которую Карачунскій пробовалъ на фабрикѣ самъ. Открылъ ее старикъ Кривушокъ, изъ фотьянскихъ старожиловъ-каторжанъ. Это былъ страшный бѣднякъ, цѣлую жизнь колотившійся какъ рыба объ ледъ. Открытая имъ жила сразу его обогатила. Бывали дни, когда Кривушокъ заработывалъ рублей по триста. Такое дикое богатство погубило бѣднягу

въ нѣсколько недѣль. То, чего не могла сдѣлать бѣдность, сдѣлало богатство. Кривушокъ закладывалъ пачку ассигнацій въ голенище и съ утра до вечера проводилъ въ кабакѣ Фролки, въ этомъ завѣтномъ мѣстѣ всѣхъ фотьянскихъ старателей. У старика не было семьи,—всѣ перемерли. Жениться было поздно, и онъ, напившись пьяный, горько плакался на свое обидное богатство, явившееся для него точно насмѣшкой.

— Кабы раньше жилка-то провернулась... — повторялъ Кривушокъ.—Жена заморилась на работѣ, ребятенки перемерли съ голодухи... куды мнѣ теперь богачество?..

Около Кривушка собралась вся кабацкая рвань. Всѣ теперь пили на его счетъ, и въ кабакѣ шло кромѣшное пьянство.

— Ты бы хоть избу себѣ новую поставилъ,—совѣтовалъ Фролка,—а то все пропьешь, и ничего самому на похмелье не останется. Тоже в[illegible] щетъ одежи...

— Угорѣлъ я, Фролушка, сызнова-то жить, — отвѣчалъ Кривушокъ.—На што мнѣ новую избу, коли и жить-то мнѣ осталось, можетъ, безъ году недѣлю... Съ собой не возьмешь. А ка[illegible]мо одежи, такъ оно и совсѣмъ не пристало: [illegible]ъ[illegible] жисть проходилъ въ заплатахъ...

Кривушокъ кончилъ скорѣе, [illegible] угломъ [illegible]дполагалъ. Его нашли мертвымъ окол[illegible]бака. Денегъ при Кривушкѣ не оказалось, [illegible]олва приписала его ограбленіе Фролкѣ. Вообще, все дѣло такъ и осталось темнымъ. Кривушка похоронили, а его

жилку взяла за себя компанія и поставила здѣсь шахту Рублиху.

Верховный надзоръ за работами на Дернихѣ принадлежалъ Зыкову, но онъ разсыпнымъ дѣломъ интересовался мало, потому что увлекся новой шахтой.

— Смотри, Родіонъ Потапычъ, какъ бы намъ не ошибиться съ этой Рублихой,—предупреждалъ Карачунскій.—То же будетъ, что съ Спасо-Колчеданской...

— А откуда Кривушокъ золото свое бралъ, Степанъ Романычъ?.. Самъ мнѣ покойникъ разсказывалъ: такъ, говоритъ, самоваромъ жила и ушла вглубь... Онъ-то пировалъ на послѣдяхъ, ну, дудка и обвалилась. Нѣтъ, здѣсь вѣрное золото, не то, што на Краюхиномъ увалѣ...

Карачунскій слѣпо вѣрилъ опытности Зыкова, но его смущало противорѣчіе Лучка,—послѣдній не хотѣлъ признавать Рублихи.

— Обманетъ она, эта самая Рублиха,—упрямо повторялъ Лучокъ.

— Да почему обманетъ-то?

— А такъ... Мѣсто не настоящее. Золото гнѣздовое: одно гнѣздышко подвернулось, а другое можетъ [illegible] двадцати саженяхъ... Это ужъ не работа, С[illegible]чъ Романычъ. Правильная жила идетъ ровно.. [illegible]обовать надежнѣе, а это игрунья: сегодня позолоч[illegible] Криву[illegible]годъ будетъ душу выматывать. Это ужъ не моде[illegible]нъ.

Рублиха послужила яблокомъ раздора между старыми штейгерами. Каждый стоялъ на своемъ, а особенно Родіонъ Потапычъ, вложившій въ но-

вое дѣло всю душу. Это былъ своего рода фанатизмъ коренного промысловаго человѣка.

— Ужъ будьте спокойны, Степанъ Романычъ,— увѣрялъ Зыковъ.—Голову отдамъ на отсѣченье, што Рублиха вполнѣ себя оправдаетъ...

Эти увѣренія напоминали Карачунскому того француза, который доказывалъ вращеніе земли своимъ честнымъ словомъ. Но у него былъ свой расчетъ: новое коренное мѣсторожденіе выставляло дѣятельность компаніи въ выгодномъ свѣтѣ предъ горнымъ департаментомъ. Значитъ, она развивается и быстро шагаетъ впередъ, а это главное. Въ крайнемъ случаѣ, Рублиха могла обойтись тысячъ въ восемьдесятъ, потому что машины и шахтовыя приспособленія перевозились съ Краюхина увала, а Спасо-Колчеданская жила оказывалась „холостой", такъ что ее оставили только до осени.

По составленному плану работы на Рублихѣ предполагались въ большихъ размѣрахъ. Дудка Кривушка оставалась въ сторонѣ, а шахта была заложена ниже, чтобы пересѣчь жилу саженяхъ на двадцати въ глубину. Такимъ образомъ, за разъ рѣшались двѣ задачи: откачивалась вода на предѣльномъ горизонтѣ, а затѣмъ работы можно было вести сразу въ двухъ направленіяхъ—вверхъ и внизъ, по отрѣзкамъ жилы. Практика показала, что всѣ жилы имѣютъ паденіе подъ угломъ, какъ и жила на Ульяновомъ кряжѣ. Слѣдовательно можно было по приблизительному расчету вы-ю-на жилу на извѣстной глубинѣ. Въ какие-то было будь двѣ недѣли выросъ на Ульяновомъ утро

ъ песка-

новый деревянный корпусъ, поставлены были паровые котлы, паровая машина, и задымилась высокая желѣзная труба. Для служащихъ построена конторка, гдѣ поселился въ одной каморкѣ Родіонъ Потапычъ, а затѣмъ строились амбары для разной пріисковой снасти, навѣсы, конюшни—однимъ словомъ, вся пріисковая городьба. Ульяновъ кряжъ закрывалъ Рублиху со стороны Фотьянки, и старикъ Зыковъ былъ очень радъ этому обстоятельству, потому что могъ теперь жить совершенно въ лѣсу. Онъ даже по субботамъ домой въ Балчуговскій заводъ не выходилъ, а только время отъ времени отправлялся на Дерниху, чтобы посмотрѣть на работавшую „бутару". Бутара—сибирскаго типа машина для промывки песковъ въ большихъ массахъ. Главную ея часть составляетъ желѣзный продыравленный цилиндръ, который приводится въ вращательное движеніе паровой машиной. Золотоносный песокъ сваливался въ бутару, въ нее же проводилась сверху сильная струя воды, и промывка совершалась при страшномъ грохотѣ. Одна такая бутара въ сутки обработывала десятки тысячъ пудовъ песку. Но у Родіона Потапыча вообще не лежало почему-то сердце къ этой Дернихѣ, хотя розсыпь была надежная и, по приблизительнымъ расчетамъ, должна была дать въ одно лѣто около 20 пудовъ золота.

— На Фотьянской розсыпи больше ста пудовъ ужь были,—повторялъ Зыковъ, точно хотѣлъ этимъ Рузить благонадежность Дернихи. — Вотъ ужо старыми ха наша ахнетъ, такъ это другое дѣло...

а особень сліянія Меледы и Балчуговки было низ-

кое и болотистое, едва тронутое чахлымъ болотнымъ лѣскомъ. Родіонъ Потапычъ съ презрѣніемъ смотрѣлъ на эту „чортову яму“, сравнивая про себя красивый Ульяновъ кряжъ. Да и разсыпное золото совсѣмъ не то, что жильное. Первое онъ не считалъ почему-то и за золото, потому что добыча его не представляла собой ничего грандіознаго и рискованнаго, а жильное золото надо умѣючи взять да еще походить за нимъ, да не всякому оно и дастся въ руки.

Увлеченіе Рублихой у старика приняло какой-то болѣзненный характеръ, точно онъ закладывалъ въ эту работу послѣднюю свою энергію. Когда спалъ неугомонный старикъ—никто не зналъ. Во всякое время дня и ночи его можно было встрѣтить на шахтѣ, гдѣ онъ сидѣлъ, какъ коршунъ, ожидавшій своей добычи. Первыя сажени углубленія были пройдены съ поразительной быстротой, а дальше пошелъ камень „ребровикъ“, требовавшій „діомида“. Это были первые пропластки основныхъ гранитныхъ породъ, а жилы залегаютъ въ снаяхъ такихъ пропластковъ. Родіонъ Потапычъ высчитывалъ каждый новый вершокъ углубленія и давно опредѣлилъ про себя, въ какой день шахта выйдетъ на роковую двадцатую сажень и пересѣчетъ жилу. Онъ по десяти разъ въ сутки спускался по стремянкѣ въ шахту и зорко наблюдалъ, какъ ее крѣпятъ, чтобы не было ни малѣйшей заминки. Пока все шло отлично, потому что грунтъ былъ устойчивый, и не было опасности, что шахта въ одно прекрасное утро „сбочится“, какъ это бываетъ при слояхъ песка-

сѣвуна или мягкой расплывающейся глинѣ. Рабочіе тоже невольно заражались энергіей стараго штейгера и съ нетерпѣніемъ ждали двадцатой сажени.

Если что огорчало Зыкова, такъ это назначеніе молодого инженера Оникова главнымъ смотрителемъ новыхъ жильныхъ работъ. Положимъ, старикъ уважалъ Оникова „по отцу", но это не мѣшало быть ему мальчишкой и щенкомъ. Да и поставилъ себя Ониковъ съ перваго раза крайне неудобно: пріѣдетъ въ бѣлыхъ перчаткахъ и давай распоряжаться—это не такъ, то не такъ. Самъ бы хоть разъ въ шахту спустился. Какъ ни былъ вымуштрованъ Родіонъ Потапычъ относительно всяческаго уваженія ко всяческому начальству, но поведеніе Оникова задѣло его за живое: онъ чувствовалъ, что молодой инженеръ не вѣритъ въ эту жилу и не сочувствуетъ затѣянной работѣ.

— Пріѣдетъ, папиросу выкуритъ—и вся тутъ работа,—жаловался Зыковъ Карачунскому.—Ежели бы ты самъ, Степанъ Романычъ...

— Нѣтъ, мнѣ далеко ѣздить сюда, да и Оникову нужно же какое-нибудь дѣло. Куда его мнѣ дѣвать... Какъ-нибудь ужъ безъ меня устроивайтесь.

Родіонъ Потапычъ только вздыхалъ. Находилъ же время Карачунскій ѣздить на Дерниху чуть не каждый день, а тутъ отъ Фотьянки рукой подать: и двухъ верстъ не будетъ. Однимъ словомъ, не хочетъ, а Оникова подослалъ назло. Нечего дѣлать, пришлось мириться и съ Ониковымъ и дѣлать по его приказу, благо немного онъ смыслилъ въ дѣлѣ.

— Ужо будетъ лѣтомъ гостей привозить на Рублиху—только его и дѣла,—ворчалъ старикъ, ревновавшій свою шахту къ каждому постороннему глазу.—У другого такой глазъ, што его и близко-то къ шахтѣ нельзя пущать... Не больно-то любитъ жильное золото, когда зря лѣзутъ въ шахту...

Всего больше боялся Зыковъ, что Ониковъ привезетъ изъ города барынь, а изъ нихъ выищется какая-нибудь вертоголовая и полѣзетъ въ шахту: тогда все дѣло хоть брось. А што можетъ быть другое на умѣ у Оникова, который только ѣстъ да пьетъ?.. И Карачунскій, любопытенъ до женскаго полу, только у него все шито и крыто.

Такъ шло дѣло. Шахта была уже на двѣнадцатой сажени, когда изъ Фотьянки пришелъ волостной сотникъ и потребовалъ штейгера Зыкова къ слѣдователю. У старика опустились руки.

— Это по дѣлу Кишкина?—спросилъ онъ.

— Видно по ему, по самому... По первоначалу-то слѣдователь въ Балчуговскомъ заводѣ съ недѣлю выжилъ, а теперь на Фотьянку перебрался и сбиваетъ народъ со всѣхъ сторонъ. Почитай всѣхъ стариковъ поднялъ...

Эта неожиданная повѣстка и встревожила, и напугала Зыкова, а, главное, не во-время она явилась: работа горитъ, и онъ долженъ терять дорогое время на допросахъ.

— Слѣдователь-то у Петра Васильича въ дому остановился,—объяснялъ сотникъ.—И Ястребовъ тамъ и Кишкинъ. Такую кашу заварили, што и не расхлебать. Главное, народъ весь на работахъ, а слѣдователь требоваетъ къ себѣ...

Родіонъ Потапычъ одѣлся на скорую руку и зашагалъ за сотникомъ. Ему случалось бывать въ передрягахъ, но затѣянное Кишкинымъ дѣло возмущало его до глубины души. Кто Богу не грѣшенъ, царю не виноватъ, нельзя же всѣхъ по судамъ таскать. Двѣ версты до Фотьянки промелькнули незамѣтно. Передъ избой Петра Васильича сидѣли вызванные слѣдователемъ свидѣтели. Былъ тутъ и подштейгеръ Лучокъ, и Мина Клейменый, и Яша, и Турка, и Мыльниковъ— однимъ словомъ, вся компанія. Всѣ, видимо, чувствовали себя смущенными. Родіонъ Потапычъ сухо кивнулъ головой и пошелъ прямо въ избу. Поднимаясь по лѣсенкѣ на крыльцо, онъ лицомъ къ лицу столкнулся съ дочерью Ѳеней, которая съ тарелкой въ рукахъ летѣла въ погребъ за огурцами.

— Тятенька!..—вскрикнула дѣвушка и остановилась.

Родіонъ Потапычъ медленно прошелъ мимо, не отвѣтивъ на этотъ крикъ ни однимъ движеніемъ.

Слѣдователь сидѣлъ въ чистой горницѣ и пилъ водку съ Ястребовымъ, который подробно объяснялъ пріисковую терминологію, что такое розсыпь, разрѣзъ, борта розсыпи, ортовыя работы, забои, шурфы и т. д. Слѣдователь былъ пожилой лысый мужчина съ рыжеватой бородкой и темными умными глазами. Онъ испытующе смотрѣлъ на массивную фигуру Ястребова и въ тактъ его объясненій кивалъ своей лысой прежде времени головой.

„Воръ научитъ хорошему...“—подумалъ Зыковъ, наблюдая эту сцену издали.

Въ дверяхъ стояли Мыльниковъ и Петръ Васильичъ, заслонявшіе спинами сидѣвшаго у двери на стулѣ Кишкина. Сотникъ протискался впередъ и доложилъ слѣдователю о приводѣ свидѣтеля.

— А, очень пріятно...—оживился слѣдователь, проглатывая наскоро закуску.—Введите его сюда.

Ястребовъ поднялся, чтобы выйти, но слѣдователь движеніемъ головы удержалъ его. Родіонъ Потапычъ, войдя въ комнату, помолился на образа и отвѣсилъ слѣдователю глубокій поклонъ.

— Вы, Родіонъ Зыковъ?

— Точно такъ-съ...

Начался обычный слѣдовательскій допросъ, при чемъ Зыковъ отвѣчалъ коротко и быстро, по-солдатски.

— Когда была открыта Фотьянская розсыпь, вы уже были главнымъ штейгеромъ?

— Точно такъ-съ... Я ужъ сорокъ лѣтъ состою главнымъ штейгеромъ.

— Ага...—протянулъ слѣдователь, быстро окидывая его глазами.—Тѣмъ лучше... Вы, слѣдовательно, служили при управителѣ Фроловѣ и его помощникѣ Горностаевѣ. Скажите, когда промывался казенный разрѣзъ въ Выломкахъ?

Ястребовъ сдѣлалъ нетерпѣливое движеніе и подсказалъ:

— Разработывался...

— Ну, да, когда разработывался разрѣзъ въ Выломкахъ?—повторилъ слѣдователь.

— Годомъ не упомню, ваше высокоблагородіе, а только еще до воли это самое дѣло было,—отвѣтилъ безъ запинки Зыковъ.

— Вы тогда служили? Да? И при васъ этотъ разрѣзъ разработывался? Прекрасно... А не запомните вы, какъ при управителѣ Фроловѣ на этомъ же разрѣзѣ поставлены были новыя работы?..

Родіонъ Потапычъ ждалъ этого вопроса и, взглянувъ искоса на Кишкина, отвѣтилъ самымъ равнодушнымъ тономъ:

— Какія же новыя работы, когда вѣся розсыпь была выработана?.. Старатели, конешно, домывали борта, а какъ это ставилось въ конторѣ,—мы не обычны знать: до конторы я никакого касательства не имѣлъ и не имѣю...

Слѣдователь взглянулъ вопросительно па Кишкина. Тотъ заёрзалъ на мѣстѣ, виновато скашивая глаза на Зыкова, и проговорилъ:

— Ваше благородіе, Родіонъ Потапычъ, т.-е. главный штейгеръ Зыковъ, долженъ знать, какъ списывались работы въ Выломкахъ. Отъ него шли дневныя рапортички.

— Да ты не путляй, Шишка! — разразился неожиданно Родіонъ Потапычъ, встряхнувъ своей большой головой.—Развѣ я къ вашему конторскому дѣлу причастенъ? Вѣдь ты сидѣлъ въ конторѣ тогда да писалъ,—ты и отвѣчай...

— Вы должны отвѣчать только на мои вопросы,—строго замѣтилъ слѣдователь.

— А ежели я могу подъ присягой доказать на него еще по дѣлу о золотѣ, когда наѣзжалъ казенный фискалъ?—отвѣтилъ Родіонъ Потапычъ, у котораго тряслись губы отъ волненія.

— Это къ дѣлу не относится...—замѣтилъ слѣ-

дователь, быстро записывая что-то на листѣ бумаги.

— Вы его подъ присягой спросите, г. слѣдователь,—подговаривалъ Кишкинъ, осклабляясь.—Тогда онъ сущую правду покажетъ насчетъ разрѣза въ Выломкахъ...

— Это ужъ мое дѣло,—отвѣтилъ слѣдователь, продолжая писать.—Г. Зыковъ, такъ вы не желаете отвѣчать на мой вопросъ?

— Ваше высокоблагородіе, ничего я въ этихъ дѣлахъ не знаю...—заговорилъ Родіонъ Потапычъ и даже ударилъ себя въ грудь...—По злобѣ обнесенъ вотъ этимъ самымъ Кишкинымъ... Мое дѣло маленькое, ваше высокоблагородіе. Всю жисть въ лѣсу прожилъ на промыслахъ, а што они тамъ въ конторѣ дѣлали,—я неизвѣстенъ. Да и давно это было... Ежели бы и зналъ, такъ запамятовалъ.

— Значитъ, вы знали, да забыли?

Пойманный на словѣ Родіонъ Потапычъ тяжело переминался съ ноги на ногу и только шевелилъ губами.

— Вы не безпокойтесь, я уже имѣю показанія по этому дѣлу другихъ свидѣтелей,—ядовито замѣтилъ слѣдователь.—Вамъ должно быть ближе извѣстно, какъ велись работы... Старатели работали въ Выломкахъ?

— Не упомню, ваше высокоблагородіе...

— Такъ я вамъ напомню: старатели работали и получали за золотникъ золота по 1 р. 20 к., а въ казну оно сдавалось управленіемъ Балчуговскихъ промысловъ по 5 р. и дороже, т.-е. по общему расчету работы.

— Не старатели, а золотничники, ваше высокоблагородіе...

— Это все равно, только слова разныя...

Свои собственные вопросы слѣдователь провѣрялъ по выраженію лицъ Ястребова и Кишкина, которые не спускали глазъ съ Родіона Потапыча. Изъ дѣла слѣдователь видѣлъ, что Зыковъ главный свидѣтель и налегъ на него съ особеннымъ усердіемъ, выжимая одно слово за другимъ. Нужно было возстановить два обстоятельства: допущенныя правленіемъ старательскія работы, при чемъ скупленное у старателей золото заносилось въ промысловыя книги какъ свое, и выставлялись произвольныя цѣны, втрое и вчетверо выше старательскихъ, а затѣмъ подновленіе стараго казеннаго разрѣза въ Выломкахъ и занесеніе его въ отчетъ за новый. Дальше слѣдовали другія нарушенія: выписка жалованья несуществовавшимъ промысловымъ служащимъ, выписка несуществовавшихъ поденщинъ, и т. д. и т. д.

Собранные свидѣтели теряли уже вторую недѣлю, когда работа кипѣла кругомъ, и это вызывало общій ропотъ и глухое недовольство, при чемъ всѣ обвиняли Кишкина, заварившаго кашу.

— Мы ему башку отвернемъ, старой крысѣ!— ругались рабочіе.—Какое время-то стоитъ — это надо подумать...

Допрошенный въ качествѣ свидѣтеля Петръ Васильичъ отперся отъ всего, что обѣщалъ показать, чѣмъ не мало огорчилъ Кишкина...

— Ты что же это, Петръ Васильичъ?—корилъ

его Кишкинъ.—Какъ дошло до дѣла, такъ сейчасъ и въ кусты...

— Не нашъ возъ, и не наша пѣсенка, Андронъ Евстратычъ...

— Ладно... Увидимъ, што запоешь, когда подъ присягой будутъ допрашивать.

Мыльниковъ являлся комическимъ элементомъ и каждый разъ мѣнялъ свои показанія, вызывая улыбку даже у слѣдователя. Приходилъ онъ всегда вполпьяна и первымъ дѣломъ заявлялъ:

— Г. слѣдователь, у меня лицо чистое... Ничѣмъ я не замаранъ, а чтобы насупротивъ совѣсти—къ этому я не подверженъ. Вотъ каковъ Тарасъ Мыльниковъ...

Несмотря на всю эту путаницу и противорѣчія, развертывалась широкая картина всевозможныхъ злоупотребленій и самаго безшабашнаго хищничества. Уже собранныхъ фактовъ было совершенно достаточно для громаднаго дѣла, а выступали все новыя подробности. Ничего не могъ подѣлать слѣдователь только съ Зыковымъ, который стоялъ на своемъ, что ничего не знаетъ. Самый важный свидѣтель ускользалъ изъ рукъ, и слѣдователь выбился изъ силъ, чтобы довести его до откровеннаго сознанія. Подмѣтивъ, что старикъ тяготился безтолковымъ сидѣньемъ, слѣдователь началъ вызывать его чутъ не каждый день.

— Ваше высокоблагородіе, отпустите душу на покаяніе! — взмолился, наконецъ, упрямый старикъ.—Работа у меня горитъ, а я здѣсь попусту болтаюсь...

— Вы сами виноваты, что затягиваете дѣло...

А изъ Кедровской дачи шли самыя волнующія извѣстія: золото оказывалось вездѣ. О Мутяшкѣ разсказывали чудеса, а потомъ слѣдовали: Малиновка, Генералка, Свистунья, Ледянка, —сдѣланы были сотни заявокъ, и вездѣ „золото оправдывалось въ лучшемъ видѣ". Всѣ новости и послѣднія извѣстія сосредоточивались, конечно, въ кабакѣ Фролки, куда рабочіе приходили прямо съ заявокъ. Въ праздники этотъ кабакъ представлялъ собой настоящій адъ, потому что въ Фотьянку народъ сходился со всѣхъ сторонъ. Разрушавшееся селеніе сразу ожило: не было избы, гдѣ не держали бы постояльцевъ, не готовили хлѣба на промысла или какую-нибудь пріисковую снасть. Главнымъ образомъ, наживали деньгу фотьянскія бабы, кормившія пришлый народъ. Однимъ словомъ, произошло какое-то волшебное превращеніе стараго каторжнаго гнѣзда, точно на него дунуло свѣжимъ воздухомъ. Мужики складывались въ артели, закупали харчи, готовили снасть, чтобы работать старателями на новыхъ вольныхъ промыслахъ. Это была бѣшеная игра на свой трудъ. Своими хозяйскими работами могли добывать золото только двое, трое крупныхъ золотопромышленниковъ, въ родѣ Ястребова, а остальные, конечно, сдадутъ пріиски старателямъ, и это волновало поднятую рабочую массу, разжигая промысловую азартность и жажду легкой наживы.

VIII.

Самое бойкое дѣло выпало на долю богатой избы Петра Васильича, гдѣ останавливались всѣ

„господа“: и Ястребовъ, и слѣдователь. Сначала старуха, баушка Лукерья, тяготилась этимъ постоемъ, а потомъ быстро вошла во вкусъ, когда посыпались легкія господскія денежки за всякіе пустяки: и за постой, и за самовары, и за харчи, и за сѣно лошадямъ, и за разныя мелкія услуги. Теперь бойкая Ѳеня оказалась какъ разъ на мѣстѣ и едва успѣвала помогать старой баушкѣ. Она и самовары подавала, и въ погребъ бѣгала, и комнаты прибирала, и господамъ услуживала.

— Ты ужъ, голубка, постарайся...—ласково говорила баушка Лукерья. — Ноги-то у тебя молодыя...

Всю жизнь прожила баушка Лукерья и не видала денегъ въ глаза, какъ сама говорила. Да и какія деньги у бабы, которая сидитъ все дома и убивается по домашности да съ ребятишками. Мужъ покойникъ выстроилъ хорошую избу, завелъ скотину и всякую домашность, и по-фотьянски семья слыла за богатую. Правда, у баушки Лукерьи были скоплены на смертный часъ рублей пятнадцать, запрятанныхъ по разнымъ угламъ— и только. А тутъ деньги повалили сразу... Крѣпкую старуху вдругъ охватила старческая жадность. Ей стало казаться, что все мало и что нужно пользоваться короткимъ счастьемъ. Не проходило дня, чтобы она не отложила рубля или двухъ. Особенно любила она, когда давали ей серебро,— вѣдь всю жизнь прожила на мѣдныя деньги, а тутъ посыпались серебрушки. Баушка Лукерья съ какой-то дѣтской радостью пересчитывала ихъ, прятала и опять добывала, чтобы лишній разъ

полюбоваться. Это перерожденіе произошло всего въ нѣсколько недѣль, и баушка Лукерья отлично изучила, кто, когда и сколько даетъ и какъ лучше взять. Старуха видѣла, что господа охотнѣе даютъ деньги Ѳенѣ, и стала ее подсылать. Конечно, молоденькая-то пріятнѣе господамъ: пошутятъ, посмѣются да и отвалятъ въ другой разъ цѣлую полтину. Сначала Ѳеня артачилась и стыдилась, а потомъ стала привыкать, чтобы хоть этимъ угодить строгой баушкѣ.

— Чего ты сумлѣваешься, глупая?—усовѣщевала ее старуха.—Дикія у нихъ деньги... Не убудетъ, небойсь, ежели и пошутятъ въ другой разъ.

Ѳеня была не жадная и съ радостью отдавала деньги баушкѣ.

Встрѣча съ отцомъ въ первое мгновеніе очень смутила ее, поднявъ въ душѣ дѣтскій страхъ къ грозному родимому батюшкѣ, но это быстро вспыхнувшее чувство такъ же быстро и улеглось, смѣнившись чѣмъ-то въ родѣ равнодушія. „Что же, чужая, такъ чужая...“ съ горечью думала про себя Ѳеня. Раньше ее убивала мысль, что она объѣдаетъ баушку, а теперь и этого не было: она работала въ свою долю, и баушка обѣщала купить ей даже веселенькаго ситца на платье.

— Старайся, милушка, и полушалокъ куплю,— приговаривала хитрая старуха, пользовавшаяся простотой Ѳени.—Гдѣ намъ, бабамъ, взять денегъ-то... Небойсь, любезный сынокъ Петръ Васильичъ не раскошелится, а все норовитъ себѣ да себѣ... Наше бабье дѣло совсѣмъ маленькое.

Эти планы баушки Лукерьи чуть не разстрои-

лись. Разъ въ воскресенье пріѣхала на Фотьянку сестра Марья. Улучивъ свободную минуту, она разговорилась съ Ѳеней.

— У васъ здѣсь, сказываютъ, веселье, не то что у насъ: сидишь, сидишь, даже одурь возьметъ... Прокопій на своей фабрикѣ, Анна съ ребятишками, мамынька все вздыхаетъ али жаловаться начнетъ, а я какъ очумѣлая... Завидно на другихъ то дѣлается.

— Тятенька-то сколько разовъ былъ у насъ,— разсказывала Ѳеня.—И не глядитъ на меня... Хуже чужого.

— И домой онъ нынче рѣдко выходитъ... Съ новой шахтой связался и днюетъ и ночуетъ тамъ. А ужъ тебѣ, сестрица, надо своимъ умомъ жить, какъ-никакъ... Дома-то все равно нечего дѣлать.

Разсказала Ѳеня, какъ наѣзжалъ нѣсколько разъ Акинфій Назарычъ и какъ заливался слезами, а потомъ пересталъ ѣздить, точно отрѣзалъ. Разсказывая, Ѳеня всплакнула: очень ужъ ей жаль было Акинфія Назарыча.

Гляди, потужитъ, потоскуетъ да и женится на своей тайболовской кержанкѣ, — говорила она сквозь слезы.—Молодой онъ, горе-то скоро износитъ... Такая на меня тоска нападаетъ подъ вечеръ, што и жизни своей не рада.

— Пируетъ, сказывали, Акинфій-то Назарычъ... Въ городъ уѣдетъ, да тамъ и хороводится. Мужчины всѣ такіе; наша сестра сиди да посиди, а они вездѣ пошли да поѣхали... Небойсь, найдетъ себѣ утѣху, коли ужъ не нашелъ.

Между прочимъ, сестра Марья подвела ловко

разговоръ къ деньгамъ, которыя получала теперь баушка Лукерья.

— Пали и до насъ слухи, какъ она огребаетъ деньги-то,—завистливо говорила Марья, испытующе глядя на сестру.—Тоже, подумаешь, счастье людямъ... Мы, вонъ, за богатыхъ слывемъ, а въ другой разъ гроша расколотаго въ дому нѣтъ. Тятенька-то не расщедрится... Въ обрѣзъ купитъ всего самъ, а денегъ ни-ни. Такъ бьемся, такъ бьемся... Иголки не на что купить.

— Знаю вѣдь я, какъ вы живете. Сладкаго не много.

— Ну, сказывали, што и тебѣ тоже перепадаетъ... Мыльниковъ какъ-то завернулъ и говоритъ: „Ѳенѣ деньги повалили, — тотъ двугривенный дастъ, другой полтину...“ Побожился, што не вретъ.

— Я баушкѣ Лукерьѣ все отдаю, Марья... На што мнѣ деньги?..

— Вотъ уже это ты совсѣмъ глупая... Баушка Лукерья свое возьметъ, не безпокойся, обжаднѣла она, сказываютъ, а ты ей всего-то не отдавай. Себѣ оставляй... Пригодятся какъ-нибудь. Не вѣкъ тебѣ жить съ баушкой Лукерьей...

Эти рѣчи не понравились Ѳенѣ. Она даже пристыдила сестру, позавидовавшую чужому счастью.

— Я баушку Лукерью ввѣкъ не забуду,—говорила Ѳеня.—Она меня призрѣла, приголубила... Не наше дѣло считать ея-то деньги.

Сестры разстались, благодаря этому разговору, довольно холодно. У Ѳени все-таки возникло какое-то недовѣріе къ баушкѣ Лукерьѣ, и она стала замѣчать за ней многое, чего раньше не замѣ-

чала, точно совсѣмъ другая стала баушка и даже изъ лица похудѣла.

А баушка Лукерья все откладывала серебро и бумажки и смотрѣла на господъ такими жадными глазами, точно хотѣла ихъ съѣсть. Разъ, когда къ избѣ подкатилъ дорожный экипажъ главнаго управляющаго, и изъ него вылѣзъ самъ Карачунскій, старуха ужасно переполошилась, куда ей помѣстить этого самаго главнаго барина. Карачунскій былъ вызванъ слѣдователемъ въ качествѣ эксперта по дѣлу Кишкина. Обѣ комнаты передней избы были набиты народомъ, и Карачунскій не зналъ, гдѣ ему сѣсть.

— Пойдемъ, касатикъ, въ заднюю избу...—предложила баушка Лукерья.—Здѣсь-то негдѣ тебѣ и присѣсть, а тамъ пока посидишь.

— Спасибо, бабушка,—охотно согласился Карачунскій.

— Можетъ самоварчикъ поставить? А то молочка али яишенку...—говорила заученнымъ тономъ старуха.—Жарко теперь лѣтнимъ дѣломъ, а слѣдователь-то еще когда позоветъ.

Карачунскій пріѣхалъ раньше, чѣмъ слѣдовало, и ему, дѣйствительно, приходилось подождать. Отворивъ дверь въ заднюю избу, онъ на порогѣ столкнулся съ Ѳеней и даже какъ будто смутился, до того это было неожиданно. Ѳеня тоже потупилась и вся вспыхнула.

— Вы какими судьбами попали сюда, Ѳедосья Родіоновна?—спрашивалъ удивленный Карачунскій.—Вотъ пріятная неожиданность...

— Я ужъ давно здѣсь... у баушки Лукерьи...

— Ага...—протянулъ Карачунскій, пристально поглядѣвъ на наблюдавшую его старуху.—Такъ... Что же, дѣло прекрасное! Отлично... Я даже что-то такое слышалъ. Бабушка, такъ вы похлопочите относительно самоварчика.

— Ссею минуту, касатикъ...

Старуха, повидимому, что-то заподозрила и вышла изъ избы съ большой неохотой. Ѳеня тоже испытывала большое смущеніе и не знала, что ей дѣлать. Карачунскій прошелся по избѣ, поскрипывая лакированными ботфортами, а потомъ быстро остановился и проговорилъ:

— Послушайте, Ѳедосья Родіоновна, вы такъ похорошѣли за послѣднее время, что я даже не узналъ васъ съ перваго раза.

Ѳеня еще больше потупилась и раскраснѣлась.

— Вы смѣетесь, Степанъ Романычъ...—тихо прошептала она со слезами на глазахъ.—Не до красоты мнѣ.

— Да, да... Догадываюсь. Ну я пошутилъ, вы забудьте на время о своей молодости и красотѣ, и поговоримъ, какъ хорошіе старые друзья. Если я не ошибаюсь, ваше замужество разстроилось?.. Да? Ну, что же дѣлать... Въ жизни приходится со многимъ мириться. Гм...

Онъ присѣлъ къ столу и своимъ душевнымъ тономъ началъ разспрашивать Ѳеню, давно ли она здѣсь, какъ ей живется вообще, не скучаетъ ли и т. д. Никто еще съ ней не говорилъ такъ, а потомъ предъ ея глазами пронеслась сцена поѣздки съ мужемъ въ Балчуговскій заводъ, когда Степанъ Романычъ уговаривалъ ихъ помириться съ

отцомъ. Да, это былъ почти родной человѣкъ, который смотрѣлъ на нее такъ участливо и ласково, а главное такъ просто, что Ѳеня почувствовала себя легко именно съ нимъ. Она подробно разсказала, какъ баушка Лукерья выманила ее изъ Тайболы и увезла сюда, какъ пріѣзжалъ нѣсколько разъ Акинфій Назарычъ, и какъ сама она истомилась въ этой неволѣ.

— Бѣдненькая...—еще ласковѣе проговорилъ Карачунскій и потрепалъ ее по заалѣвшей щекѣ.— Надо какъ-нибудь устраивать дѣло. Я переговорю съ Акинфіемъ Назарычемъ и даже могу заѣхать къ нему по пути въ городъ.

Ѳеня отрицательно покачала головой и тяжело вздохнула. Карачунскій понялъ совершавшійся въ ея душѣ переломъ и не сталъ больше разспрашивать. Баушка Лукерья втащила самоваръ.

— Ну, бабуся, какъ вы тутъ поживаете?

— Ничего, касатикъ... Пока Богъ грѣхамъ терпитъ. Ѳеня, ты ужъ тутъ собери чайку, а я въ той избѣ управляться пойду.

Карачунскій выпилъ стаканъ чаю, а когда его пригласили къ слѣдователю, сунулъ Ѳенѣ скомканную ассигнацію.

— Што вы, Степанъ Романычъ...

— За хлопоты: я ничего даромъ не люблю брать...

Изъ-за этихъ денегъ чуть не вышелъ цѣлый скандалъ. Приходилъ звать къ слѣдователю Петръ Васильичъ и видѣлъ, какъ Карачунскій сунулъ Ѳенѣ ассигнацію. Когда дверь затворилась, Петръ Васильичъ орломъ налетѣлъ на Ѳеню.

— Ну-ка, кажи, што онъ тебѣ далъ?..

Ѳеня инстинктивно сжала деньги въ кулакѣ и не знала, что ей дѣлать, но къ ней на выручку прибѣжала баушка Лукерья и оттолкнула сына.

— Мамынька, хоть издали покажи, сколь онъ далъ!..—упрашивалъ Петръ Васильичъ, заинтригованный бабьей жадностью.

Баушка Лукерья сдѣлала непростительную ошибку, въ которой сейчасъ же раскаялась,—она развернула скомканную ассигнацію при всѣхъ.

— Пять цалковыхъ!.. — изумленно прошепталъ Петръ Васильичъ, дѣлая шагъ къ матери.— Мамынька, што же это такое? Ежели, напримѣрно, ты всѣ деньги будешь загробаздывать...

— Не твое дѣло!..—зыкнула старуха.—Развѣ я твои деньги считаю?..

— Однако, это даже весьма мнѣ удивительно, мамынька... Кто у насъ, напримѣрно, хозяинъ въ дому?... Ѳеня, въ другой разъ ты мнѣ деньги отдавай, а то я съ живой кожу сниму.

— Нѣтъ, мнѣ!—сказала старуха съ искаженнымъ лицомъ.—Мнѣ!.. мнѣ!..

— Мамынька, побойся ты Бога!

— Уйди отъ грѣха, а то прокляну!..

Ѳеня ужасно перепугалась возникшей изъ-за нея ссоры, но все дѣло такъ же быстро потухло, какъ и вспыхнуло. Карачунскій уѣзжалъ, что было слышно по топоту сопровождавшихъ его людей... Петръ Васильичъ опрометью кинулся изъ избы и догналъ Карачунскаго только у экипажа, когда тотъ садился.

— Степанъ Романычъ, напредки милости просимъ!..— бормоталъ онъ, цѣпляясь за кучерское

сидѣнье.—На Дерниху поѣдешь, такъ въ другой разъ чайку напиться... молочка... Я, значитъ, здѣшній хозяинъ, а Ѳеня моя сестра. Мы завсегда...

Карачунскій съ удивленіемъ взглянулъ черезъ плечо на „здѣшняго хозяина“, ничего не отвѣтилъ и только сдѣлалъ головой знакъ кучеру. Экипажъ рванулся съ мѣста и укатилъ, заливаясь настоящими валдайскими колокольчиками. Собравшіеся у избы мужики подняли Петра Васильича насмѣхъ.

— А ты собачкой за нимъ побѣги, Петръ Васильичъ... Ахъ, прокуратъ!.. Глазъ-то кривой у него какъ заигралъ...

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ.

I.

Зыковскій домъ запустѣлъ какъ-то сразу. Родіонъ Потапычъ живмя жилъ на своей шахтѣ и домой выходилъ очень рѣдко, недѣли черезъ двѣ. Яша „старался“ на Мутяшкѣ въ партіи Кишкина, а дома изъ мужиковъ оставался одинъ безотвѣтный зять Прокопій. Прежде было людно, теперь хоть мышей лови, какъ въ пустомъ амбарѣ. Сама Устинья Марковна что-то все недомогалась, замужняя дочь Анна возилась со своими ребятишками, а правила домомъ одна вѣковушка Марья съ подраставшей Наташкой,—послѣднюю отецъ совсѣмъ забылъ, оставивъ въ полное распоряженіе баушки. Скучно было въ зыковскомъ домѣ, точно послѣ покойника, а тутъ еще Марья на всѣхъ взъѣдается.

— Да што это съ тобой попритчилось?—недоумѣвала Устинья Марковна, удивляясь сварливости дочери.—Какой бѣсъ поѣхалъ на тебѣ...

— Чему радоваться-то у насъ?—грубила Марья.—Хуже каторжныхъ живемъ... Ни свѣту, ни ра-

дости!.. Вонъ на Фотьянкѣ... Баушка Лукерья совсѣмъ осатанѣла отъ денегъ-то. Вторую избу ставятъ... Ѳенѣ баушка-то ужъ второй полушалокъ обѣщала купить да ботинки козловые.

— А тебѣ завидно стало? Нашла тоже кому и позавидовать...—корила ее мать.—Достаточно натерпѣлась всего Ѳеня-то.

— Чего она натерпѣлась-то? Живетъ да радуется... Румяная такая стала да веселая. Ужо вотъ какъ замужъ выскочитъ... У нихъ на Фотьянкѣ-то народу теперь нетолченая труба... Какъ-то цѣловальникъ Ермошка наѣзжалъ, увидалъ Ѳеню и говоритъ: „Ужо, вотъ, моя-то Дарья подохнетъ, такъ я къ тебѣ сватовъ зашлю“...

— Ну, Ермошкины-то слова, какъ худой заборъ: всякая собака пролѣзетъ... Съ пьяныхъ глазъ чего-нибудь городилъ. Да и Дарья-то еще переживетъ его десять разъ... Такія ледащія бабенки живучи.

— Не Ермошка, такъ другой выищется... На Фотьянкѣ теперь народу видимо-невидимо, точно праздникъ. Всѣ фотьянскія бабы лопатами деньги гребутъ: и постой держатъ, и харчи продаютъ, и обшиваютъ пріисковыхъ. За одно лѣто сколько новыхъ избъ поставили... Всѣхъ вольное-то золото поднимаетъ. А по вечерамъ такое веселье поднимается... Наши пріисковые гуляютъ.

— Экъ тебѣ далась эта Фотьянка, — ворчала Устинья Марковна, отмахиваясь рукой отъ пустыхъ словъ.—Набѣжала дикая копѣйка—вотъ радуются. Только къ дому легкія-то деньги не больно льнутъ, Марьюшка, а еще уведутъ за собой и старыя, которыя у кого велись.

— Много денегъ на Фотьянкѣ было раньше-то...—смѣялась Марья.—Богачи все жили. У всѣхъ-то вмѣстѣ одна дыра въ горсти... Бабы фотьянскія теперь въ кумачи разрядились да въ ботинки, да въ полушалки, а сами ступить не умѣютъ по-настоящему. Смѣшно на нихъ и глядѣть-то: кувалды кувалдами супротивъ нашихъ балчуговскихъ.

— Петръ Васильичъ, сказываютъ, больно што-то форситъ?..

— Сапоги со скрипомъ завелъ, пуховую шляпу—такъ пѣтухомъ и расхаживаетъ. Я какъ-то была, такъ онъ на меня, мамынька, и глядѣть не хочетъ. А съ баушкой Лукерьей у нихъ изъ-за денегъ дѣло до драки доходитъ: та себѣ тянетъ, а Петръ Васильичъ себѣ. Ѳенька, конешно, круглая дура, потому што все имъ отдаетъ...

— И то дура...—невольно соглашалась Устинья Марковна, въ которой шевельнулся инстинктъ бабьяго стяжательства.—Вотъ намъ и дѣлить нечего... Што отецъ дастъ, тѣмъ и сыты.

— Весь народъ изъ Балчуговъ бѣжитъ на Фотьянку...—со вздохомъ прибавляла Марья.

Анна рѣдко принимала участіе въ этихъ разговорахъ, занятая своими ребятишками. Ей было до себя. Да и вообще это была смирная и безотвѣтная бабенка, характеромъ вся въ мать. Подраставшая Наташка была у тетки „въ нянькахъ“ и безъ утыху возилась съ ребятами. Это бойкая дѣвочка въ тяжелой обстановкѣ дѣдовскаго дома томилась больше всѣхъ и жадно вслушивалась въ наговоры вѣчно роптавшей Марьи. До дѣтскихъ ушей долеталъ далекій гулъ Фотьянки, и Наташа пред-

ставляла себѣ что-то необыкновенное, совсѣмъ сказочное. Исторія тетки Ѳени въ ея головѣ тоже была окружена поэтическими подробностями и сейчасъ сливалась неразрывно съ бойкой жизнью на промыслахъ. Теперь вездѣ говорили про Фотьянку. Отецъ Яша въ цѣлое лѣто показывался дома всего раза два, чтобы повидать ребятишекъ и захватить одежи и харчей. Онъ сильно исхудалъ въ лѣсу и еще больше облысѣлъ.

— Ну, показывай золото-то... — приставала къ нему Устинья Марковна.—Хоть бы поглядѣть, какое оно бываетъ.

— Погоди, мамынька, будетъ и золото, — коротко отвѣчалъ Яша, таинственно улыбаясь.— Тогда сама увидишь...

— Вотъ затощалъ ты, Яшинька, это-то я вижу.. Охъ, и проклятенное ваше золото, ежели разобрать. А гдѣ Мыльниковъ-то?..

— Робитъ съ нами на Мутяшкѣ, только плохая у насъ на него надежа: и лѣнивъ, и вороватъ.

— Отца-то ты давно не видалъ? Зашелъ бы на шахту, по пути вѣдь...

— Нѣтъ, мамынька, достаточно съ меня... Обругаетъ, какъ увидитъ. Хоть и тяжело на промыслахъ, а все-таки своя воля... Самъ большой, самъ маленькій.

Появленіе отца для Наташки было настоящимъ праздникомъ. Яша Малый любилъ свое гнѣздо какой-то болѣзненной любовью и ужасно скучалъ о дѣтяхъ. Чтобы повидать ихъ, онъ долженъ былъ сдѣлать пѣшкомъ верстъ шестьдесятъ, но все это выкупалось радостью свиданія. И Наташка

и маленькій Петрунька такъ и повисли на отцовской шеѣ. Особенно ластилась Наташка, скучавшая по отцѣ болѣе сознательно. Но Яша точно стѣснялся радоваться открыто и потихоньку уходилъ съ ребятишками куда-нибудь въ огородъ и тамъ пѣстовалъ ихъ со слезами на глазахъ.

— Тятенька, золотой, возьми меня съ собой!— каждый разъ просила Наташка.—Тошнехонько мнѣ здѣсь...

— Погоди, возьму... Куда тебя въ лѣсъ-то, глупая, я возьму?..

— Я обшивать бы тебя стала, рубахи мыть, стряпать—я все умѣю.

— А Петрунька какъ?

— И Петруньку съ собой возьмемъ...

— Погоди, говорю.

— Да, тебѣ-то хорошо,—корила Наташка, надувая губы.—А здѣсь-то каково: баушка Устинья ворчитъ, тетка Марья ворчитъ... Все меня чужимъ хлѣбомъ попрекаютъ. Я и то ужъ бѣжать думала... Уйду въ городъ да въ горничныя и наймусь. Мнѣ пятнадцатый годъ въ Спожинки пойдетъ.

— Вотъ ты и вышла глупая Наташка: а Петрунька куды безъ тебя?..

Только съ отцомъ и отводила Наташка свою дѣтскую душу и провожала его каждый разъ горькими слезами. Яша и самъ плакалъ, когда прощался со своимъ гнѣздомъ. Каждое утро и каждый вечеръ Наташка горячо молилась, чтобы Богъ поскорѣе послалъ тятенькѣ золота.

Послѣднее появленіе Яши сопровождалось большой непріятностью. Забунтовала, къ общему уди-

вленію, безотвѣтная Анна. Она замѣтила, что Яша уже не въ первый разъ все о чемъ-то шептался съ Прокопіемъ, и заподозрила его въ дурныхъ замыслахъ: какъ разъ сомуститъ смирнаго мужика и уведетъ за собой въ лѣсъ. Долго ли до грѣха. И то весь народъ точно белены объѣлся...

— Што вы, сестрица Анна Родіоновна!—уговаривалъ ее Яша.—Неужто и словомъ перемолвиться намъ нельзя съ Прокопіемъ?.. Сказали, не укусили никого...

— Знаю я, о чемъ вы шепчетесь!—выкрикивала Анна.—Трое ребятишекъ на рукахъ: куды я съ ними дѣваюсь. Ты вотъ своихъ-то бросилъ дѣдушкѣ на шею, да еще Прокопія смущаешь...

— Ахъ, сестрица, какія вы слова выражаете!.. Денно-ночно я думаю объ ребятишкахъ-то, а вы: бросилъ.

Какъ на грѣхъ, Прокопій прикрикнулъ на жену и это подняло цѣлую бурю. Анна такъ заголосила, такъ запричитала, что вступились и Устинья Марковна и Марья. Однимъ словомъ, всѣ бабы ополчились, соединившись въ одно причитавшее и ревѣвшее цѣлое.

— Да перестаньте вы, бабы!—уговаривалъ Прокопій.—Безъ васъ тошно...

— Я тебѣ, сомустителю, зѣнки выцапаю!—ругала Яшу сестрица Анна.—Самъ-то съ голоду подохнешь да и насъ уморить хочешь...

Въ сущности, бабы были правы, потому что у Прокопія съ Яшей дѣйствительно велись любовные тайные переговоры о вольномъ золотѣ. У безотвѣтнаго зыковскаго зятя все сильнѣе въѣда-

лась въ голову мысль о томъ, какъ бы уйти съ фабрики на вольную работу. Онъ вынашивалъ свою мечту съ упорствомъ всѣхъ мягкихъ натуръ и затаился даже отъ жены. Вся сцена закончилась тѣмъ, что мужики бѣжали съ поля битвы самымъ постыднымъ образомъ и какъ-то сами собой очутились въ кабакѣ Ермошки.

— Жизнь треклятая!—проговорилъ Прокопій, бросая свою шапку о полъ.—Очумѣлъ я съ бабами, Яша...

— Погоди, зять, устроимся,—утѣшалъ Яша покровительственнымъ тономъ.—Дай срокъ, утвердимся... Только бы однова дыхнуть. А на бабъ ты не гляди: извѣстно, бабы. Онѣ, братъ, нашему брату въ томъ родѣ, какъ лошади желѣзныя путы...Знаю по себѣ, Проня. А въ лѣсу-то мы съ тобой зажили бы припѣваючи... Надоѣла, поди, фабрика-то?

— Хуже смерти... Какъ цѣпной песъ у конуры хожу. Ежели бы не тятенька Родивонъ Потапычъ, одного часу не остался бы...

Этотъ вольный порывъ, впрочемъ, смѣнился у Прокопія на другой же день молчаливымъ уныніемъ, и Анна точила его все время, какъ ржавчина.

— Туда же расхрабрился, ворона!—выкрикивала она.—Вотъ тятенька узнаетъ, такъ онъ тебѣ покажетъ.

Устинья Марковна поддакивала дочери своимъ молчаніемъ и вздохами, и только заступилась одна Марья.

— Будетъ тебѣ, Анна... Надоѣло слушать-то.

Не успѣли проводить Яшу на промысла, какъ

накатилась новая бѣда. Разъ вечеромъ кто-то осторожно постучалъ въ окно. Устинья Марковна выглянула въ окно и даже ахнула: передъ воротами стояла чья-то „долгушка“, заложенная парой, а подъ окномъ расхаживалъ Мыльниковъ съ кнутикомъ.

— Въ гости пріѣхалъ,тещинька...—объяснилъ онъ. —Пусти-ка въ избу, дѣльце есть маленькое.

— Да ты бы днемъ, Тарасъ, а то на ночь глядя лѣзешь.

— Говорю, дѣло...

Когда Марья выскочила отворить ворота, она была изумлена еще больше: съ Мыльниковымъ пріѣхалъ Кожинъ. Марья инстинктивно загородила дорогу, но Кожинъ прошелъ мимо, какъ сонный.

— Не тронь его...—объяснилъ Мыльниковъ, оттаскивая Марью.—Не бойсь, не потронетъ.

Отъ Мыльникова, по обыкновенію, пахнуло перегорѣлой водкой, какъ изъ винной бочки. Наклонившись, онъ удушливо прошепталъ:

— А новость слышала, Марьюшка?

— Какую новость?..

— А такую... Все будешь знать, скоро состаришься.

Устинья Марковна стояла посреди избы, когда вошелъ Кожинъ. Она въ изумленіи раскрыла ротъ, замахала руками и безсильно опустилась на ближайшую лавку, точно предъ ней появилось привидѣніе. Отъ охватившаго ее ужаса старуха не могла произнести ни одного слова, а Кожинъ стоялъ у порога и смотрѣлъ на нее ничего невидѣ-

вшимъ взглядомъ. Эта нѣмая сцена была прервана только появленіемъ Марьи и Мыльникова.

— Устиньѣ Марковнѣ, любезной нашей тещѣ, многая лѣта...—заговорилъ Мыльниковъ съ пьяной развязностью.—А слышала новость?..

— Не подходи ты ко мнѣ близко-то, Тарасъ...— причитала Устинья Марковна.—Не до новостей намъ... Какъ увидѣла тебя въ окошко-то, точно у меня што оборвалось въ середкѣ. До смерти я тебя боюсь... Съ добромъ ты къ намъ не приходишь.

— Это ужъ не моя причина, тещинька...

— Да говори толкомъ-то!—понукала его Марья, сгоравшая отъ нетерпѣнія.—Ну, чего принесъ?

— А ты вотъ его спрашивай,—указалъ Мыльниковъ на Кожина.—Мое дѣло сторона... Да сперва пригласи садиться, сестрица. Честь завсегда лучше безчестья...

— Да ну тебя, болтушка... Садитесь.

Кожинъ, пошатываясь, прошелъ къ столу, сѣлъ на лавку и съ удивленіемъ посмотрѣлъ кругомъ, какъ человѣкъ, который хочетъ и не можетъ проснуться. Марья замѣтила, какъ у него тряслись губы. Ей сдѣлалось страшно, какъ и матери. Или пьянъ Кожинъ или не въ своемъ умѣ.

— Окся-то моя опредѣлилась къ баушкѣ Лукерьѣ,—проговорилъ, наконецъ, Мыльниковъ, удушливо хихикая.—Сама, стерва, пришла къ ней...

— А какъ же Ѳеня?—за-разъ спросили Устинья Марковна и Марья.

— Приказала долго жить... тьфу!.. То, бишь, жива она, а только тово...

Имя Ѳени заставило очнуться Кожина, точно по нему выстрѣлили. Онъ хотѣлъ что-то сказать, пошевелилъ губами и махнулъ рукой.

— Да говори ты толкомъ...—приставалъ къ нему Мыльниковъ.—Убѣгла, значитъ, наша Ѳедосья Родивоновна. Ну, такъ и говори... И съ собой ничего не взяла, все бросила.—Вотъ какое вышло дѣло.

— У Карачунскаго она...—прошепталъ наконецъ Кожинъ.—Своими глазами видѣлъ. Въ горничныя нанялась...

Онъ ударилъ кулакомъ по столу и застоналъ, какъ раненый человѣкъ, котораго неосторожно задѣли за больное мѣсто. Марья смотрѣла на Устинью Марковну, которая безсмысленно повторяла:

— У Карачунскаго? Зачѣмъ ей быть у Карачунскаго? Какъ же баушка-то Лукерья не доглядѣла? Што-нибудь да не такъ...

— Нѣтъ, такъ!..—отвѣтилъ Кожинъ.—Извѣстно, какія горничныя у Карачунскаго... Днемъ горничная, а ночью сударка. А кто ее довелъ до этого? Вы довели... вы!.. Ѳеня моя голубка... родная... Што ты сдѣлала надъ собой?..

— Убьетъ онъ Карачунскаго,—спокойно замѣтилъ Мыльниковъ.—Это хоть до кого доведись...

Опомнилась первой Марья и проговорила:

— Да вѣдь ты женился, сказываютъ, Акинфій Назарычъ? Какое тебѣ дѣло до нашей Ѳени?.. Ты самъ по себѣ, она сама по себѣ.

— А ежели она у меня съ ума нейдетъ?.. Какъ живая стоитъ... Не могу я позабыть ее, а жену не люблю. Мамынька женила меня, не своей волей... Чужая мнѣ жена. Видѣть ее не могу... День и ночь

думаю о Ѳенѣ. Какой я теперь человѣкъ сталъ: въ яму бросить—вся мнѣ цѣна. Какъ я узналъ, что она ушла къ Карачунскому,—у меня свѣтъ изъ глазъ вонъ. Ничего не понимаю... Запрягъ долгушку, бросился сюда, ѣду мимо господскаго дома, а она въ окно смотритъ... Што тутъ со мной было и не помню, а вотъ спасибо Тарасъ меня изъ кабака вытащилъ.

— Да когда это было-то, Акинфій Назарычъ?

— Не упомню, не то сегодня, не то вчера... Горюшко лютое, бѣда моя смертная пришла, Устинья Марковна. Раздѣлились мы вѣрами, а во мнѣ душа полымемъ горитъ... Погляжу кругомъ, а все красное. Ахъ, тоска смертная... Ѳенюшка, родная, што ты сдѣлала надъ своей головой?.. Лучше бы ты померла...

Заголосили бабы отъ привезенной Тарасомъ новости, какъ не голосятъ надъ покойниками, а Кожинъ уронилъ голову на столъ, какъ зарѣзанный.

— Ну, пошли!..—удивлялся Мыльниковъ.—Да я самъ пойду къ Карачунскому и два раза его выворочу наоборотъ... Приведу сюда Ѳеню, вотъ вамъ и весь сказъ!.. Перестань, Акинфій Назарычъ... Отъ живой жены о чужихъ бабахъ не горюютъ...

— Отстань... убью!..—шепталъ Кожинъ, глядя на него дикими глазами.

— А што Родіонъ-то Потапычъ скажетъ, когда узнаетъ?—повторяла Устинья Марковна. — Лучше ужъ Ѳенѣ оставаться было въ Тайболѣ: хоть не настоящая, а все же какъ будто и жена. А теперь на улицу глаза нельзя будетъ показать... У всѣхъ на виду наше-то горе!..

II.

Мыльниковъ, дѣйствительно, отправился отъ Зыковыхъ прямо къ Карачунскому. Его подвезъ до господскаго дома Кожинъ, который остался у воротъ дожидаться, чѣмъ кончится все дѣло.

— Ты меня тутъ подожди,—уговаривался Мыльниковъ.—Я и Ѳеню къ тебѣ приведу... Мнѣ только одно слово ей сказать. Какъ изъ ружья выстрѣлю...

Карачунскій былъ дома. Въ передней Мыльникова встрѣтилъ лакей Ганька и, по своему холуйскому обычаю, хотѣлъ сейчасъ же заворотить гостя.

— Мнѣ Ѳедосью Родивоновну повидать, своячину...—упирался Мыльниковъ въ дверяхъ.—Одно словечко молвить...

— Ступай, ступай!—напиралъ Ганька.—Я вотъ покажу тебѣ словечко... Не велѣно пущать.

Такое поведеніе лакея Ганьки возмутило Мыльникова, и онъ безъ лишнихъ словъ вступилъ съ холуйскимъ отродьемъ въ рукопашную. На крикъ Ганьки въ дверяхъ гостиной мелькнуло испуганное лицо Ѳени, а потомъ показался самъ Карачунскій.

— Ваше благородіе, Степанъ Романычъ...—взмолился Мыльниковъ, изнемогавшій въ борьбѣ съ Ганькой.—Одно словечушко молвить.

— Ну, говори... — коротко отвѣтилъ Карачунскій, узнавшій Мыльникова. — Что тебѣ нужно, Тарасъ?

— Прикажите Ганькѣ уйти... Имѣю до тебя, Степанъ Романычъ, особенное дѣльце.

Ганька былъ удаленъ, и Мыльниковъ, оправивъ потерпѣвшій въ схваткѣ костюмъ, проговорилъ удушливымъ шопотомъ:

— Кожинъ меня за воротами ждетъ, Степанъ Романычъ... Очертѣлъ онъ окончательно и дуракъ дуракомъ. Я съ нимъ теперь отваживаюсь вторыя сутки... А Ѳенѣ я сродственникъ: моя-то жена родная ейная сестра, значитъ, Татьяна. Ну, значитъ, я и пришелъ объявиться, потому какъ дѣло это особенное. Дома ревутъ у Ѳени, Кожинъ грозится зарѣзать тебя, а я съ емя, со всѣми, отваживаюсь.. Вотъ какое дѣльце, Степанъ Романычъ. Силушки моей не стало...

— Я Кожина не боюсь, — спокойно отвѣтилъ Карачунскій. — И даже готовъ объясниться съ нимъ.

— Што ты, Степанъ Романычъ: очертѣлъ человѣкъ, а ты разговаривать съ нимъ. Мнѣ впору съ нимъ отваживаться... Ежели бы ты, Степанъ Романычъ, отвелъ мнѣ дѣляночку на Ульяновомъ кряжѣ,—прибавилъ онъ совершенно другимъ тономъ,—ужъ такъ и быть, постарался бы для тебя... Гора-то велика, што тебѣ стоитъ махонькую дѣляночку отвести мнѣ?

Этотъ шантажъ возмутилъ Карачунскаго, и онъ сморщился:

— Нѣтъ, не могу...—рѣшилъ Карачунскій послѣ короткой паузы.—Отвести тебѣ дѣляночку и другимъ тоже надо отводить.

— Ахъ, анделъ ты мой, да вѣдь то другіе, а я не чужой человѣкъ,—съ нахальствомъ объяснялъ Мыльниковъ.—Ужъ я бы постарался для тебя.

— Нѣтъ, не могу... — еще рѣшительнѣе отвѣтилъ Карачунскій, повернулся въ дверяхъ и ушелъ.

У Карачунскаго слово было закономъ, и Мыльниковъ ушелъ бы ни съ чѣмъ, но когда Карачунскій проходилъ къ себѣ въ кабинетъ, его остановила Ѳеня.

— Степанъ Романычъ, дозвольте мнѣ переговорить съ зятемъ?

— Нѣтъ, это лишнее, — ласково отговаривалъ Карачунскій.—Я уже сказалъ все... Онъ требуетъ невозможнаго, да и вообще для меня это подозрительный человѣкъ.

Но Ѳеня такъ ласково посмотрѣла на него, что Карачунскій только махнулъ рукой. О, женщины... Вездѣ онѣ одинаковы со своими просьбами, слезами и ласками!.. Карачунскій еще лишній разъ убѣдился въ этомъ и почувствовалъ впередъ, что ему придется измѣнить своему слову для новаго „родственника". Послѣднее слово кольнуло его, но онъ опять видѣлъ одни ласковые глаза Ѳени и ея просящую улыбку. Развѣ можно отказать женщинѣ? Ѳеня въ это время уже была въ передней и умоляла Мыльникова, чтобы онъ увезъ куда-нибудь отъ грѣха дожидавшагося у воротъ Кожина.

— И увезу, а ты мнѣ руководствуй дѣляночку на Краюхиномъ увалѣ,—просилъ въ свою очередь Мыльниковъ.—Кедровскую-то дачу бросилъ я, Ѳенюшка... Ну, ее къ чорту! И канпанія у насъ

была: пришей хвостъ кобылѣ. Всѣ врозь, а главный заводчикъ Петръ Васильичъ... Такая кривая ерахта!.. Съ Ястребовымъ снюхался и золото для него скупаетъ... Да вѣдь ты знаешь, чего я тебѣ-то разсказываю. А ты дѣляночку-то приспособь... Въ нѣкоторое время пригожусь, Ѳенюшка. Безъ меня, какъ безъ поганаго ведра, не обойдешься...

— Дома-то у насъ ты былъ, Тарасъ?

— Сейчасъ оттуда... Вмѣстѣ съ Кожинымъ были. Ну, тамъ Мамай воевалъ: какъ у́чали бабы ревѣть, какъ у́чали причитать—святыхъ вонъ понеси. Ну, да ты не сомлѣвайся, Ѳенюшка... И не такая бѣда изнашивается. А главное, оборудуй мнѣ дѣляночку...

— А што мамынька?—спрашивала Ѳеня свое.— Ахъ, изболѣлось мое сердечушко, Тарасъ... Не увижу я ихъ, видно, больше, пропала моя головушка...

— Перестань печалиться, глупая, — утѣшалъ Мыльниковъ.—Москва нашимъ-то слезамъ не вѣритъ... А ты мнѣ дѣляночку-то охлопочи. Изнищалъ я въ конецъ..,

— Ахъ, какой ты, Тарасъ, непонятный! Я про свою голову, а онъ про дѣлянку. Какъ я раздумаюсь подъ вечеръ, такъ въ пору руки на себя наложить. Увидишь мамыньку, кланяйся ей... Пусть не печалится и меня не винитъ: такая ужъ, видно, выпала мнѣ судьба злосчастная...

— Ничего, привыкнешь. Ужо погляди, какая гладкая да сытая на господскихъ хлѣбахъ будешь. А главное, мнѣ дѣляночку... Вѣдь мы не чужи, слава Богу, съ Степаномъ-то Романычемъ теперь...

При послѣднихъ словахъ Мыльниковъ подмигнулъ и прищелкнулъ языкомъ, заставивъ Ѳеню покраснѣть, какъ огонь. Она убѣжала, не простившись, а Мыльниковъ стоялъ и ухмылялся. „Эхъ, бабы, всѣхъ-то васъ взять да сложить вмѣстѣ— одинъ грѣхъ выйдетъ“.

— Эй, ты, галманъ, отворяй дверь!—вслухъ обратился Мыльниковъ къ появившемуся лакею Ганькѣ.—Безъ очковъ-то не узналъ Тараса Мыльникова?.. Я васъ всѣхъ научу, какъ на свѣтѣ жить.

Выйдя на крыльцо, Мыльниковъ еще постоялъ, покрутилъ своей безпутной головой и зашагалъ къ воротамъ.

— Ну, твое дѣло табакъ, Акинфій Назарычъ,— объявилъ онъ Кожину съ приличной торжественностью.—Совсѣмъ вѣдь Ѳеня-то оболоклась было, да тотъ змѣй-то не пустилъ... Какъ уцѣпился въ нее, ну, извѣстно, женское дѣло. Знаешь, што я придумалъ: надо безпремѣнно на Фотьянку гнать, къ баушкѣ Лукерьѣ; безъ баушки Лукерьи невозможно...

Послѣднее придумалъ Мыльниковъ, стоя на крыльцѣ. Ему не хотѣлось шагать до Фотьянки пѣшкомъ, а Кожинъ на своей парочкѣ лихо довезетъ. Онъ, вообще, повиновался теперь Мыльникову во всемъ, какъ ребенокъ. По пути они заѣхали еще къ Ермошкѣ раздавить полштофъ, и Мыльниковъ шепнулъ кабатчику:

— Битый небитаго везетъ, Ермолай Семенычъ...

— Скоро ли тебя повѣсятъ, Тарасъ?—отвѣтилъ Ермошка въ тонъ.—Я веревку пожертвую на свой счетъ...

— Еще осина не выросла, на которой насъ съ тобой повѣсятъ...

Кожинъ все время молчалъ и пилъ. Даже Ермошка его пожалѣлъ: совсѣмъ замотался мужикъ.

Всю дорогу до Фотьянки Мыльниковъ болталъ безъ утыху и даже разсказалъ, какъ онъ пилъ чай съ Карачунскимъ сегодня, пока Кожинъ ждалъ его у воротъ господскаго дома.

— Мнѣ, главная причина, выманить Ѳеню-то надо было... Ну, выпилъ стакашикъ господскаго чаю, потому какъ зачѣмъ же я буду обижать барина напрасно. А теперь пріѣдемъ на Фотьянку: первымъ дѣломъ самоваръ... Я какъ домой къ баушкѣ Лукерьѣ, потому моя Окся утвердилась тамъ замѣсто Ѳени. Вѣдь поглядѣть, такъ дура набитая, а тутъ ловко подвернулась... Она ужъ во второй разъ съ нашего пріиску убѣжала да прямо къ баушкѣ, а та безъ Ѳени, какъ безъ рукъ. Ну, Окся и соотвѣтствуетъ по всѣмъ частямъ...

На Фотьянку они пріѣхали ужъ совсѣмъ поздно, хотя въ избѣ Петра Васильича еще и свѣтился огонекъ, — это сидѣлъ Ястребовъ и велъ тайную бесѣду съ хозяиномъ.

— Ты куда прешь-то, ни свѣтъ ни заря?—накинулась баушка Лукерья на Мыльникова.—Дня-то тебѣ мало, шатущему?

— Объ Оксѣ больно соскучился, баушка...—вралъ Мыльниковъ, не сморгнувъ глазомъ.—Трудно, поди, ей управляться одной-то. Непривычное дѣло, вотъ главная причина...

— Воду на твоей Оксѣ возить—вотъ это въ са-

мый разъ,—ворчала старуха.—Въ два-то дня она у меня всю посуду перебила... Да ты, Тарасъ, никакъ съ ночевой пріѣхалъ? Ну нѣтъ, братъ, ты эту моду оставь... Вонъ Петръ Васильичъ поѣдомъ съѣлъ меня за твою-то Оксю. „Ее,—говоритъ,—корми, да еще родня—шаромыжники навяжутся...“ Такъ напрямки и отрѣзалъ.

— Вотъ такъ уважилъ... Што же это такое, баушка Лукерья? На печи проѣзду не стало мнѣ отъ сродственниковъ... Ежели такія ваши рѣчи, такъ я возьму Оксю-то назадъ.

— Сдѣлай милость, бери... Не заплачемъ. Говорю, всю посуду расколотила. А ты не накладывайся ночевать у насъ: безъ тебя тѣсно.

— Ахъ, Боже мой... Вотъ такъ роденьку Богъ далъ!..—удивлялся Мыльниковъ, распоясываясь.— Я сломя голову къ тебѣ изъ Балчуговъ гоню, а она меня вонъ какимъ шампанскимъ встрѣтила...

— Да ты съ какой радости разгонялся-то?

— А я съ Кожинымъ цѣльныхъ три дни путался. Онъ за воротами остался... Скажи ему, баушка, штобы ѣхалъ домой. Нечего ему здѣсь дѣлать... Я для родни въ ниточку вытягиваюсь, а мнѣ вонъ какая отъ васъ честь. Надоѣло, признаться сказать...

Баушка Лукерья сама вышла за ворота и уговорила Кожина ѣхать домой. Онъ молча ее выслушалъ, повернулъ лошадей и пропалъ въ темнотѣ. Старуха постояла, вздохнула и побрела въ избу. Мыльниковъ уже спалъ, какъ зарѣзанный, растянувшись на лавкѣ.

— Этакіе безстыжіе глаза... — подивилась на

него старуха, качая головой. — То-то путаникъ мужиченко!.. И сонъ у нихъ у всѣхъ одинъ: Оксято такъ же дрыхнетъ, какъ колода. Присунулась до мѣста и спитъ... Охъ, согрѣшила я! Не нажить, видно, мнѣ другой-то Ѳени... Ахъ, грѣхи, грѣхи!..

Баушка Лукерья, снѣдаемая недугомъ своей старческой жадности, ужасно тосковала о Ѳенѣ, являвшейся для нея той сказочной курицей, которая несла золотыя яйца. Привѣтливая была бабенка, обходительная, и всякое дѣло у ней въ рукахъ горѣло. А какъ ушла Ѳеня, точно все ножомъ обрѣзало... Гдѣ же одной старухѣ управиться, да и не умѣла она потрафить постояльцамъ, какъ Ѳеня. Баушка Лукерья не разъ даже всплакнула по Ѳенѣ, проклиная Карачунскаго, ухватившаго ласковую бабенку. Польстилась Ѳеня на сладкое господское житье и позабыла про свою дѣвичью честь.

Мыльниковъ съ намѣреніемъ оставилъ до слѣдующаго дня разсказъ о томъ, какъ былъ у Зыковыхъ и Карачунскаго, — онъ разсчитывалъ опохмелиться на счетъ этихъ новостей и не ошибся. Баушка Лукерья сама послала Оксю въ кабакъ за полштофомъ и съ жаднымъ вниманіемъ прослушала всю болтовню Мыльникова, напрасно стараясь отличить, гдѣ онъ говоритъ правду и гдѣ вретъ.

— Кланяться наказывала тебѣ, баушка, Ѳенято, — вралъ Мыльниковъ, хлопая одну рюмку за другой. — „Скажи, — гритъ, — што скучаю, а промежду прочимъ весьма довольна, потому какъ Степанъ Романычъ баринъ добрый и всякое уваженіе отъ него вижу...“

— Песъ онъ, Степанъ-то Романычъ. Не стало ему другихъ дѣвокъ? Изъ городу привезъ бы...

— Значитъ, Ѳеня ему по самому скусу пришлась... хе-хе!.. Харчъ, а не дѣвка: ломтями рѣжь да ѣшь. Ну, а што было, баушка, какъ я къ тещѣ любезной пріѣхалъ да объявилъ имъ про Ѳеню, што, молъ, такъ и такъ... Какъ взвыли бабы, какъ запричитали, какъ заголосили истошными голосами—ложись помирай. И тебѣ, баушка, досталось на орѣхи. „Захвалилась,—говорятъ,—старая крымза, а Ѳеню не уберегла...“ Родня-то, баушка, по нынѣшнимъ временамъ вездѣ такъ разговариваетъ. Такъ отзолотили тебя, што лучше и не бываетъ, вровень съ грязью сдѣлали.

Слушалъ эти разсказы и Петръ Васильичъ, но относился къ нимъ совершенно равнодушно. Онъ отступился отъ матери, предоставивъ ей пользоваться всѣми доходами отъ постояльцевъ. Будетъ Окся или другая дѣвка — ему было все равно. Вранье Мыльникова просто забавляло вороватаго домовладыку. Да и мамынька пусть покипятится за свою жадность... У Петра Васильича было теперь свое дѣло, въ которое онъ ушелъ весь.

Опохмелившись, Мыльниковъ совралъ еще что-то и отправился въ кабакъ къ Фролкѣ, чтобы послушать, о чемъ народъ галдитъ. У кабака всегда народъ сбивался въ кучу, и всѣ новости собирались здѣсь, какъ въ узлѣ. Когда Мыльниковъ уже подходилъ къ кабаку, его чуть не сшибла съ ногъ бойко катившаяся телѣга. Онъ хотѣлъ обругаться, но оглянулся и узналъ любезную сестрицу Марью Родивоновну.

— Куды ускорилась, сестрица?

— А баушку провѣдать поѣхала,—нехотя отвѣчала Марья, понукая лошадь.

— Такъ-съ... Настоящее уваженіе старушкѣ дѣлаете.

Когда телѣга повернула за уголъ, Мыльниковъ раскинулъ умомъ и живо сообразилъ, зачѣмъ ѣхала провѣдывать баушку любезная сестрица. Ухмыльнувшись, онъ подумалъ вслухъ:

— Поздно-съ, Марья Родивоновна... Мѣстечко-то занято.

На этотъ разъ Мыльниковъ ошибся. Пока онъ прохлаждался въ кабакѣ, судьба Окси была рѣшена: ея мѣсто заняла сама любезная сестрица Марья Родивоновна.

— Ты теперь ступай, голубка, домой,—объясняла баушка Лукерья ничего непонимавшей Оксѣ.— Спасибо, всю посуду переколотила...

— Не пойду...—упрямо повторяла Окся, которой нравилось жить у баушки.

Произошла комическая сцена, въ которой долженъ былъ принять участіе даже Петръ Васильичъ.

— Какъ же ты, милая, не пойдешь, ежели тебѣ сказано? — разъяснялъ онъ Оксѣ.—Надо и честь знать...

— Да што ты ко мнѣ привязался, кривой чортъ?— озлилась, наконецъ, Окся, перенеся все свое неудовольствіе на Петра Васильича. — Сказала, не пойду...

— Мамынька, что же это такое? — взмолился Петръ Васильичъ.—Я вѣдь, пожалуй, и шею ис-

костыляю, коли на то пошло. Кто у насъ въ дому хозяинъ?..

Баушка Лукерья сунула Оксѣ за ея службу двугривенный и вытолкала за дверь. Это были первыя деньги, которыя получила Окся въ свое полное распоряженіе. Она зажала ихъ въ кулакъ и такъ шла все время до Балчуговскаго завода, а дома спрятала деньги въ сѣняхъ, въ расщелившемся бревнѣ. Оксю тоже охватила жадность, съ той разницей отъ баушки Лукерьи, что Окся знала, куда ей нужны деньги.

Мысль о бѣгствѣ изъ отцовскаго дома явилась у Марьи въ тотъ же роковой вечеръ, когда она узнала о новой судьбѣ сестры Ѳени. Она не спала всю ночь, раздумывая, какъ устроить ей все дѣло. Что ей ждать въ отцовскомъ домѣ? Изъ-за отца и въ дѣвкахъ осталась, а когда старикъ умретъ, тогда и дѣваться будетъ некуда. Домъ зятю Прокопію достанется „на дѣтей“, какъ обѣщалъ Родіонъ Потапычъ, не разсчитывавшій на своего Яшу, какъ на достойнаго наслѣдника. Жаль было Марьѣ старухи-матери, да жить-то вѣдь ей, Марьѣ, а мать свой вѣкъ изжила. Дѣвушка со слезами простилась съ роднымъ гнѣздомъ, сама запрягла лошадь и отправилась на Фотьянку.

III.

Компанія Кишкина и существовала и какъ-будто не существовала. Дѣло въ томъ, что Мыльниковъ сбѣжалъ окончательно, обругавъ всѣхъ на чемъ

свѣтъ стоитъ, а затѣмъ Петръ Васильчъ бывалъ только „находомъ“,—придетъ, повернется денекъ и былъ таковъ. Настоящими рабочими оставались самъ Кишкинъ, Яша Малый, Матюшка, Турка и Мина Клейменый,—послѣдній въ артели отвѣчалъ за кашевара. Миляевъ мысъ такъ и остался спорнымъ, а работа шла на отводахъ вверхъ по р. Мутяшкѣ. Маякова слань была исправлена лучше, чѣмъ въ казенное время, и дорога не стояла часу,—шли и ѣхали рабочіе на новые промысла и съ промысловъ. Въ одно лѣто все теченіе Меледы съ притоками сдѣлалось неузнаваемымъ: лѣсъ вездѣ вырубленъ, земля изрыта, а вода текла взмученная и желтая, унося съ собой послѣдніе слѣды горячей промысловой работы.

Дѣла у Кишкина шли ни шатко, ни валко. Онъ много выигралъ тѣмъ, что получилъ отводъ пріиска раньше другихъ и, слѣдовательно, раньше могъ начать работу. Пріискъ получилъ названіе Сиротки,—по логу, который выходилъ на Мутяшку съ правой стороны. Для работы „сильной рукой“ нехватало средствъ, а поэтому дѣло велось наполовину старательскими работами, наполовину иждивеніемъ самого Кишкина, раздобывшагося деньгами къ общему удивленію. Никто и не подозрѣвалъ, что эти таинственныя деньги были ему даны знаменитымъ секретаремъ Ильей Ѳедотычемъ. Это была своего рода взятка, чтобы Кишкинъ не запуталъ знаменитаго дѣльца въ проклятое дѣло о Балчуговскихъ промыслахъ.

— Ты у меня смотри...—погрозилъ Илья Ѳедотычъ, выдавая деньги.—Знаешь поговорку: клопъ клопа ѣстъ—послѣдній самъ себя съѣстъ...

По-настоящему работы на Сироткѣ нужно было начать съ генеральной развѣдки всей площади пріиска, т.-е. пробить нѣсколько шурфовъ въ шахматномъ порякѣ, чтобы прослѣдить простираніе золотоноснаго пласта, его мощность и всѣ условія залеганія. Но подобная развѣдка стоила бы около тысячи рублей, а такихъ денегъ не было и въ поминѣ. Еще больше стоила бы „вскрыша розсыпи“, т.-е. снятіе верхняго пласта пустой породы, что дѣлается на большихъ хозяйскихъ работахъ. Это и выгодно, и впередъ можно разсчитать содержаніе золота. Но пришлось вести работы старательскимъ способомъ: взяли уголъ розсыпи и пошли вверхъ по логу „ортами“. За-разъ производились и вскрыша верховика и промывка песковъ. Содержаніе золота оказалось порядочное, хотя и не вездѣ одинаковое.

— Какая это работа: какъ мыши краюшку хлѣба грыземъ,—жаловался Кишкинъ.—Все равно, какъ лѣстницу мести съ нижней ступеньки.

Въ „забоѣ“, гдѣ добывались пески, работалъ Матюшка съ Туркой, откатывалъ на тачкѣ пески Яша Малый, а Мина Клейменый стоялъ на промывкѣ съ Кишкинымъ. Собственно промывка—бабья легкая работа. Дѣло все-таки шло очень недурно и „оправдывало себя“. На пятерыхъ въ день намывали до двухъ золотниковъ золота, что составляло поденщину рубля въ полтора. Одно смущало Кишкина, что золото шло неровное—то убавится, то прибавится. Другая бѣда была въ томъ, что близилась зима, а зимой или ставь теплую казарму, или бросай все дѣло до слѣдующей весны. Пока всѣ жили

въ одной избушкѣ, кое-какъ защищавшей отъ дождя. Мысль о зимѣ не давала Кишкину покоя: партія разбредется а потомъ начинай все сызнова.

Если бы не эти заботы, совсѣмъ было бы хорошо. Проведенное въ лѣсу лѣто точно размягчило Кишкина, и онъ даже начиналъ жалѣть о заваренной кашѣ. Недавняя озлобленность, вызванная многолѣтними неудачами, нуждой и одиночествомъ, смѣнилась бодрымъ, хорошимъ настроеніемъ. Да и хорошо жить въ лѣсу... Какія ночи выпадали, какіе ясные горячіе деньки: двадцать лѣтъ съ плечъ долой. День за работой, а вечеромъ такой здоровый отдыхъ около своего огонька въ пріятной бесѣдѣ о разныхъ разностяхъ. Съ другихъ пріисковъ народъ заходилъ, и вся Мутяшка была на вѣстяхъ: у кого какое золото идетъ, гдѣ новыя работы ставятъ и т. д. Вся Мутяшка представляла одно громадное цѣлое, жившее одними интересами и надеждами.

— Эхъ, нѣту у насъ, Андронъ Евстратычъ, первое дѣло лошади,—повторялъ каждый день Матюшка,—а второе дѣло, надо намъ безпремѣнно завести бабу... На другихъ пріискахъ вездѣ свои бабы полагаются.

— Окся подлая убѣжала...—оправдывался Кишкинъ. Было нѣсколько попытокъ пріобрѣсти бабу, но всѣ онѣ закончились полнѣйшей неудачей. Про фотьянскихъ бабъ и думать было нечего: онѣ совсѣмъ задорожились. У себя дома не успѣвали поправляться. Были, конечно, шатущія по промысламъ дѣвки, отбившіяся отъ своихъ семей, но такую и къ артельному котелку никто не пуститъ.

Бабы, вообще, шли нарасхватъ. Главнымъ поставщикомъ этого товара служилъ Балчуговскій заводъ. На Сироткѣ жили нѣсколько времени двѣ такихъ бабы, но не зажились. Пріискъ былъ небольшой, рабочихъ мало, да и то почти все старики.

— Скушно у васъ,—говорили бабы и уходили куда-нибудь на сосѣдній пріискъ къ Ястребову.

Мыльниковъ приводилъ свою Оксю два раза, и она оба раза бѣжала. Однимъ словомъ, съ бабой дѣло не клеилось, хотя Петръ Васильичъ и обѣщалъ раздобыть таковую во что бы то ни стало.

— Да тебя какъ считать-то: не то ты съ нами робишь, не то ошибся?—спрашивалъ Кишкинъ Петра Васильича.—День поробишь, да недѣлю лодырничаешь.

— Ужо погодите, управлюсь съ дѣлами, такъ въ первой головѣ пойду.

— Расчета тебѣ нѣтъ, Петръ Васильичъ: дома-то больше добудешь. Проѣзжающіе номера открылъ, а теперь, значитъ, открывай заведеніе съ арфистками... Въ самый разъ для Фотьянки теперь подойдетъ. А самъ похаживай пѣтушкомъ да командуй—всей и работы.

— Кишекъ, пожалуй, не хватить, Андронъ Евстратычъ,—скромничалъ Петръ Васильичъ, блаженно ухмыляясь.—Шутки шутишь надъ нашей деревенской простотой... А я какъ-то разъ былъ въ городу въ такомъ-то заведеніи и подивился, какъ огребаютъ денежки.

— Озарился поди?.. Лютъ ты до чужихъ денегъ, Петръ Васильичъ. Глазъ у тебя такъ и заиграетъ, какъ увидитъ деньги-то...

Зачѣмъ шатался на пріиски Петръ Васильичъ, никто хорошенько не зналъ, хотя и догадывались, что онъ спроста не пойдетъ время терять. Не таковскій мужикъ... Особенно не долюбливалъ его Матюшка, старавшійся въ компаніи поднять насмѣхъ или устроить какую-нибудь каверзу. Петръ Васильичъ относился ко всему свысока, точно дѣло шло не о немъ. Однако, онъ не укрылся отъ зоркаго и опытнаго взгляда Кишкина. Разъ они сидѣли и бесѣдовали около огонька самымъ мирнымъ образомъ. Рабочіе уже спали въ балаганѣ.

— Это у тебя что пазуха-то отдулась?—самымъ невиннымъ образомъ спрашивалъ Кишкинъ.

Петръ Васильичъ схватился за свою пазуху, точно обожженный, а Кишкинъ засмѣялся и покачалъ головой.

— Эхъ, Петръ Васильичъ, Петръ Васильичъ,— повторялъ онъ укоризненно.— И воровать-то не умѣешь.—Первое дѣло, велики у тебя вѣсы: коромысло-то и обозначилось. Ха-ха...

— Н-но-о?.. Это я въ починку захватилъ...

— Въ лѣсу починивать?... Ну, будетъ, не валяй дурака... А ты купи маленькіе вѣски, есть такіе, въ футлярѣ. Нельзя же съ безменомъ ходить по промысламъ. Какъ разъ влопаешься. Вотъ всѣ вы такіе, мужланы: на комара съ обухомъ. Три рубля на вѣски пожалѣлъ, а головы не жаль... Да смотри, моего золота не шевели: порошину тронешь— башка прочь.

— Ну и глазъ у тебя, Андронъ Евстратычъ: наскрозь. Каюсь, былъ такой грѣхъ... Одинова попробовалъ, а лестно оно.

— Отъ кого?

Петръ Васильичъ опять замялся и заерзалъ на мѣстѣ.

— Ну, ну, безъ тебя знаю,—успокоилъ его Кишкинъ.—Только вотъ тебѣ мой сказъ, Петръ Васильичъ... Видалъ, какъ рыбу бреднемъ ловятъ: большая щука уйдетъ, а маленькая рыбешка вся тутъ и осталась. Такъ и твое дѣло... Ястребовъ-то выкрутится: у него семьдесятъ семь ходовъ съ ходомъ, а ты влопаешься со своими вѣсами, какъ куръ во щи.

Это отеческое внушеніе и сознаніе собственной мужицкой глупости подѣйствовали на Петра Васильича самымъ угнетающимъ образомъ. Ему было бы легче, если бы Кишкинъ прямо обругалъ его. Со всякимъ бываютъ такія скверныя положенія, когда человѣкъ радъ сквозь землю провалиться, то же самое было и съ Петромъ Васильичемъ. Убѣжать прямо отъ Кишкина было совѣстно да и оставаться тоже. Петръ Васильичъ сидѣлъ и моргалъ единственнымъ глазомъ, какъ сычъ. Мужицкая совѣсть тяжелая, и Петръ Васильичъ чувствовалъ, какъ онъ начинаетъ ненавидѣть Кишкина, ненавидѣть за его собачью догадливость. Главное, посмѣялся Кишкинъ надъ его глупостью.

— Ну, такъ какъ же?—спрашивалъ Кишкинъ, хлопая его по плечу.

— А все то же, Андронъ Евстратычъ... Напрасно ты мнѣ вѣсками-то укорилъ: пошутилъ я, никакихъ вѣсковъ нѣту со мной. Посмѣялся я, значитъ...

— Ладно, разговаривай...

— Можетъ ты скупаешь здѣсь золото-то, тебѣ это сподручнѣе?.. Охулки на руку не положишь, а ужъ гдѣ намъ, дуракамъ.

Они разстались врагами.

Кишкинъ угадалъ относительно таинственной дѣятельности Петра Васильича, занявшагося скупкой хищническаго золота на новыхъ промыслахъ. Дѣло было не трудное, хотя и приходилось вести его осторожно, съ разными церемоніями. Самъ Ястребовъ не скупалъ золота прямо отъ старателей и гналъ ихъ въ три шеи, если кто-нибудь приходилъ къ нему. Это всѣ знали и несли золото къ Ермошкѣ или другимъ мелкимъ ястребовскимъ скупщикамъ. Петръ Васильичъ былъ еще вновѣ, рабочіе его мало знали, и приходилось самому отправляться на промысла и вести дѣло „подъ рукой". Опытные рабочіе не довѣряли новому скупщику, но соблазнъ заключался въ томъ, что къ Ермошкѣ нужно было еще везти золото, а тутъ получай деньги у себя на промыслахъ, изъ руки въ руку.

У Петра Васильича было нѣсколько подходовъ, чтобы отвести глаза пріисковымъ смотрителямъ и довѣреннымъ. Такъ, онъ прикидывался, что потерялъ лошадь, и выходилъ на пріискъ съ уздой въ рукахъ.

— Не видали ли, братцы, мою кобылу?—спрашивалъ онъ.—Правое ухо порото, лѣвое пнемъ... Вотъ третьи сутки въ лѣсу брожу.

— Да ты самъ-то откедова взялся?—подозрительно спрашивалъ кто-нибудь.

— А съ Мутяшки... У Кишкина на Сироткѣ робимъ.

Разговоръ завязывался. Петръ Васильичъ усаживался куда-нибудь на перемывку, закуривалъ „цигарку“, свернутую изъ бумаги, и заводилъ неторопливыя рѣчи. Рабочіе—народъ опытный и понимали, какую лошадь ищетъ кривой мужикъ.

— Шерсть-то какая у твоей кобылы?

— Да желтая шерсть... Ни саврасая, ни рыжая, а какая-то желтая уродилась. Такая ужъ мудреная скотинка...

Побесѣдовавъ, Петръ Васильичъ уходилъ и дожидался добычи гдѣ-нибудь въ сторонкѣ. Онъ пристраивался гдѣ-нибудь подъ кустикомъ и открывалъ лавочку. Подходилъ кто-нибудь изъ старателей.

— Почемъ?

— Три бумажки...

— На Малиновкѣ по четыре даютъ.

— Много даютъ, да только домой не носятъ... А мои три бумажки сейчасъ.

Въ переводѣ этотъ торгъ заключался въ желаніи скупщика пріобрѣсти золотникъ золота за три рубля, а продавецъ хотѣлъ продать по четыре. Послѣ небольшого препирательства побѣда оставалась за Петромъ Васильичемъ. Онъ съ необходимыми предосторожностями добывалъ изъ-за пазухи свои вѣсы, завернутые въ платокъ, и принимался вѣсить принесенное золото, при чемъ не упускалъ случая обмануть, потому что вѣсы были „съ привѣсомъ“. Второпяхъ продавцу было не до провѣрки, хотя онъ долго потомъ чесалъ заты-

локъ, прикидывалъ въ умѣ и ругалъ кривого чорта вдогонку.

Иногда Петръ Васильичъ показывался на пріискѣ верхомъ на своей желтой кобылѣ и разыгрывалъ „заплутавшагося человѣка“, иногда приходилъ прямо въ пріисковую контору и предлагалъ доставлять какой-нибудь харчъ по очень сходной цѣнѣ и т. д. Вмѣстѣ съ практикой развивались его изобрѣтательность и нахальство. Его уже знали на промыслахъ, и въ большинствѣ случаевъ ему стоило только показаться гдѣ-нибудь по близости, какъ слетались сейчасъ же хищники. А золота въ Кедровской дачѣ оказалось достаточно. Вездѣ шла самая горячая работа, хотя особенно богатаго золота, о которомъ гласила стоустая молва, и не оказалось. Все-таки работать было можно, и тысячи рабочихъ находили здѣсь кусокъ хлѣба.

Добытое такимъ нелегкимъ путемъ золото сдавалось Ястребову за 20 коп., т.-е. онъ прибавлялъ за каждый золотникъ 20 коп. преміи. Сначала Петръ Васильичъ былъ чрезвычайно доволенъ, потому что въ счастливый день зашибалъ рублей до трехъ, да кромѣ того наживалъ еще на своихъ провѣсахъ и обсчетахъ рабочихъ. Въ общемъ получались довольно кругленькія денежки. Но съ Петромъ Васильичемъ повторилось то же самое, что съ матерью. Его охватило такое же чувство жадности, и ему все казалось мало. Въ самомъ дѣлѣ, онъ наживалъ съ золотника 20 к., а Ястребовъ за здорово живешь сдавалъ въ казну этотъ же золотникъ за 4 р. 50 к. и получалъ цѣлый

рубль. Конечно, Ястребовъ давалъ деньги на золото, разносилъ его по книгамъ со своихъ пріисковъ и сдавалъ въ казну, но Петръ Васильичъ считалъ свои труды больше, потому что шлялся съ уздой, валялъ дурака и постоянно рисковалъ своей шкурой какъ со стороны хозяевъ, такъ и отъ рабочихъ. И шею могутъ накостылять, и ограбить, и начальству головой выдать, а пожаловаться некому. Природная трусость Петра Васильича исчезла подъ магическимъ освѣщеніемъ золота, и онъ дѣйствовалъ смѣлѣе самыхъ опытныхъ скупщиковъ. Ахъ, если бы у него были свои деньги, что можно было бы сдѣлать! Почище Ястребова подвелъ бы механику. Съ тѣмъ же Кишкинымъ вошелъ бы въ соглашеніе, чтобы записывать скупленное золото на Сиротку. Но лиха бѣда заключалась въ томъ, что не хватало силы, а пустяками не стоило пока заниматься. Конечно, всѣ эти затаенныя мысли Петръ Васильичъ хранилъ до поры до времени про себя и Ястребову не показывалъ вида, что недоволенъ.

По предварительному уговору съ внѣшней стороны Петръ Васильичъ и Ястребовъ продолжали разыгрывать комедію взаимной вражды. Петръ Васильичъ привязывался къ каждому пустяку въ качествѣ хозяина и ругалъ Ястребова при всемъ народѣ.

— Мамынька, это ты пустила постояльца!—накидывался Петръ Васильичъ на мать.—А кто хозяинъ въ дому?.. Я ему поккажу... Онъ у меня споетъ голанскимъ пѣтухомъ. Я ему носъ утру...

Баушка Лукерья выбивалась изъ силъ, чтобы

утишить блажившаго сынка, но изъ этого ничего не выходило, потому что и Ястребовъ тоже лѣзъ на стѣну и нѣсколько разъ собирался поколотить сварливаго кривого чорта. Но особенно ругалъ жильца Петръ Васильичъ въ кабакѣ Фролки, гдѣ народъ помиралъ со смѣху.

— Надулся пузырь и думаетъ: шире меня нѣтъ!..— выкрикивалъ онъ по адресу Ястребова. — Нѣтъ, погоди, братъ... Я тебѣ смажу салазки. Такой же мужикъ, какъ и нашъ братъ. На чужія деньги распухъ...

Когда Ястребовъ на своей тройкѣ проѣзжалъ мимо кабака, Петръ Васильичъ выскакивалъ на дорогу, отвѣшивалъ низкій поклонъ и кричалъ:

— Возьми меня съ собой въ Сибирь, Никита Яковличъ. Одному-то тебѣ скучно будетъ ѣхать.

Дѣло доходило до дого, что Ястребовъ жаловался на него въ волость, и Петра Васильича вызывали волостные старички для внушенія.

— Ты не показывай изъ себя богатаго-то,—усовѣщивали старички огрызавшагося Петра Васильича: — какъ разъ насыплемъ, штобы помнилъ. Чего тебѣ Ястребовъ помѣшалъ, кривой ерахтѣ?

— А вотъ это самое и помѣшалъ,—не унимался Петръ Васильичъ. — Терпѣть его ненавижу... Чѣмъ я знаю, какими онъ дѣлами у меня въ избѣ занимается, а потомъ съ судомъ не расхлебаешься. Тоже, можемъ свое понятіе имѣть...

— Отодрать тебя, пса. Вотъ и весь разговоръ... Што больно перья-то распустилъ?

IV.

Извѣстіе о бѣгствѣ Ѳени отъ баушки Лукерьи застало Родіона Потапыча въ самый критическій моментъ, именно, когда Рублиха выходила на роковую двадцатую сажень, гдѣ должна была произойти „пересѣчка". Старикъ такъ былъ увлеченъ своей работой, что почти не обратилъ вниманія на это новое горшее несчастіе или только сдѣлалъ такой видъ, что окончательно махнулъ рукой на когда-то самую любимую дочь. Укрѣпился старикъ и не выдалъ своего горя на посмѣянье чужимъ людямъ.

Рабочихъ на Рублихѣ всего больше интересовало то, какъ теперь Карачунскій встрѣтится съ Родіономъ Потапычемъ, а встрѣтиться они были должны неизбѣжно, потому что Карачунскій тоже начиналъ увлекаться новой шахтой и слѣдилъ за работой съ напряженнымъ вниманіемъ. Эта встрѣча произошла на днѣ Рублихи, куда спустился Карачунскій по стремянкѣ.

— Обманула, видно, насъ двадцатая-то сажень?—спокойно проговорилъ Карачунскій, осматривая забой.

— Сдвигъ дала жила,—также спокойно отвѣтилъ Родіонъ Потапычъ.—Некуда ей дѣваться... Не иголка.

Больше между ними не было сказано ни одного слова. Дѣло въ томъ, что Родіонъ Потапычъ рѣзко раздѣлялъ для себя Карачунскаго-управляющаго отъ Карачунскаго-соблазнителя Ѳени. Пер-

ваго онъ въ настоящую трудную минуту даже любилъ, потому что Карачунскій въ достаточной степени заразился вѣрой вотъ въ эту самую Рублиху и съ лихорадочнымъ вниманіемъ слѣдилъ за каждымъ шагомъ впередъ. Дѣло усложнялось тѣмъ, что промысловой годъ уже былъ на исходѣ, первоначальная смѣта на разработку Рублихи давно перерасходована, и отъ одного Карачунскаго зависѣло выхлопотать у компаніи дальнѣйшія ассигновки. Инженеръ Ониковъ съ самаго начала былъ противъ новой шахты и, конечно, съ своей стороны могъ много повредить дѣлу. Однимъ словомъ, дорога̀ была каждая минута, и нужно было поставить Карачунскаго въ такое положеніе, когда объ отступленіи нечего было бы и думать. Родіонъ Потапычъ слишкомъ хорошо, по личному опыту, изучилъ всѣ признаки промысловой горячки и въ Карачунскомъ видѣлъ своего единомышленника, отъ котораго зависѣло все. Новая исторія съ Ѳеней была тутъ не при чемъ.

Когда Родіонъ Потапычъ въ ближайшую субботу вернулся домой, и когда Устинья Марковна повалилась къ нему въ ноги со своими причитаньями и слезами, онъ отвѣтилъ всего однимъ словомъ:

— Знаю...

Больше о Ѳенѣ въ зыковскомъ домѣ ничего не было сказано, точно она умерла. Когда старикъ узналъ о бѣгствѣ Марьи на Фотьянку, то только махнулъ рукой, точно сбѣжала кошка. Въ этомъ сказался мужицкій взглядъ на дѣвку въ семьѣ, какъ на что-то чужое, что не сегодня-завтра

вспорхнетъ и улетитъ. Была Марья, не стало Марьи—лишній родъ съ костей долой. Захотѣла своего дѣвичьяго хлѣба отвѣдать, ну и пусть ее... Устинья Марковна въ глубинѣ души была рада, что все обошлось такъ благополучно, хотя и наблюдала потихоньку грознаго мужа, который какъ-будто немного даже рехнулся.

„Хоть бы для видимости построжилъ, — даже пожалѣла про себя привыкшая всего бояться старуха.—Какой же порядокъ въ дому безъ настоящей страсти? Вонъ Наташка скоро заневѣстится и тоже, пожалуй, сбѣжитъ, или зять Прокопій задуритъ“.

Устинья Марковна съ душевной болью чувствовала одно, что въ своемъ собственномъ домѣ Родіонъ Потапычъ является чужимъ человѣкомъ, точно ему вдругъ стало все равно, что дѣлается въ своемъ гнѣздѣ. Очень ужъ это было обидно, и Устинья Марковна потихоньку отъ всѣхъ разливалась рѣкой.

Когда Родіонъ Потапычъ вернулся на свой Ульяновъ кряжъ, тамъ произошло цѣлое событіе, о которомъ толковала вкривь и вкось вся Фотьянка. Дѣло въ томъ, что Тарасъ Мыльниковъ, благодаря ходатайству Ѳени, получилъ дѣлянку чуть не рядомъ съ главной шахтой, всего въ какихъ-нибудь ста саженяхъ. Сначала Родіонъ Потапычъ не повѣрилъ собственнымъ ушамъ и отправился на мѣсто дѣйствія. Дудку Мыльникова отъ компанейской работы отдѣляла одна небольшая еловая заросль. Когда старикъ пришелъ на мѣсто, тамъ уже кипѣла горячая работа. Самъ Тарасъ стоялъ по

грудь въ заложенной дудкѣ и короткой лопатой выкидывалъ землю „пустякъ“ на полати, устроенныя изъ краденыхъ съ шахты досокъ. Окся сваливала „пустякъ“ въ тачку и отвозила въ сторону, гдѣ уже желтѣла новая свалка.

— Да, ты съ ума сошелъ, безумная голова?— накинулся Родіонъ Потапычъ на непризнаннаго зятя.—Куды залѣзъ-то?..

— Родіону Потапычу сорокъ-одно съ кисточкой...—весело отвѣтила голова Тараса изъ ямы.— Аль завидно стало? Небойсь, твоего золота не возьму... Раздѣлимся какъ-нибудь.

— Да, вѣдь, здѣсь компанейское мѣсто, песъ кудлатый?.. Ступай на Краюхинъ увалъ: тамъ ваше мѣсто.

— Самъ ступай, коли такъ поглянулось, а я здѣсь останусь. Промежду прочимъ, самъ Степанъ Романычъ соблаговолилъ отвести дѣляночку... Его спроси.

— Ну, это ужъ ты врешь!..

— Вотъ што я тебѣ скажу, Родіонъ Потапычъ: и чего намъ ссориться? Слава Богу, всѣмъ матушки-земли хватитъ, а я изъ своихъ двадцатипяти саженъ не выйду и вглыбь дальше десятой сажени не пойду. Однимъ словомъ, по положенію, какъ всѣ другіе протчіе народы... Спроси, говорю, Степанъ-то Романыча!.. Благодѣтель онъ...

Старый штейгеръ плюнулъ на конкурента, повернулся и ушелъ.

— Эй, Родіонъ Потапычъ, не плюй въ колодецъ!—кричалъ вслѣдъ ему Мыльниковъ: - какъ бы самому же напиться не пришлось... Всяко бы-

ваетъ. А вотъ тебѣ такое золото обыщу, што не поздоровится. А ты, Окся, што пнемъ встала? Чему обрадовалась-то?

Родіонъ Потапычъ уже на мѣстѣ сообразилъ, какими путями Мыльниковъ добился своей дѣлянки, и только покачалъ головой. „Эхъ, слабъ Степанъ Романычъ до женскаго полу и только себя срамитъ поблажкой. Тотъ же Мыльниковъ охаетъ его вездѣ. Песъ и есть песъ: добра не помнитъ“.

Карачунскій, дѣйствительно, не показывался на Рублихѣ съ недѣлю: онъ совѣстился неподкупнаго стараго штейгера.

А Мыльниковъ копалъ себѣ да копалъ, какъ кротъ. Когда нельзя было выкидывать землю, онъ поставилъ деревянный воротокъ, какіе дѣлались надъ всѣми старательскими работами, а Окся „выхаживала“ воротомъ добытую въ дудкѣ землю. Но двоимъ теперь было трудно, и Мыльниковъ прихватилъ изъ Фотьянскаго кабака стараго палача Никитушку, который все равно шлялся безъ всякаго дѣла. Это былъ рослый сгорбленный старикъ съ мутными, точно оловянными глазами, взъерошенной головой и длинными, необыкновенно сильными руками. Когда-то рыжая окладистая борода скатывалась войлокомъ, цвѣта верблюжьей шерсти. Ходилъ Никитушка въ оборванномъ армякѣ и опоркахъ, но всегда въ красной кумачевой рубахѣ, которая для него являлась чѣмъ-то въ родѣ мундира. Городскіе купцы дарили ему каждый годъ по нѣскольку такихъ рубахъ, заставляя пѣть острожныя варнацкія пѣсни и приплясывать.

— Эй, тятенька, шевели бородой!—покрикивалъ Мыльниковъ палачу изъ своей ямы.

Это была, во всякомъ случаѣ, оригинальная компанія: отставной казенный палачъ, шваль Мыльниковъ и Окся. Какъ ухищрялся добывать Мыльниковъ пропитаніе на всѣхъ троихъ, трудно сказать; но пропитаніе, хотя и довольно скудное, все-таки добывалось. Въ котелкѣ Окся варила картошку, а потомъ являлся ржаной хлѣбъ. Палачъ Никитушка, когда былъ трезвый, почти не разговаривалъ ни съ кѣмъ,—уставитъ свои оловянные глаза и молчитъ. Поѣстъ, выкуритъ трубку и опять за работу. Мыльниковъ часто приставалъ къ нему съ разными пустыми разговорами.

— Поди, въ другой разъ ночью пригрезится, какъ полосовалъ прежде каторжанъ,—страшно сдѣлается? Тоже вѣдь и въ палачѣ живая душа... а?..

— Отстань, смола...

Но стоило выпить Никитушкѣ одинъ стаканчикъ водки, какъ онъ дѣлался совершенно другимъ человѣкомъ,—пѣлъ пѣсни, плясалъ, разсказывалъ всѣ подробности своего заплечнаго мастерства и вообще разыгрывалъ кабацкаго дурачка. Всѣ знали эту слабость Никитушки и по праздникамъ дѣлали изъ нея родъ спорта.

Втроемъ работа подвигалась очень медленно и чѣмъ глубже, тѣмъ медленнѣе. Мыльниковъ въ сердцахъ уже нѣсколько разъ побилъ Оксю, но это мало помогло дѣлу. Наступившіе заморозки увеличили неудобства: нужно было и теплую одежу и обувь, а осенній день не великъ. Даже Мыльниковъ задумался надъ своимъ дикимъ пред-

пріятіемъ. Дудка шла всего еще на пятой сажени, потому что попадался все чаще и чаще въ „пустякѣ“ камень-ребровикъ, который точно чортъ подсовывалъ.

— Теперь ужъ скоро жилка будетъ,—увѣрялъ самого себя Мыльниковъ.—Мнѣ еще покойный Кривушокъ сказывалъ, когда, бывало, вмѣстѣ пировали. Родіонъ-то Потапычъ достигаетъ ее на глыби, а она вся поверху расщепилась. Расшибло ее, жилу...

Это была совершенно оригинальная теорія залеганія золотоносныхъ жилъ, но нужно было чему-нибудь вѣрить, а у Мыльникова, какъ и у другихъ старателей, была своя собственная геологія и терминологія промысловаго дѣла. Наконецъ, въ одно прекрасное утро терпѣніе Мыльникова лопнуло. Онъ вылѣзъ изъ дудки, бросилъ оземь мокрую шапку и рукавицы и проговорилъ:

— А чортъ съ ней и съ дудкой... Черезъ этотъ самый „пустякъ“ и съ діомидомъ не пролѣзешь. Глыбко ушла жила... Должно полагать, спьяна навралъ проклятый Кривушокъ, не тѣмъ будь помянутъ покойникъ.

Палачъ угрюмо молчалъ. Окся тоже. Мыльниковъ презрительно посмотрѣлъ на своихъ сотрудниковъ, присѣлъ къ огоньку и озлобленно закурилъ трубочку. У него въ головѣ вертѣлись самыя горькія мысли. Въ самомъ дѣлѣ, рылъ-рылъ землю, робилъ-робилъ и кромѣ „пустяка“ ни синьпороха. Хоть бы поманило чѣмъ-нибудь... Эхъ, жисть! Лучше бы ужъ у Кишкина на Мутяшкѣ пропадать.

— Такъ, значитъ, тово... пошабашимъ?—спрашивалъ палачъ совершенно равнодушно, какъ о дѣлѣ рѣшенномъ.

— Кто это тебѣ сказалъ?—воспрянулъ духомъ Мыльниковъ; раздумье съ него соскочило, какъ съ гуся вода.—Ну, нѣтъ, братъ...Не таковскій человѣкъ Тарасъ Мыльниковъ, штобы отъ богачества отказался. Эй, Окся, айда въ дудку...

— Не полѣзу... — рѣшительно заявила Окся, угрюмо глядя на запачканный свѣжей глиной родительскій азямъ.

Мыльниковъ сразу остервенился и избилъ несчастную Оксю въ лоскъ,—надо же было на комъ-нибудь сорвать расходившееся сердце.

— Я тебя, курву, внизъ головой спущу въ дудку!—оралъ Мыльниковъ, уставъ отъ внушенія.—Палачъ, давай привяжемъ ее за ногу къ канату и спустимъ...

Палачъ былъ согласенъ. Въ виду такого критическаго положенія, Окся, обливаясь слезами, сама спустилась въ дудку, гдѣ съ трудомъ можно было повернуться живому человѣку. Ее обрадовало то, что здѣсь было теплѣе, чѣмъ наверху, но, съ другой стороны, стѣнки дудки были покрыты липкой слезившейся глиной, такъ что она не успѣла наложить двухъ бадей „пустяка“, какъ вся промокла—и ноги мокрыя, и спина, и платокъ на головѣ. Присѣла Окся и опять заревѣла. Какъ она пойдетъ съ Ульянова кряжа на Фотьянку—околѣетъ дорогой. А Мыльниковъ уже ругался наверху, прислушиваясь къ всхлипыванію Окси.

— Вотъ я тебя!—кричалъ онъ, бросая сверху комья мерзлой глины.—Я тебя выучу, какъ родителя слушать... То-то наказалъ Господь-Батюшка дурой неотесанной!.. Хоть пополамъ разорвись...

Тяжело достался Оксѣ этотъ проклятый день... А когда она вылѣзла изъ дудки, на ней нитки не было сухой. Наверху ее сразу охватило такимъ холодомъ, что зубъ на зубъ не попадалъ.

— Бѣги бѣгомъ, дура, согрѣешься на ходу!—пожалѣлъ ее чадолюбивый папаша.—А то какъ разъ замерзнешь еще... Наотвѣчаешься за тебя!..

Окся, дѣйствительно, бросилась бѣжать, но только не по дорогѣ въ Фотьянку, а въ противоположную сторону, къ Рублихѣ.

— Не туда, дура!..—кричалъ ей вслѣдъ Мыльниковъ.—Ахъ, дура... Не туда!..

Но Окся быстро скрылась въ еловой заросли, а потомъ прибѣжала прямо на компанейскую шахту и забралась въ теплую конторку самого Родіона Потапыча. Какъ на грѣхъ самого старика въ этотъ критическій моментъ не случилось дома—онъ закладывалъ шпуръ въ шахтѣ, а въ конторкѣ горѣла одна жестяная лампочка. Оксю охватила пріятная теплота жарко натопленной комнаты. Сначала она посидѣла у стола, а потомъ быстро размалѣла и комомъ свалилась на широкую лавку, на которой спалъ старикъ, подложивъ подъ себя шубу. Окся такъ измучилась, что сейчасъ же захрапѣла, какъ зарѣзанная. Можно себѣ представить удивленіе и негодованіе Родіона Потапыча, когда онъ вернулся въ свою конторку и на своемъ

ложѣ нашелъ спящую невинную пріисковую дѣвицу.

— Эй, ты, птаха...—трясъ ее за плечо разсерженный старикъ.—Не туды залетѣла!.. Чья ты будешь-то?

Окся открыла глаза, сѣла и рѣшительно ничего не могла сказать въ свое оправданіе, а только что-то такое мычала несуразное. Странная вещь,—ее спасла та пріисковая глина, которой было измазано все платье, ноги, руки и лицо. У Родіона Потапыча существовало какое-то органическое чувство уваженія вотъ именно къ этой глинѣ, которая покрываетъ настоящаго рабочаго человѣка. И сейчасъ онъ подумалъ, что не шатущая эта дѣвка, коли вся въ глинѣ, чортъ чортомъ. Отъ мокраго платья Окси валилъ паръ, какъ отъ загнанной лошади—это тоже послужило смягчающимъ обстоятельствомъ.

— Изъ дудки только вылѣзла...—коротко объяснила Окся, оглядывая свой незамысловатый костюмъ, состоявшій изъ пестрядиной станушки, ветхаго ситцеваго сарафанишка и кофточки на какомъ-то собачьемъ мѣху.—Едва не околѣла отъ холоду...

— Можетъ и поѣсть хочешь?

— Съ утра не ѣдала...

Разговоръ былъ вообще несложный. Родіонъ Потапычъ добылъ изъ сундука свою „паужну“ и раздѣлилъ съ Оксей, которая глотала большими кусками съ жадностью бездомной собаки и даже жмурилась отъ удовольствія. Старикъ смотрѣлъ на свою гостью, и въ его суровую душу закрады-

валась предательская жалость, смѣшанная съ тяжелымъ мужицкимъ презрѣніемъ къ бабѣ вообще.

— Откудова ты взялась-то, птаха?..

— А съ дудки... отъ Мыльникова.

— Такъ онъ тебя въ дудку запятилъ? То-то безголовый мужичонко... Кто же бабъ въ шахту посылаетъ: такого закону нѣтъ. Ну, и дуракъ этотъ Тарасъ... Какъ ты къ нему-то попала? Фотьянская, видно?

— Дочь я Тарасу, Окся...

Родіонъ Потапычъ нахмурился и отвернулся отъ внучки. Этого онъ ужъ никакъ не ожидалъ... Вотъ такъ внучка! Закусивъ, Окся опять прилегла, и у нея начали опять слипаться глаза.

— Ну, теперь ступай...—сурово проговорилъ старикъ, не повертываясь.—Поѣла, согрѣлась и ступай.

— Вотъ еще выдумалъ! Куды я пойду-то? Тоже и сказалъ...

— Да ты съ кѣмъ разговариваешь-то?

— Отстань, што привязался-то!.. Вотъ еще выискался...

Родіонъ Потапычъ хотѣлъ еще сказать что-то и раскрылъ даже ротъ, но Окся уже храпѣла. Онъ посмотрѣлъ на нее, покачалъ головой и на цыпочкахъ вышелъ изъ своей конторки. Паровая машина, откачивающая воду, мѣрно гудѣла, изъ шахты доносились предсмертные хрипы, лязгъ желѣзныхъ скрѣпленій и методическія постукиванья шестеренъ. Родіонъ Потапычъ подошелъ къ паровымъ котламъ, присѣлъ у топки, и вырывавшееся яркое пламя освѣтило на сердитомъ старческомъ лицѣ какую-то дѣтскую улыбку, которая легкой тѣнью

мелькнула на губахъ, искоркой вспыхнула въ глазахъ и сейчасъ же схоронилась въ глубокихъ морщинахъ старческаго лица.

— Вѣдь сама пришла, птаха...—вслухъ думалъ старикъ, испытывая какое-то необыкновенное радостное настроеніе.—Вотъ и поди, потолкуй съ ней!.. Какъ домой пришла...

Вся Рублиха, т.-е. машинистъ, кочегары, штейгера и рабочіе были сконфужены ежедневнымъ появленіемъ Окси въ конторкѣ Родіона Потапыча. Она приходила сюда, точно домой, и въ нѣсколько дней натащила какого-то бабьяго скарба, тряпицъ и „перемѣнокъ". Старикъ все выносилъ терпѣливо. Даже свою лавочку онъ уступилъ Оксѣ, а себѣ поставилъ у противоположной стѣны другую. Положимъ, всѣ знали, что Окся родная внучка Родіону Потапычу и что въ пребываніи ея здѣсь нѣтъ ничего зазорнаго, но все-таки вдругъ баба на шахтѣ,—какое ужъ тутъ золото.

— Ты бы, Родіонъ Потапычъ, и то выгналъ Оксюху-то, — совѣтовалъ подручный штейгеръ.— Негожее дѣло, когда бабій духъ заведется въ такомъ мѣстѣ.. Не модель, однимъ словомъ.

Родіонъ Потапычъ, къ общему удивленію, на такія разумныя рѣчи только усмѣхался. Поговорятъ да перестанутъ...

V.

Съ первымъ выпавшимъ снѣгомъ большинство работъ въ Кедровской дачѣ прекратилось, за исключеніемъ пяти-шести большихъ пріисковъ, гдѣ про-

мывка шла въ теплыхъ казармахъ. Одинъ такой пріискъ былъ у Ястребова на Генералкѣ, существовавшій спеціально для того, чтобы въ его книгу списывать хищническое золото. Кишкинъ бился на своей Сироткѣ до послѣдней крайности, пока можно было работать, но съ первымъ снѣгомъ долженъ былъ отступить: не брала сила. Отъ лѣтней работы у него оставалось около ста рублей, но на нихъ далеко не уѣдешь. Попробовалъ Кишкинъ обратиться опять къ своему доброхоту, секретарю Каблукову, но получилъ суровый отказъ.

— Жирно будетъ, пожалуй подавишься...

— Да, вѣдь, дѣло-то вѣрное, Илья Ѳедотычъ!.. Вотъ только бы теплушку казарму поставить... Вѣрнѣе смерти. На золотникъ *) вышли бы.

— Ладно, разсказывай... Слыхали мы про ваши золотники. Всѣ вы рехнулись съ этой Кедровской дачей:..

— Такъ и не дашь?

— И самъ не дамъ и другому закажу, чтобы не давалъ.

— Иродъ ты послѣ этого... Своей пользы не понимаешь! У Ястребова есть заявка на Мутяшкѣ, верстахъ въ десяти отъ моего пріиска... Болотинка въ берегъ ушла, ну, онъ пошурфовалъ и бросилъ. Знаки попадали, а настоящаго ничего нѣтъ. Какъ-то встрѣчаю его, разговорились, а онъ мнѣ: „Бери хошь даромъ болотину-то...“ А я все къ ней приглядывался еще съ лѣта: приличное мѣстечко. Въ томъ родѣ, какъ тогда на Фотьянкѣ. Такъ вотъ

*) На золотникъ выйти—найти золотоносный пластъ съ содержаніемъ золота въ 100 пудахъ песку 1 золотникъ.

какое дѣло выпадаетъ, а ты: „жирно будетъ“. Своего счастья не понимаешь. Вторая Фотьянка будетъ, ужъ ты повѣрь моему слову...

Это предположеніе разсмѣшило сердитаго секретаря до слезъ.

— Такъ своего счастья не понимаю? Ахъ, вы, шуты гороховые... Вторая Фотьянка... ха-ха!.. Попадешь ты въ сумасшедшую больницу, Андрошка... Лягушекъ въ болотѣ давить, а онъ богатства ищетъ. Нѣтъ, ты святого на грѣхъ наведешь.

Посмѣялся секретарь Каблуковъ надъ „вновь представленнымъ“ золотопромышленникомъ, а денегъ все-таки не далъ. Знаменитое дѣло по доносу Кишкина запало гдѣ-то въ дебряхъ канцелярской волокиты, потому что ушло на предварительное разсмотрѣніе горнаго департамента, а потомъ уже должно было проявиться на общихъ судебныхъ основаніяхъ. Именно такой оборотъ и веселилъ секретаря Каблукова, потому что главное – выиграть время, а тамъ хоть трава не расти. На прощаньи онъ дружелюбно потрепалъ Кишкина по плечу и проговорилъ:

— Только ты себя осрамилъ, Андрошка... Выйдетъ тебѣ рѣшеніе какъ разъ послѣ морковкина заговѣнья. Заварить-то кашу заварилъ, а ложки не припасъ... Эхъ, ты, чижиково горе!...

— А што, развѣ есть слухи?

— Ну, это ужъ тебя не касается. Ступай да поищи лучше свою вторую фотьянскую розсыпь... Лягушатникъ тебѣ пожертвуетъ Ястребовъ.

— Ахъ, иродъ... Будешь послѣ ногти грызть, да только поздно. Помянешь меня, Илья Ѳедотычъ...

— Помяну въ родительскую субботу...

Итакъ, всѣ рессурсы были исчерпаны въ конецъ. Оставалось ждать долгую зиму, сидя безъ всякаго дѣла. На Кишкина напало то глухое молчаливое отчаяніе, которое извѣстно только дѣловымъ людямъ, когда всѣ ихъ планы рушатся. Въ такомъ именно настроеніи возвращался Кишкинъ на свое пепелище въ Балчуговскій заводъ, когда ему на дорогѣ попалъ пьяный Кожинъ, кричавшій что-то издали и размахивавшій руками.

— Слышалъ новость, Андронъ Евстратычъ?

— Чортъ съ печи упалъ?..

— Хуже... Тарасъ-то Мыльниковъ, вѣдь, натакался на жилку. Вѣрно тебѣ говорю... Сказываютъ, золото такъ лепешками и сидитъ въ скварцѣ, хоть ногтями его выколупывай. Этакой жилки, сказываютъ, еще не бывало съ роду. Окся эта самая робила въ дудкѣ и нашла... .

— Ты куда, Акинфій Назарычъ, ѣдешь-то?

— А самъ не знаю... Въ городъ мчу, а тамъ видно будетъ.

— Поѣдемъ-ка лучше на Фотьянку: продуетъ вѣтеркомъ дорогой. Дай отдохнуть вину-то...

— Не я пью, Андронъ Евстратычъ: горе мое лютое пьетъ. Тошно мнѣ дома, вотъ и мыкаюсь... Мамынька посулилась проклятіе наложить, ежели не остепенюсь.

— Такъ ѣдемъ... Жилку у Тараса поглядимъ. Вотъ именно, что дуракамъ счастье... И Окся эта самая глупѣе полѣна.

Они вмѣстѣ отправились на Фотьянку. Дорогой пьяная оживленность Кожина вдругъ смѣнилась

полнымъ упадкомъ душевныхъ силъ. Кишкинъ тоже угнетенно вздыхалъ и время отъ времени встряхивалъ головой, припоминая свой разговоръ съ проклятымъ секретаремъ. Онъ жалѣлъ, что разболтался относительно болота на Мутяшкѣ,—хитеръ Илья Ѳедотычъ, какъ разъ подошлетъ когонибудь къ Ястребову и отобьетъ. Отъ него все станется... Подъ этимъ впечатлѣніемъ завязался разговоръ.

— Какіе подлецы на бѣломъ свѣтѣ живутъ, Акинфій Назарычъ...

— Это ты насчетъ меня?

— Нѣтъ... Я про одного человѣка, который не знаетъ, куда ему съ деньгами дѣваться, а пришелъ старый пріятель, попросилъ денегъ на дѣло, такъ нѣтъ. Вѣдь не далъ... А школьниками вмѣстѣ учились, на одной партѣ сидѣли. А дѣльце-то какое: повѣрнѣе въ десять разъ, чѣмъ жилка у Тараса. Однимъ словомъ, богачество... Ужъ я это самое дѣло вотъ какъ знаю, потому какъ еще за казной набилъ руку на промыслахъ. Сотню тысячъ можно зашибить, ежели съ умомъ...

— Сотню?

— Больше...

Кожинъ какъ-то сразу прочухался отъ такой большой цифры и съ удивленіемъ посмотрѣлъ на своего спутника, который показался ему такимъ маленькимъ и жалкимъ.

— Руку легкую надо на золото...—замѣтилъ въ раздумьи Кожинъ, впадая опять въ свое полусонное состояніе.

— А кто фотьянскую розсыпь открылъ?..

— Это точно... Ахъ, волкъ тебя заѣшь. Правильно... Сколько тебѣ денегъ-то надобно?

— Самые пустяки: рублей пятьсотъ на первый разъ...

— Пять катеринокъ... Такъ онъ, другъ-то, не не далъ?.. А вотъ я дамъ... Што раньше у меня не попросилъ? Нѣтъ, раньше-то я и самъ бы тебѣ не далъ, а сейчасъ бери, потому какъ мои деньги сейчасъ счастливыя... Примѣта такая есть.

— Это ты насчетъ Ѳедосьи Родіоновны?

— Объ ней объ самой... Для чего мнѣ деньги, когда я жизни своей постылой не радъ, ну, онѣ и придутъ ко мнѣ.

Все это было такъ неожиданно, что Кишкинъ ушамъ своимъ не вѣрилъ. И примѣта самая правильная...

— Только уговоръ дороже денегъ, Андронъ Евстратычъ: увези меня съ собой въ лѣсъ, а то все равно руки на себя наложу. Ѳеня моя, Ѳеня... родная... голубка.

Нужно было ѣхать черезъ Балчуговскій заводъ; Кишкинъ повернулъ лошадь объѣздомъ, чтобы оставить въ сторонѣ господскій домъ. У старика кружилась голова отъ неожиданнаго счастья, точно эти пятьсотъ рублей свалились къ нему съ неба. Онъ такъ вѣрилъ теперь въ свое дѣло, точно оно уже было совершившимся фактомъ. А главное, какъ примѣты-то всѣ сошлись: оба несчастные, оба не знаютъ куда голову приклонить. Да тутъ золото само полѣзетъ. И какъ это раньше ему Кожинъ не пришелъ на умъ?.. Ну, да все къ лучшему. Оставалось уломать Ястребова.

Открытіе Мыльникова новой жилки произвело потрясающее впечатлѣніе. Вся Фотьянка встрепенулась. Золото оказалось подъ бокомъ и какое золото!.. Въ нѣсколько дней выросла цѣлая легенда объ „Оксиной жилѣ“. Разсказывали чудеса о томъ, какъ жила не давалась самому Мыльникову и палачу, а все-таки не могла уйти отъ невинной пріисковой дѣвицы. Сама Окся, сколько ее ни допрашивали, ничего не умѣла разсказать, а только скалила свои бѣлые зубы и глупо ухмылялась. Зимой народъ оставался опять безъ работы и промышлялъ „около домашности“, поэтому неожиданное счастье Мыльникова особенно бросалось всѣмъ въ глаза. Въ кабакѣ Фролки собирались всѣ новости, обсуждались и разносились во всѣ стороны. Мыльниковъ являлся въ кабакъ по нѣскольку разъ въ день и разсказывалъ такія несообразности, что даже желавшіе ему вѣрить должны были только качать головой. Очень ужъ онъ вралъ...

— Это отъ Кривушки отшиблась жилка-то,— объяснялъ Мыльниковъ, отчаянно жестикулируя.— Онъ самъ сказывалъ: „Такъ, гритъ, самоваромъ золото-то и ушло вглыбь...“ Ну, кампанія свою Рублиху наладила, а самоваръ-то вонъ куда отшатился. Изъ глазъ ушло золото-то у Родіона Потапыча...

Въ нѣсколько дней Мыльниковъ совершенно преобразился: онъ щеголялъ въ красной кумачевой рубахѣ, въ плисовыхъ шароварахъ, въ новой шапкѣ, въ новомъ полушубкѣ и новыхъ пимахъ (валенки). Но его гордостью была лошадь, куп-

ленная на первыя деньги. Имѣть собственную лошадь, всегда было недосягаемой мечтой Мыльникова, а тутъ вся лошадь въ сбруѣ и съ пошевнями— садись и поѣзжай.

Мыльниковъ для пущей важности вездѣ ѣздилъ вмѣстѣ съ палачомъ Никитушкой, который состоялъ при немъ въ качествѣ адъютанта. Это производило еще бо́льшую сенсацію, такъ какъ маршрутъ состоялъ всего изъ двухъ пунктовъ: отъ кабака Фролки доѣхать до кабака Ермошки и обратно. Впрочемъ, нужно отдать справедливость Мыльникову: онъ съ первыми деньгами заѣхалъ домой и выдалъ женѣ цѣлыхъ три рубля. Это были первыя деньги, которыя получила въ свои руки несчастная Татьяна во все время замужества, такъ что она даже заплакала.

— Озолочу всѣхъ...—бахвалился Мыльниковъ передъ женой.

Чѣмъ существовала Татьяна съ ребятишками все это время, какъ Тарасъ забросилъ свое сапожное ремесло,—трудно сказать, какъ о всѣхъ бѣдныхъ людяхъ. Но она какъ-то перебилась и сама теперь удивлялась этому.

— Погоди, Татьяна, такой дворецъ выстроимъ,— хвастался Мыльниковъ.—Въ томъ родѣ, какъ была пьяная контора... Сказалъ: всѣхъ озолочу!

Въ слѣдующій разъ Мыльниковъ привезъ женѣ бутылку мадеры и коробку сардинъ, чѣмъ окончательно ее сконфузилъ. Впрочемъ, мадеру онъ выпилъ самъ, а сардинки велѣлъ сварить. Однимъ словомъ, зачудилъ мужикъ... Въ заключеніе, Мыльниковъ обошелъ кругомъ свою проваленную

избенку, даже постучалъ кулакомъ въ стѣны и проговорилъ:

— Дыра какая-то анаѳемская!..

У него сейчасъ мелькнулъ въ головѣ планъ новенькаго полукаменнаго домика съ раскрашенными ставнями. И на Фотьянкѣ начали мужики строиться—тамъ крыша новая, тамъ ворота, тамъ срубъ, а онъ всѣмъ покажетъ, какъ надо строиться.

Именно въ этотъ моментъ торжества Мыльникова на Фотьянку и пріѣхали Кишкинъ съ Кожинымъ. Ихъ по дорогѣ обогналъ Мыльниковъ, у котораго въ пошевняхъ сидѣла цѣлая ватага пьяныхъ мужиковъ.

— Андрону Естратычу!..—кричалъ Мыльниковъ, размахивая шапкой.—Што больно скукожился? Хошь денегъ?.. Вотъ только четвертной билетъ размѣняю въ заведеніи...

— Экъ вино-то въ тебѣ разыгралось, Тарасъ!—подивился Кишкинъ.—Очень ужъ перья-то распустилъ... Да и пріятелей хорошихъ нашелъ.

— Охъ, и не говори: такая канпанія, што знакомому чорту подарить, такъ не возьметъ... А какова у меня лошадка, Акинфій Назарычъ? Сорокъ цалковыхъ дадена...

— Замучишь, только и всего,—замѣтилъ Кожинъ, хозяйскимъ глазомъ посмотрѣвъ на взмыленную лошадь.—Не къ рукамъ конь...

На Фотьянку Кишкинъ пріѣхалъ прямо къ Петру Васильичу, чтобы сейчасъ же покончить все дѣло съ Ястребовымъ, который на счастье случился дома. Имъ помѣшалъ только Ермошка,

который теперь часто наѣзжалъ въ Фотьянку; приманкой для него служила Марья Родіоновна, на которую онъ перенесъ сейчасъ всѣ симпатіи. Если не судилъ Богъ жениться на Ѳенѣ, такъ надо взять видно Марью, — дѣвица вполнѣ правильная, безъ ошибочки. Да и Марья Родіоновна въ какой-нибудь мѣсяцъ совершенно измѣнилась: пополнѣла, сдѣлалась такой бойкой, а въ глазахъ огоньки такъ и играютъ.

— Погодите, Марья Родивоновна, пусть только моя Дарья издохнетъ, — уговаривался Ермошка впередъ:—сейчасъ же сватовъ зашлю...

— Андроны ѣдутъ, когда-то будутъ,—отшучивалась Марья.—Да и мое-то дѣвичье время ужъ прошло. Помоложе найдете, Ермолай Семенычъ.

— Въ самый вы разъ мнѣ подойдете, Марья Родивоновна... Какъ на заказъ.

Именно такой разговоръ и былъ прерванъ появленіемъ Кишкина и Кожина. Ермошка сразу нахмурился и недружелюбно посмотрѣлъ на своего счастливаго соперника, разстроившаго всѣ его планы семейной жизни. Пока Кишкинъ разговаривалъ съ Ястребовымъ въ его комнатѣ, всѣ трое находились въ очень неловкомъ положеніи. Кожинъ упрямо смотрѣлъ на Марью Родіоновну и молчалъ.

— Вы не насчетъ ли золота? — спросила она его.

— Желаю попробовать счастье, Марья Родивоновна: гдѣ наше не пропадало. Вотъ съ Кишкинымъ въ кампанію вступаю...

— И весьма напрасно-съ,—замѣтилъ Ермошка;—

пустой старичонко и пустыя слова разговариваетъ...

Ермошка вообще чувствовалъ себя не въ своей тарелкѣ и постарался убраться подъ какимъ-то предлогомъ. Кожинъ оставался и продолжалъ молчать.

— А што Ѳеня?—тихо спросилъ онъ.—Знаете, што я вамъ скажу, Марья Родивоновна: не жилецъ я на бѣломъ свѣтѣ. Чужой хожу по людямъ... И такъ мнѣ тошно, такъ тошно!.. Нѣтъ, зачѣмъ я это говорю?.. Вы не поймете, да и не дай Богъ никому понимать...

— Вы Богу молиться попробуйте, Акинфій Назарычъ...

— Ахъ пробовалъ... Ничего не выходитъ. Какія-то чужія слова, а настоящаго ничего нѣтъ... Молитвы во мнѣ настоящей нѣтъ, а такъ корчитъ всего. Увидите Ѳеню, поклончикъ ей скажите... скажите, какъ Акинфій Назарычъ любилъ ее... ахъ, какъ любилъ, какъ любилъ!.. Еще скажите... да, нѣтъ, ничего не нужно. Все равно, она не пойметъ... она теперь вся скверная... убить ее мало...

— Што вы говорите, Акинфій Назарычъ! Опомнитесь...

— Да, да... Опять не то. Это, вѣдь, я скверный весь, и на душѣ у меня ночь темная... А Ѳеня, она хорошая... Голубка, Ѳеня... родная!..

Кожинъ не замѣчалъ, какъ крупныя слезы катились у него по лицу, а Марья смотрѣла на него, не смѣя дохнуть. Ничего подобнаго она еще не видала, а это сильное мужское горе, такое хорошее и чистое, поразило ее. Вотъ такъ бы сама бро-

силась къ нему на шею, обняла, приголубила, заговорила жалкими бабьими словами, вмѣстѣ поплакала... Но въ этотъ моментъ вошелъ въ избу Петръ Васильичъ, слегка пошатывавшійся на ногахъ... Онъ подозрительно окинулъ своимъ единственнымъ окомъ гостя и сестрицу, а потомъ забормоталъ:

— Кто здѣсь хозяинъ? а?.. Ты о чемъ ревешь-то, Кожинъ?.. Эхъ, братъ, у бабъ послѣднее рукомесло отбиваешь...

Марья подошла къ хозяину, повернула его и потихоньку вытолкала въ дверь.

— Ступай, ступай, Петръ Васильичъ,—наговаривала она.—Потомъ придешь. Безъ тебя тошно...

— Марьюшка, а кто хозяинъ въ дому? а? А Ястребова я распатроню!.. Я ему по-кажу-у... Я, братъ, Марья, съ горя маненько выпилъ. Тоже обидно: вонъ какое богачество дураку Мыльникову привалило. Чѣмъ я его хуже?..

Открытая Мыльниковымъ жилка совсѣмъ свела съ ума Петра Васильича, который отъ зависти норовилъ уже нѣсколько дней и нѣсколько разъ лѣзъ даже въ драку съ счастливымъ обладателемъ сокровища.

— Только товаръ портишь, шваль!—ругался Петръ Васильичъ.—Што добылъ, то и стравилъ канпаніи ни за грошъ... По полтора рубля за золотникъ получаешь. Ахъ, дуракъ Мыльниковъ... Руки бы тебѣ по локоть отрубить... утопить... Дуракъ, дуракъ, дуракъ!.. Нашелъ жилку и молчалъ бы, а то растворилъ хайло: „жилку обыскалъ!“ Да не дуракъ ли?.. Языкъ тебѣ, подлому, отрѣзать...

Совѣщаніе Кишкина съ Ястребовымъ продолжалось довольно долго. Ястребовъ неожиданно заартачился, потому что на болотѣ уже производилась шурфовка, но потомъ онъ также неожиданно согласился, выговоривъ возмѣщеніе произведенныхъ затратъ. Ударили по рукамъ, и дѣло было кончено. У Кишкина дрожали руки, когда онъ подписывалъ условіе.

— Ну, владай, твое счастье!—смѣялся Ястребовъ. —У меня и безъ Мутяшки дѣла по горло. Одинъ Ягодный чего стоитъ...

VI.

Карачунскій переживалъ свой медовый мѣсяцъ. Вся его долгая жизнь представляла непрерывную цѣпь любовныхъ приключеній, при чемъ онъ любилъ дѣлать рѣзкіе переходы отъ одной категоріи женщинъ къ другой. Были у него интрижки съ женщинами „изъ общества“, при поджигающей обстановкѣ постоянной опасности, сценъ ревности, изящныхъ слезъ и неизящныхъ попрековъ. Да, женщины любили его, но онъ не отдавался вполнѣ ни одной и велъ свои дѣла такъ, что всегда было готово отступленіе. Это была сама житейская мудрость, которая завершалась письмами. Ахъ, какая это была своеобразная литература, если бы кто-нибудь имѣлъ терпѣніе прослѣдить ее во всѣхъ стадіяхъ! Карачунскаго обвиняли во всѣхъ преступленіяхъ, грозили, умоляли, и постепенно все дѣло сводилось къ желанному концу, т.-е. „на нѣтъ“. Что возмущало Карачунскаго, такъ это то,

что всѣ эти женщины изъ общества повторяли одна другую до тошноты—и радость, и горе, и восторги, и слезы, и хитрость носили печать шаблонности. И достоинство тоже было одно: всѣ эти „сюжеты“ умѣли молчать. Параллельно съ этимъ Карачунскій въ видѣ отдыха позволялъ себѣ легкія удовольствія съ „дѣтьми природы“, которыя у него фигурировали мимолетно подъ видомъ горничныхъ или экономокъ. До сихъ поръ всѣ они кончались очень печально: дитя природы устраивало крупный скандалъ съ угрозой жаловаться мировому и пр. Но „дѣти природы“ имѣли одну общую слабость: Карачунскій откупался отъ нихъ деньгами. Знакомые смотрѣли на все это, какъ на милыя шалости стараго холостяка, а Карачунскій былъ счастливъ тѣмъ, что съ нимъ не случалось никакихъ „органическихъ послѣдствій“. У него не было дѣтей, и это его спасало.

Изъ этой установившейся долголѣтней практики Карачунскаго совершенно выбила исторія съ Ѳеней. Это была совершенно незнакомая ему натура. О деньгахъ тутъ не могло быть и рѣчи, а, съ другой стороны, Карачунскій чувствовалъ, какъ онъ серіозно увлекся этой странной дѣвушкой, не походившей на другихъ женщинъ. Прежде всего въ ней много было природнаго такта и того пониманія, которое читаетъ между строкъ. Послѣднее было даже тяжело, потому что Карачунскій привыкъ третировать всѣхъ женщинъ свысока, въ самыхъ изысканныхъ, но все-таки обидныхъ формахъ. Здѣсь же все было на виду, каждое движеніе, каждое слово, каждая мысль. Карачунскій

зналъ, что Ѳеня уйдетъ отъ него сейчасъ же, какъ только замѣтитъ, что она лишняя въ этомъ домѣ. Эта благородная женская гордость, эта готовность къ самопожертвованію заставила его уважать именно эту простую, но полную жизни женскую натуру. Больше: Карачунскій съ ужасомъ почувствовалъ, что онъ теряетъ свою опытную волю и что дѣлается тѣмъ жалкимъ рабомъ, который въ его глазахъ всегда возбуждалъ презрѣніе. Мужчина доженъ быть полнымъ хозяиномъ въ той сферѣ, гдѣ женщинѣ самой природой отведена пассивная и подчиненная роль. Однимъ словомъ, онъ почувствовалъ, что серіозно влюбленъ въ первый еще разъ въ жизни. Это открытіе испугало его и опечалило. Онъ долго разсматривалъ свое цвѣтущее старческой красотой лицо, вздохнулъ и подумалъ вслухъ:

— Вѣдь это не любовь, а старость... Безсильная, подлая старость, которая цѣпенѣющими руками хватается за чужую молодость!.. Неужели я, Карачунскій, повторю другихъ, выжившихъ изъ ума стариковъ?..

И Ѳеня все это понимаетъ, хотя словами, вѣроятно, и не сумѣла бы объяснить всего происходившаго. Она и тогда это чувствовала, когда онъ заѣзжалъ на Фотьянкѣ къ баушкѣ Лукерьѣ подъ разными предлогами, а въ сущности для того, чтобы увидѣть Ѳеню и перекинуться съ ней нѣсколькими словами. Сначала его удивляло то, почему Ѳеня не вернулась къ Кожину, но потомъ понялъ и это: молодое счастье порвалось и склеить его во второй разъ было невозможно, а въ немъ она

искала ту тихую пристань, къ какой рвется каждая женщина, не утратившая лучшихъ женскихъ инстинктовъ. Въ немъ, въ Карачунскомъ, Ѳеня чутьемъ угадала существованіе такихъ душевныхъ качествъ, о которыхъ онъ самъ не зналъ. Прежде всего онъ не былъ злымъ человѣкомъ, а затѣмъ въ немъ сохранилось формальное чувство извѣстной внѣшней порядочности. Вотъ тѣ два пункта, на которыхъ возникли ихъ отношенія.

Но это было еще не все. Однажды за утреннимъ чаемъ Ѳеня неожиданно заявила:

— Позвольте мнѣ уйти, Степанъ Романычъ...

— Куда уйти?.. Что такое случилось?..

— Да ужъ такъ нужно... Не хочу васъ срамить.

Ѳеня опустила глаза и раскраснѣлась. Карачунскій посмотрѣлъ на нее съ какимъ-то испугомъ, точно надъ его головой пронеслось что-то такое громадное и грозное. Ѳеня молчала, оставаясь въ той же позѣ. Карачунскій зашагалъ по столовой, заложивъ руки въ карманы. Вотъ когда *оно* случилось, то, на что онъ меньше всего разсчитывалъ въ теченіе всей своей жизни, и что подкралось совершенно неожиданно. Да, вотъ эта дѣвушка хочетъ подарить отцовскую радость... Мысль о женѣ и дѣтяхъ мелькала иногда въ головѣ Карачунскаго, окруженная какимъ-то радужнымъ ореоломъ. Вѣдь жена это особенное существо, меньше всего похожее на всѣхъ другихъ женщинъ, особенно на тѣхъ, съ которыми Карачунскій привыкъ имѣть дѣло, а мать—это такое святое и чистое слово, для котораго нѣтъ сравненія. И вдругъ эта Ѳеня будетъ матерью его собственнаго ребенка...

Карачунскій весь какъ-то похолодѣлъ, начиная переживать что-то въ родѣ ненависти къ ней, вотъ къ этой Ѳенѣ. Въ какомъ-то туманѣ предъ нимъ пронесся Кожинъ, потомъ Фотьянка, и какое-то гаденькое чувство ревности къ ея прошлому заныло въ его душѣ.

— Куда же ты хочешь уйти?—машинально спрашивалъ онъ.

— Въ городъ...—коротко отвѣтила Ѳеня. — А тамъ ужъ какъ-нибудь поправлюсь.

— Такъ... да...

Ни слезъ, ни жалобъ, ни упрековъ, а то молчаливое горе, которое лежитъ въ душевной глубинѣ безформенной тяжестью.

Карачунскій провелъ безсонную ночь, терзаемый самыми противоположными чувствами и мыслями. Прежде всего приходилось мириться съ фактомъ, безжалостнымъ и неумолимымъ фактомъ. Ничтожный промежутокъ времени, и на свѣтъ появится таинственный пришлецъ, маленькое человѣческое существо, съ которымъ рождается и умираетъ вселенная. Тутъ нѣтъ ни сдѣлокъ, ни компромиссовъ, ни обходовъ, а одна жестокая зоологическая правда. „Вы меня не звали и не ждали, а вотъ я пришелъ“... Это вѣчная тайна жизни, которая умретъ съ послѣднимъ человѣкомъ. И рядомъ съ ней, съ этой тайной, уживаются такіе низкіе инстинкты, животный эгоизмъ и жалкія страсти. Въ Карачунскомъ проснулось смутное сознаніе своей несправедливости, и онъ съ ужасомъ оглянулся назадъ, гдѣ чередой проходили тѣни его прошлаго.

Это была ужасная ночь, полная молчаливаго отчаянія и безсильныхъ мукъ совѣсти. Вѣдь все равно, прошлаго не вернешь, а начинать жить снова поздно. Но совѣсть, совѣсть—этотъ неподкупный судья, который приходитъ ночью, когда все стихнетъ, садится у изголовья и начинаетъ свое жестокое дѣло!.: Жениться на Ѳенѣ? Она первая не согласится... Усыновить ребенка — обидно для матери, на которой можно жениться и на которой не женятся. Сотни комбинацій вертѣлись въ головѣ Карачунскаго, а рѣшеніе вопроса ни на волосъ не подвинулось впередъ.

Раннимъ утромъ Карачунскій уѣхалъ на Рублиху, чтобы провѣтриться послѣ безсонной ночи. Онъ въ первый разъ вздохнулъ свободно, когда очутился на свѣжемъ воздухѣ. Да, есть еще свѣжій воздухъ и снѣжные зимніе дни, и это низкое, сѣрое, зимнее небо. Пара закормленныхъ вятокъ неслась вихремъ; особенно играла пристяжка. Карачунскій замѣтилъ, что и кучеръ сегодня въ новомъ армякѣ и съ удовольствіемъ правитъ выхоленной парой. Это былъ старый промысловый кучеръ Агаѳонъ, ѣздившій постоянно только съ Карачунскимъ. Онъ имѣлъ странный, спеціально кучерской характеръ. Нѣсколько мѣсяцевъ ничего не пилъ, сберегалъ каждую копейку, обзаводился платьемъ, а потомъ спускалъ все въ нѣсколько дней въ обществѣ одной и той же солдатки, которую безжалостно колотилъ въ заключеніе фестиваля. Карачунскій каждый годъ собирался ему отказать, но каждый разъ отказывался отъ этого рѣшенія, потому что всѣ кучера

на свѣтѣ одинаковы. Агаѳонъ, конечно, былъ человѣкъ съ большими недостатками, но зато любилъ лошадей и ѣздилъ мастерски. Всѣ эти пустяки теперь проходили въ головѣ Карачунскаго, страшнымъ образомъ связываясь съ тѣмъ, что осталось тамъ, дома. Ѳеня, напримѣръ, не любила ѣздить съ Агаѳономъ, потому что стѣснялась предъ своимъ братомъ-мужикомъ своей сомнительной роли полубарыни, затѣмъ, она любила ходить въ конюшню и кормить изъ рукъ вотъ этихъ вятокъ и даже заплетала имъ гривы.

Потомъ Карачунскій заставилъ себя думать о Рублихѣ, чтобы отвлечь мысль отъ домашней заботы. Онъ сдѣлалъ все, чего добивался Родіонъ Потапычъ, и представилъ относительно новыхъ жильныхъ работъ громадную смѣту. Вопросъ, главнымъ образомъ, шелъ о вассеръ-штольнѣ, при помощи которой предполагалось отвести воду изъ главной шахты въ Балчуговку. Нужно было пробить Ульяновъ кряжъ поперекъ, что стоило громадныхъ денегъ, такъ какъ работы должны были вестись въ твердыхъ породахъ березита, сланцевъ и песчаниковъ. Многолѣтній опытъ показалъ, что вода начинаетъ „долить“ на горизонтѣ тридцати саженъ, съ этого пункта должна была выйти и вассеръ-штольня. Все это было очень рискованно, и Карачунскій зналъ, что Ониковъ уже интригуетъ противъ него, но это только усилило его упрямство. Можно сказать, что именно съ этого пункта и началось увлеченіе Карачунскаго новой жилой.

— Вотъ наши старателишки на Фотьянку лопочутъ,—замѣтилъ кучеръ Агаѳонъ, съ презрѣ-

ніемъ кивая головой на толпу оборванныхъ рабочихъ.—Отошла, видно, Фотьянка-то... Отгуляла свое, а теперь до вешней воды сиди-посиди.

Въ этихъ словахъ сказывалось ворчанье дворовой собаки на волчью стаю, и Карачунскій только пожалъ плечами. А видъ у рабочихъ былъ некрасивъ,—успѣли проѣсть лѣтніе заработки и отощали. По старой привычкѣ они снимали шапки, но глаза смотрѣли угрюмо и озлобленно. Карачунскій являлся для нихъ живымъ олицетвореніемъ всяческихъ промысловыхъ бѣдъ и напастей.

Родіонъ Потапычъ отнесся къ Карачунскому какъ-то особенно непривѣтливо и все отворачивался отъ него, не желая встрѣчаться глазами. Эти неловкія отношенія Карачунскій объяснялъ про себя домашними причинами и обрадовался, когда Родіонъ Потапычъ проговорился на чистоту.

— Что же это такое, Степанъ Романычъ,—ворчалъ старикъ:—житья мнѣ не стало...

— Что опять случилось?

— Да какъ же: подъ носомъ Мыльникову жилу отдали... Какой же это порядокъ? Теперь въ народѣ только и разговору, што про мыльниковскую жилу. Галдятъ по кабакамъ, ко мнѣ пристаютъ... Проходу не стало. А главное, обидно ужъ очень. На смѣхъ поднимаютъ...

— Ну, это все пустяки! — успокоивалъ Карачунскій.—Другой дѣлянки никому не дадимъ... Пусть Мыльниковъ, по условію, до десятой сажени дойдетъ, и конецъ дѣлу. Свои работы поставимъ... Да и убытка компаніи отъ этой жилки

нѣтъ никакого: онъ обязанъ сдавать по полтора рубля золотникъ... Даже расчетъ намъ имѣть даровую развѣдку. Вотъ мы сами ничего не можемъ найти, а Мыльниковъ нашелъ...

— И еще другое дѣло, Степанъ Романычъ: зятя сманилъ Мыльниковъ-то, моего, значитъ, зятя Прокопія. Онъ раньше-то въ доводчикахъ на золотопромывальной фабрикѣ ходилъ, а теперь точно белены объѣлся. Жену бросилъ, ребятишекъ бросилъ, а самъ точно прилипъ къ жилкѣ... Тоже сынъ Яшка. Ахъ, отодрать его, подлеца, было нужно тогда, Степанъ Романычъ, штобъ малый не баловался... Лѣто-то прошатался въ Кедровской дачѣ, а теперь у Мыльникова—вмѣстѣ пируютъ. Еще былъ у меня машинистъ на Спасо-Колчеданской шахтѣ, Семенычемъ звать, — хорошій машинистъ, и его Мыльниковъ сманилъ. Это какъ?..

— Это ваши семейныя дѣла, дѣдушка... Меня это не касается.

— Нѣтъ, все отъ тебя, Степанъ Романычъ: ты потачку далъ этому змѣю Мыльникову. Вотъ оно и пошло... Привезутъ ведро водки прямо къ жилкѣ и пьютъ. Тьфу... На гармоніи играютъ, пѣсни орутъ,—развѣ это порядокъ?..

— Хорошо, хорошо, все разберемъ. А вотъ какъ наши дѣла?..

— Пока ничего не обозначилось... Заложили разсѣчку на полдень,—все тотъ же ребровикъ.

— А штольня?

— На девятую сажень выбѣжала... Мы этой самой штольней насквозь пройдемъ весь кряжъ, и

все обозначится, што есть, чего нѣтъ. Да и вода показалась. Какъ тридцатую сажень кончили, точно ножомъ отрѣзало: вездѣ вода. Во всей дачѣ у насъ одно положенье...

Стоило Карачунскому только свести разговоръ на шахту, какъ старый штейгерѣ весь преобразился. Въ конторкѣ на столѣ были разложены планы работъ, на которыхъ детально были разрисованы всѣ „пройденныя“ породы и проектированныя „разсѣчки“ въ разныхъ горизонтахъ и въ разныхъ направленіяхъ. И Карачунскій и Родіонъ Потапычъ боялись только одного, чтобы не получилось той же геологической картины, какъ въ Спасо-Колчеданской шахтѣ. Тогда бросай всѣ работы, особенно если покажется роковой „красикъ“. Общихъ признаковъ, конечно, было много, но обращали вниманіе главнымъ образомъ на особенности напластыванія, мощность отдѣльныхъ породъ и тотъ порядокъ, въ которомъ онѣ слѣдовали одна за другой. Пока въ этомъ смыслѣ все шло хорошо, хотя жилы не было и званія, а только изрѣдка попадались пустыя прожилки кварца.

Среди этой дѣловой бесѣды у Карачунскаго мелькнула мысль, заставившая его похолодѣть. Онъ взглянулъ на убѣжденное, умное лицо своего собесѣдника, потеръ лобъ и проговорилъ:

— Послушайте, Родіонъ Потапычъ, вѣдь мы попали на такъ называемую блуждающую жилу? Это совершенно ясно... Мы бьемся надъ пустымъ мѣстомъ. Лучшее доказательство: шахта Мыльникова...

Зыковъ въ свою очередь посмотрѣлъ на глав-

наго управляющаго, разгладилъ свою окладистую сѣдую бороду и отвѣтилъ:

— А откуда Кривушокъ взялъ свое золото, Степанъ Романычъ? Прямо, говоритъ, самоваромъ оно ушло въ землю... Это какъ?

— Однако, мы ничего еще пока не нашли? Или жила расщепилась или она... Да, нѣтъ, это съ нашей стороны громадная ошибка.

Карачунскій опять посмотрѣлъ на главнаго штейгера и теперь понялъ все: предъ нимъ сидѣлъ сумасшедшій человѣкъ, какіе встрѣчаются только въ рискованныхъ промышленныхъ предпріятіяхъ. Да, совершенно сумасшедшій, который похоронитъ и себя, и его вотъ въ этой шахтѣ-могилѣ. Никакія слова, доводы и убѣжденія здѣсь не могли имѣть мѣста, разъ человѣкъ попалъ на эту мертвую толку. А всего хуже было то, что онъ, Карачунскій, попался, какъ мальчишка, котораго слѣдовало выдрать за уши. И отступать было поздно, потому что дѣло слишкомъ далеко зашло. Самое лучшее было забросить эту проклятую Рублиху, но въ переводѣ это значило загубить свою репутацію, а продолжая работы, можно было по меньшей мѣрѣ выиграть цѣлый годъ времени. Мало ли что можетъ случиться: можно наткнуться на случайную жилу, на новое „гнѣздо“ и т. д. Тогда возмѣстится хотя часть произведенныхъ расходовъ, чтобы отступить съ честью. Проклятая Рублиха съѣстъ все и, главное, ее остановить нельзя. Карачунскій чувствовалъ, какъ все начинаетъ вертѣться у него предъ глазами, и паровая машина работала точно у него въ головѣ.

— Только бы намъ штольню пройти...—повторялъ Родіонъ Потапычъ.—Тогда все обозначится, какъ на ладони.

— Да нечему обозначиться то...

Карачунскій отвѣчалъ машинально. Онъ былъ занятъ тѣмъ, что припоминалъ разные случаи семейной жизни Родіона Потапыча, о которыхъ зналъ черезъ Ѳеню, и приходилъ все больше къ убѣжденію, что это сумасшедшій, вѣрнѣе — маньякъ. Его отношенія къ Яшѣ Малому, къ Ѳенѣ, къ Марьѣ—все подтверждало эту мысль.

VII.

Своимъ поведеніемъ Мыльниковъ удивилъ даже людей, видавшихъ всякіе виды. Случаи дикаго счастья время отъ времени перепадали и въ Балчуговскомъ заводѣ и на Фотьянкѣ, когда кто-нибудь находилъ „гнѣздо“ золота или случайно натыкался на хорошій пропластокъ золотоносной розсыпи гдѣ-нибудь въ бортахъ. Эти случаи сейчасъ же иллюстрировались непремѣнно лошадью новокупной, новой одежей, пьянствомъ и новыми крышами на избахъ, а то и всей избой. За послѣднее лѣто такихъ новыхъ избъ появилось на Фотьянкѣ до десятка, а новыхъ крышъ и того больше. Куда только заглядывалъ золотой лучъ, сейчасъ сказывалось его чудотворное вліяніе. Тихо было только въ Балчуговскомъ заводѣ, потому что изъ балчуговцевъ никому не посчастливило кедровское золото. Мыльниковъ, отыскавъ жилку, поступалъ такъ, какъ никто до него еще не

дѣлалъ. Онъ не работалъ „сплошь“, день за днемъ, а только тогда, когда были нужны деньги.

— Не велика жилка въ двадцати-то пяти саженяхъ, какъ разъ ее въ недѣлю выробишь! — объяснялъ онъ.—Добылъ все, деньги пропилъ, а на похмелье ничего и не осталось... Видывали мы, какъ другіе-протчіе потомъ локти кусали. Нѣтъ, братъ, меня не проведешь... Мы будемъ сливочками снимать свою жилку, по удоямъ.

Такъ Мыльниковъ и дѣлалъ: въ недѣлю работалъ день или два, а остальное время „компанился“. Къ нему приклеился и Яша Малый, и зять Прокопій, и машинистъ Семенычъ. Было много и другихъ желающихъ, но Мыльниковъ чужимъ всѣмъ отказывалъ. Исключеніе представлялъ одинъ Семенычъ, котораго Мыльниковъ взялъ назло дорогому тестюшкѣ Родіону Потапычу.

— Пусть старый чортъ чувствуетъ...—хихикалъ Мыльниковъ.—Всю его шахту за себя переведу. Тоже, родню Богъ далъ...

Появленіе зятя Прокопія было слѣдствіемъ той же политики, подготовленной еще съ лѣта Яшей Малымъ. Хоть этимъ старались донять грознаго старика, семья котораго распалась на крохи меньше чѣмъ въ одинъ годъ. Всѣ разбрелись, куда глаза глядятъ, а въ зыковскомъ домѣ оставались только сама Устинья Марковна съ Анной да ребятишками. Произошелъ полный разгромъ крѣпкой старинной семьи, складывавшейся годами. Устинья Марковна какъ-то совсѣмъ опустилась и отнеслась къ бѣгству Прокопія почти безучастно: это была та покорность судьбѣ, какая вызывается стихій-

нымъ несчастіемъ Не такъ посмотрѣла на дѣло Анна. Эта скромная и неподнимавшая голоса женщина молча собралась и отправилась прямо на Ульяновъ кряжъ, гдѣ и накрыла мужа на самомъ мѣстѣ преступленія: онъ сидѣлъ около дудки и пилъ водку вмѣстѣ съ другими. Какъ вскинулась Анна, какъ заголосила, какъ вцѣпилась въ мужа— едва оттащили.

— Разоритель! погубитель!.. По міру всѣхъ пустилъ...—причитала Анна, стараясь вырваться изъ державшихъ ее рукъ.—Жива не хочу быть, ежели сейчасъ же не воротишься домой... Куды я съ ребятами-то дѣнусь?.. Охъ, головушка моя спобѣдная...

— Перестаньте, любезная сестрица Анна Родивоновна,—уговаривалъ Мыльниковъ съ ядовитой любезностью.—Не онъ первый, не онъ послѣдній, вашъ-то Прокопій... Будетъ ему сидѣть у тестя на цѣпи.

— Ахъ, ты... Да я тебѣ выцарапаю безстыжіе-то глаза!.. Всѣхъ только смущаешь, пустая башка... Пропьете жилку, а потомъ куда Прокопій-то?

— Ахъ, сестричка Анна Родивоновна: волка ноги кормятъ. А што касаемо того, што мы испиваемъ малость, такъ, вѣдь, и свиньѣ бываетъ праздникъ. Въ кой-то годы Господь счастки послалъ... А вы, любезная сестричка, выпейте лучше съ нами за канпанію стаканчикъ сладкой водочки. Все ваше горе какъ рукой сниметъ... Эй, Яша, сдѣйствуй нащетъ мадеры!..

— Да я васъ, проклятущихъ, и видѣть-то не хочу, не то што пить съ вами!—ругалась любезная сестрица и даже плюнула на Мыльникова.

У Мыльникова сложился въ головѣ наборъ любимыхъ словъ, которыя онъ пускалъ въ оборотъ кстати и некстати: „кампанія“, „руководствовать“, „модель“ и т. д. Онъ любилъ поговорить по-хорошему съ хорошимъ человѣкомъ и обижался всякой невѣжливостью, въ родѣ той, какую позволяла себѣ любезная сестрица Анна Родивоновна. Зачѣмъ жы было плевать прямо въ морду? Это ужъ даже совсѣмъ не модель, особенно въ хорошей кампаніи...

Такъ Анна и ушла ни съ чѣмъ для перваго раза, потому что мужъ былъ не одинъ и малодушно прятался за другихъ. Оставалось выжидать случая, чтобы поймать его съ глазу на глазъ и тогда разсчитаться за все.

Мы должны теперь объяснить, какимъ образомъ шла работа на жилкѣ Мыльникова, и въ чемъ она заключалась. Когда деньги выходили, Мыльниковъ заказывалъ съ вечера своимъ компаньонамъ выходить утромъ на работу.

— У меня штобы въ самую точку, какъ въ казенное время...—уговаривался онъ для внѣшности.—Ужо колоколъ повѣшу, штобы на работу и съ работы отбивать. Законъ требуетъ порядка...

Утромъ рано всѣ являлись на мѣсто дѣйствія. Въ дудку Мыльниковъ никого не пускалъ, а лѣзъ самъ или посылалъ Оксю. Дудка углублялась на какой-нибудь аршинъ. Сначала поднимали „пустякъ“, теперь „воротниками“ или „вертелами“ состояли Яша Малый и Прокопій, а отвозилъ добытый „пустякъ“ въ отвалъ Семенычъ. При четверыхъ мужикахъ работа спорилась, не то что когда работали сначала при палачѣ Никитушкѣ.

Кстати, послѣдній не вынесъ пьянства и куда-то скрылся. Затѣмъ добывалась самая „жилка“, т. е. куски проржавѣвшаго кварца съ вкрапленнымъ въ него золотомъ. Обыкновенно и при хорошемъ содержаніи „видимаго золота“ не бываетъ, за исключеніемъ отдѣльныхъ „гнѣздовокъ“, а „Оксина жила“ была сплошь съ видимымъ золотомъ. Въ отдѣльныхъ кускахъ благородный металлъ „сидѣлъ медуницами“.

— Точно плюнуто золотомъ-то!—объяснялъ самъ Мыльниковъ, когда привозилъ свою жилку на золотопромывальную фабрику.—А то какъ масло коровье али желтокъ изъ курячьяго яйца...

Изъ ста пудовъ кварца иногда „падало“ до фунта, а это въ переводѣ означало больше ста рублей. Значитъ день работы обезпечивалъ цѣлую недѣлю гулянки. Въ одну изъ такихъ получекъ Мыльниковъ явился въ свою избушку, выдалъ женѣ положенные 3 рубля и заявилъ, что хочетъ строиться.

— И то пора бы,—согласилась Татьяна.—Все равно, пропьешь деньги.

— Молчать, баба! Не твоего ума дѣло... Таку стройку подымемъ, што чертямъ будетъ тошно.

Архитектурные планы у Мыльникова были свои собственные. Онъ сначала поставилъ ворота. Это было нѣчто грандіозное: столбы рѣзные, наверху шатровая крыша, скоба луженая, а на крышѣ вырѣзанный изъ жести пѣтухъ, который повертывался по вѣтру. Ворота были поставлены въ нѣсколько дней, и Мыльниковъ все время не зналъ покоя. Но, истощивъ свою архитектурную энергію, онъ бросилъ все и уѣхалъ на Фотьянку. Избушка

при новыхъ воротахъ казалась еще ниже, точно она отъ огорченія присѣла. Сосѣди поднимали Мыльникова насмѣхъ, но онъ только посмѣивался: хорошій хозяинъ сначала кнутъ да узду покупаетъ, а потомъ ужъ лошадь заводитъ.

Мы уже сказали выше, что Петръ Васильичъ ужасно завидовалъ дикому счастью Мыльникова и громко ропталъ по этому поводу. Въ самомъ дѣлѣ, почему богатство „прикачнулось“ дураку, который пуститъ его по вѣтру, а не ему, Петру Васильичу?.. Сколько одного страху наберется со своей скупкой хищническаго золота, а прибыль вся Ястребову. Тутъ было о чемъ подумать... И Петръ Васильичъ все думалъ и думалъ. Наконецъ, онъ придумалъ, что было нужно сдѣлать. Встрѣтивъ какъ-то пьянаго Мыльникова на улицѣ, онъ остановилъ его и слащаво заговорилъ.

— Все еще портишь товаръ-то, безпутная голова?..

— А тебѣ какое горе приключилось отъ этого, кривая ерахта?

— Да такъ... Вчужѣ на дураковъ-то глядѣть тошно.

— Это ты къ чему гнешь?

Петръ Васильичъ оглядѣлся, нѣтъ ли кого поблизости, хлопнулъ Мыльникова по плечу и шопотомъ проговорилъ:

— Дуракъ ты, Тарасъ, вѣрно тебѣ говорю... Сдавай въ контору половину жилки, а другую мнѣ. По два съ полтиной дамъ за золотникъ... Какъ разъ вдвое выходитъ супротивъ компанейской цѣны. Говорю: дуракъ... Товаръ портишь.

Мыльниковъ задумался. Дуракъ-то онъ дуракъ, это вѣрно, да и „прелестныя рѣчи“ Петра Васильича тоже хороши. Цѣна обидная въ конторѣ, а все-таки отъ добра добра не ищутъ.

— Нѣтъ, братъ, неподходящая мнѣ эта модель,— отвѣтилъ Мыльниковъ, встряхивая головой.—Потому какъ лицо у меня чистое, незамаранное.

— Ахъ, дуракъ, дуракъ...

— Таковъ уродился... Говорю: не подверженъ, штобы такая, напримѣръ, модель.

— Да не дуракъ ли... а? Да, вѣдь, тебѣ, идолу, башку твою надо пустую расшибить вотъ за такія слова.

Такія грубыя рѣчи взорвали деликатныя чувства Мыльникова. Произошла настоящая ругань, а потомъ драка. Мыльниковъ былъ пьянъ, и Петръ Васильичъ здорово оттузилъ его, пока сбѣжался народъ, и ихъ розняли.

— Вотъ тебѣ, новому золотопромышленнику, старому нищему!—ругался Петръ Васильичъ, давая Мыльникову послѣдняго пинка.—Давайте я его удавлю, пса...

Мыльниковъ поднялся съ земли, встряхнулся, поправилъ свой пострадавшій во время свалки костюмъ и, покрутивъ головой, философски замѣтилъ:

— Наградилъ Господь родней, нечего сказать...

Это родственное недоразумѣніе сейчасъ же было залито водкой въ кабакѣ Фролки, гдѣ Мыльниковъ чувствовалъ себя какъ дома и даже часто сидѣлъ за стойкой, рядомъ съ цѣловальникомъ,

чтобы всѣ видѣли, каковъ есть человѣкъ Тарасъ Мыльниковъ.

Но Петръ Васильичъ не ограничился этой неудачной попыткой. Махнувъ рукой на самого Мыльникова, онъ обратилъ вниманіе на его сотрудниковъ. Яша Малый былъ ближе другихъ, да глупъ, Прокопій, пожалуй, и поумнѣе, да трусъ,— только телята его не лижутъ. Оставался одинъ Семенычъ, который былъ чужимъ человѣкомъ. Петръ Васильичъ зазвалъ его какъ-то въ воскресенье къ себѣ, велѣлъ Марьѣ поставить самоваръ, купилъ наливки и завелъ тихія любовныя рѣчи.

— Трудненько, поди, тебѣ, Семенычъ, съ казеннаго-то хлѣба прямо на наше волчье положенье перейти? — пыталъ Петръ Васильичъ, наигрывая единственнымъ окомъ.—Скушненько, поди, а?

— Сперва-то сумнѣвался, это точно, а потомъ пріобыкъ...

— Оно, конешно, привычка, а все-таки... При машинѣ-то въ теплѣ сидѣлъ, а тутъ на холоду да на погодѣ.

Семенычъ отъ наливки и горячаго чая замѣтно захмелѣлъ, и языкъ у него сталъ путаться. А тутъ Марья все около самовара вертится и на него поглядываетъ.

— Не заглядывайся больно-то, Марьюшка, а то послѣ тосковать будешь, — пошутилъ Петръ Васильичъ.—Парень чистякъ, ужъ это што говорить.

— Нашъ, поди, балчуговскій, безъ тебя знаю...— смѣло отвѣчала Марья, за словомъ въ карманъ не лазившая вообще.—Почитай въ сусѣдяхъ съ Петромъ Семенычемъ жили...

— Въ субботу, когда съ шахты выходилъ домой, мимо васъ дорога была, Марья Родивоновна... Тошно, поди, вамъ здѣсь на Фотьянкѣ-то?.. Однимъ словомъ, кондовое варнацкое гнѣздо.

— А ты, Марьюшка, маненько какъ будто уничтожься...—шепнулъ Петръ Васильичъ, моргая окомъ.—Дѣльце у насъ съ Петромъ Семенычемъ.

Марья вышла съ большой неохотой, а Петръ Васильичъ подвинулся еще ближе къ гостю, налилъ ему еще наливки и завелъ сладкую рѣчь о глупости Мыльникова, который „портилъ товаръ". Когда машинистъ понялъ, въ какую сторону гнулъ свою рѣчь тароватый хозяинъ, то отрицательно покачалъ головой. Ничего нельзя подѣлать. Мыльниковъ, конечно, глупъ, а все-таки никого въ дудку не пускаетъ: либо самъ спускается, либо посылаетъ Оксю.

— Такъ, такъ...—соглашался Петръ Васильичъ, жалѣя, что напрасно только стравилъ полуштофъ наливки, а парень оказался круглымъ дуракомъ.— Но, Семенычъ, теперь ты тово... ступай, значитъ, домой.

Когда Семенычъ, пошатываясь, выходилъ изъ избы, въ полутемныхъ сѣняхъ его остановила Марья,—она его караулила здѣсь битый часъ.

— Петръ Семенычъ, голубчикъ, не вѣрьте вы ни единому слову Петра-то Васильича,—шепнула она.—Не спроста онъ улещалъ васъ... Продастъ.

Вмѣсто отвѣта Семенычъ привлекъ къ себѣ бойкую дѣвушку и поцѣловалъ прямо въ губы. Марья вся дрожала, прижавшись къ нему плечомъ. Это былъ первый мужской поцѣлуй, горя-

чимъ лучомъ оживившій ея завядшее дѣвичье сердце. Она, впрочемъ, сейчасъ же опомнилась, помогла спуститься дорогому гостю съ крутой лѣстницы и проводила до воротъ. Машинистъ, разлакомившись легкой побѣдой, хотѣлъ еще разъ обнять ее, но Марья кокетливо увернулась и только погрозила пальцемъ.

— Ужо выходи вечеркомъ за ворота...—упрашивалъ разгорѣвшійся Семенычъ.

— Больно ускорился... Ступай да неси и не потеряй.

Когда Марья вихремъ взлетѣла на крыльцо, охваченная пожаромъ своего поздняго счастья, ее встрѣтила баушка Лукерья. Старуха молча ухватила племянницу за ухо и такъ увела въ заднюю избу.

— Ты это што придумала-то, негодница?

— Баушка, миленькая... золотая...

— Я тебѣ покажу баушку?!.. Ѳенька сбѣжала, да ты сбѣжишь, а я съ кѣмъ тутъ останусь? Ну, диви бы молоденькая дѣвчонка была, у которой вѣтеръ на умѣ, а то... тьфу!.. Срамъ и говорить-то... По сѣнямъ жениховъ ловишь, срамница.

Марья терпѣливо выслушала ворчанье и попреки старухи, а сама думала только одно, какъ это баушка не пойметъ, что если молодыя дѣвки выскакиваютъ замужъ безъ хлопотъ, такъ ей надо самой позаботиться о своей головѣ. Не на кого больше-то надѣяться... Голова у Марьи такъ и кружилась, даже духъ захватывало. Не изъ важныхъ жениховъ машинистъ Семенычъ, а все-таки мужчина... Хорошо баушкѣ Лукерьѣ теперь бобы-

то разводить, когда свой вѣкъ изжила. Тятенька Родіонъ Потапычъ такой же: только про себя и знаютъ.

Много было подходовъ къ Мыльникову отъ своихъ и чужихъ, желавшихъ воспользоваться его жилкой, но пока все проходило благополучно. Мыльниковъ твердо велъ свою линію и знать ничего не хотѣлъ. Такъ, онъ во-время былъ предупрежденъ относительно готовившейся ночной экспедиціи на его жилку и устроилъ засаду. Воры попались. Затѣмъ, чтобы предупредить подобныя покушенія, онъ прикрылъ свою дудку тяжелой западней, запиравшейся на два громадныхъ замка. Но и всѣ эти мѣры не спасли Мыльникова отъ хищенія: воръ оказался хитрѣе его и предупредительнѣе. Вышло это слѣдующимъ образомъ. Мыльниковъ спускался въ дудку самъ или посылалъ Оксю, когда самому не хотѣлось. Послѣднее вошло мало-по-малу въ обычай, такъ что съ средины зимы самъ Мыльниковъ пересталъ совсѣмъ спускаться въ дудку, великодушно предоставивъ это Оксѣ.

— Эй, Оксюха, поворачивай!—кричалъ онъ ей сверху.—Не острами своего родителя...

— Въ отвѣтъ слышалось легкое ворчанье Окси или какой-нибудь пикантный отвѣтъ. Окся научилась огрызаться, а на днѣ дудки чувствовала себя въ полной безопасности отъ родительскихъ кулаковъ. Когда требовалась мужицкая работа, въ дудку на канатѣ спускался Яша Малый и помогалъ Оксѣ что нужно. Вылѣзала изъ дудки Окся чортъ чортомъ, до того измазывалась глиной, и

сейчасъ же отправлялась къ дѣдушкѣ на Рублиху, чтобы обсушиться и обогрѣться. Родіонъ Потапычъ принималъ внучку со своей сердитой ласковостью.

— Опять ты пришла свинья свиньей, Аксинья: рыломъ-то пошто въ глину тыкалась?..

— Посадить бы самого въ дудку, такъ поглядѣла бы я на тебя, какимъ бы ты анделомъ оттуда вылѣзъ,— отвѣчала Окся.

— По закону, бабамъ совсѣмъ не полагается въ подземныя работы лазать. Я вотъ тебя еще въ тюрьму посажу.

— А мнѣ все одно: сади. Экъ, подумаешь, испугалъ...

Родіонъ Потапычъ любилъ разговаривать съ Оксей и даже совѣтовался съ ней относительно „разсѣчекъ“ въ шахтѣ, потому что у Окси была легкая рука на золото.

Никто не зналъ только одного: Окся каждый разъ выносила изъ дудки куски кварца съ золотомъ, завернутые въ разномъ тряпьѣ, а потомъ прятала ихъ въ дѣдушкиной конторкѣ,—безопаснѣе мѣста не могло и быть. Она продѣлывала всю операцію съ ловкостью обезьяны и безстрастнымъ спокойствіемъ лунатика.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ.

I.

Заручившись заключеннымъ съ Ястребовымъ условіемъ, Кишкинъ и Кожинъ, не теряя времени, сейчасъ же оправились на Мутяшку. Дѣло было въ январѣ. Стояли страшные холода, отъ которыхъ птица замерзала налету, но это не удержало предпринимателей. Особенно торопилъ Кожинъ, точно за нимъ кто гнался по пятамъ.

— Увези ты меня въ лѣсъ, Андронъ Евстратычъ! — упрашивалъ онъ. — Можетъ, въ лѣсу отойду...

— Смотри, уговоръ на берегу: не сбѣги изъ лѣсу-то. Не сладко тамъ теперь...

— Самъ буду работать, своими руками, какъ простой рабочій, только бы избыть свою муку мученическую.

— Ну, отъ этого вылѣчимъ, а на молодомъ тѣлѣ и не такая бѣда изнашивается.

Партія составилась изъ Матюшки, Турки и Мины Клейменаго, которые работали лѣтомъ, да прибавилось еще двое молодыхъ рабочихъ. Недоставало Мыльникова, Петра Васильича и Яши Малаго, но

о нихъ Кишкинъ не жалѣлъ: хороши, когда спятъ, а днемъ на работѣ точно ихъ нѣтъ. Лошади такія бываютъ, которыя на оглобли оглядываются, чтобы лишнее не перебѣжать. Зимняя дорога въ Кедровскую дачу была гораздо удобнѣе, да и пробили ее на промысла, какъ пріискъ Ягодный. Снѣгъ выпалъ въ два аршина, такъ что лошадь тонула въ немъ, стоило сбиться съ накатаннаго „полоза". Зимнія сани поэтому дѣлались на высокихъ копыльяхъ, чтобы не запруживало въ передокъ снѣгомъ. На такихъ саняхъ и ѣхали новые компаньоны.

— Посмотри, благодать-то какая!—умиленно повторялъ Кишкинъ, окидывая зеленыя стѣны дремучаго ельника.—Силища-то претъ изъ земли... А тутъ снѣжкомъ все подернуло.

Дѣйствительно, трудно представить себѣ что-нибудь лучше такого ельника зимой, когда онъ стоитъ по колѣна въ снѣгу, точно очарованный. Траурная зелень пріятно контрастировала съ дѣвственной бѣлизной снѣга. Мертвое молчаніе такого лѣса напоминало сказочный богатырскій сонъ. Ни шелохнетъ, ни скрипнетъ, ни пискнетъ,—торжественное молчаніе охватило все кругомъ, какъ на молитвѣ. Именно такое молитвенное настроеніе испытывалъ Кожинъ, когда они ѣхали съ Фотьянки на Мутяшку. Точно мерзлая глыба отваливалась съ души... Еще есть бѣлый свѣтъ, и не клиномъ сошлась земля. Давно ничего подобнаго не переживалъ Кожинъ, и ему хотѣлось плакать отъ радости. Уйти отъ своей бѣды, схорониться отъ всѣхъ въ лѣсу, уложить здѣсь свою

силу богатырскую—да какого же еще счастья нужно? Онъ припоминалъ своихъ раскольничьихъ старцевъ, спасавшихся въ пустынѣ, печальные раскольничьи „стихи“, сложенные вотъ по такимъ дебрямъ, и ему начиналъ казаться этотъ лѣсъ безконечно роднымъ, тѣмъ старымъ другомъ, къ которому можно прійти съ бѣдой и найти утѣшеніе. А морозъ какой здоровый—такъ и хватаетъ прямо за душу! Дышать больно. Снѣгъ слѣпитъ глаза, а впереди несмѣтной ратью встаетъ все тотъ же красавецъ лѣсъ, заснувшій богатырскимъ сномъ.

Зимній день коротокъ, чуть заря съ зарей не сходится. На Мутяшку пріѣхали подъ вечеръ, когда между деревьями начали кутаться быстрыя зимнія сумерки.

— Вотъ, слава Богу, мы и дома!—весело сказалъ Кишкинъ, вылѣзая изъ саней въ снѣгъ.— А вонъ и дворецъ...

На берегу Мутяшки къ самому лѣсу приткнулась старательская землянка, полузанесенная снѣгомъ. Пришлось ее отгребать, а потомъ заново сложить печку-каменку, какія устраиваются на живую руку по охотничьимъ зимовьямъ. Весь полъ былъ устланъ сейчасъ же свѣжей хвоей, а также широкія нары, устроенныя изъ тяжелыхъ деревянныхъ плахъ. Когда вспыхнулъ въ каменкѣ веселый огонекъ и краснымъ языкомъ лизнулъ старую сажу въ отдушинѣ, все точно повеселѣло кругомъ. Весело загремѣлъ въ лѣсу топоръ, а синій дымокъ потянулъ столбомъ кверху, какъ это бываетъ только въ сильные морозы. Закипѣлъ

первый котелокъ, повѣшанный надъ самымъ „пальмо́мъ“, и промысловый ужинъ былъ готовъ.

— Чаю мы съ тобой завтра напьемся,—утѣшалъ Кишкинъ притихшаго компаньона. — Ужо надо выйти изъ балагана-то, а то какъ разъ угоришь: отъ сырости всегда угарно бываетъ.

Ночь выпала звѣздная, свѣтлая. На искрившійся синими огоньками снѣгъ было смотрѣть больно. Мѣстность было трудно узнать—такъ все кругомъ измѣнилось. Именно здѣсь случился грустный эпизодъ неудачнаго поиска свиньи. Кишкинъ только вздохнулъ и замѣтилъ Минѣ Клейменому:

— Вѣдь нашла, подлая, жилку, а намъ не хотѣла указать...

— Отодрать бы ее тогда на этомъ самомъ мѣстѣ,—отвѣтилъ старый каторжанинъ.—Не бойсь, сказала бы...

Долго смотрѣлъ Кишкинъ на завѣтное мѣстечко и про себя сравнивалъ его съ фотьянской розсыпью: такая же береговая покать, такая же мочежинка языкомъ влизалась въ берегъ, такъ же рѣка сдѣлала къ другому берегу отбой. Непремѣнно здѣсь должно было сгрудиться золото: некуда ему дѣваться. Онъ даже перекрестился, чтобы отогнать слишкомъ корыстныя думы, тяжелой ржавчиной ложившіяся на его озлобленную старую душу.

И ночью Кишкину не спалось. То шаги какіе-то слышатся, то птичій клекотъ, то шушуканье,— не совсѣмъ чистое мѣсто. А зато намерзшійся за день Кожинъ спалъ мертвымъ сномъ. Извѣстно,

молодое дѣло: только до мѣста, и готовъ. Сто разъ пересчиталъ Кишкинъ свой капиталъ и высчиталъ впередъ по днямъ, сколько можно продержаться на эти деньги. Не великъ капиталъ, а ко времени дорогъ... Передъ самымъ утромъ едва забылся старикъ, да и тутъ увидѣлъ такой сонъ, что сейчасъ же проснулся. Видѣлъ онъ во снѣ старое дуплистое дерево, а на вершинѣ сидѣли два ворона и клевали прямо сердцевину. Какъ будто и хорошо, и какъ будто не совсѣмъ.

Утромъ на другой день поднялись всѣ рано и успѣли закусить и напиться чаю еще до свѣту. На брезгу началась и работа. Предварительно были осмотрѣны ястребовскіе шурфы, пробитые по первымъ заморозкамъ. Только опытный промысловый глазъ могъ открыть едва замѣтные холмики, состоявшіе изъ земли и снѣга. Лѣтомъ изслѣдовать содержаніе болота было трудно, а изъподъ льда удобнѣе: прорубалась прорубь, и землю вычерпывали со дна большими промысловыми ковшами на длинныхъ черняхъ. Такая работа требовала умѣлыхъ рукъ. Кожинъ не могъ себѣ представить, что можно было сдѣлать съ такимъ болотомъ. Сейчасъ эти условія работы окончательно облегчались тѣмъ обстоятельствомъ, что болото промерзло насквозь, и вода оставалась только въ глубокихъ колдобинахъ и болотныхъ „окнахъ“. Кишкинъ еще съ лѣта разсмотрѣлъ болото въ мельчайшихъ подробностяхъ и про себя вырѣшалъ вопросъ, какъ должна была расположиться предполагаемая розсыпь—гдѣ ея „голова“ и гдѣ „хвостъ“. Главнымъ дѣйствующимъ лицомъ въ

образованіи ея, конечно, являлась рѣка Мутяшка, которая раньше подбивалась здѣсь къ самому берегу и наносила золотоносный песокъ, а потомъ, размывъ берегъ, ушла, оставивъ громадную заводь, постепенно превратившуюся въ болото. Для Кишкина картина всей этой геологической работы была, ясна какъ день, и онъ еще лѣтомъ намѣтилъ пункты, съ которыхъ нужно было начать развѣдку.

— Ну, братцы, съ Богомъ,—проговорилъ Кишкинъ, очерчивая пешней размѣры перваго шурфа.—Акинфій Назарычъ, давай-ко, начни, благословясь... Твоя рука легкая.

Рабочіе очистили снѣгъ, и Кожинъ принялся топоромъ рубить ледъ, который здѣсь былъ въ аршинъ. Кишкинъ боялся, что не осталась ли подъ льдомъ вода, которая затруднила бы работу въ нѣсколько разъ, но воды не оказалось—болото промерзло насквозь. Сейчасъ подъ льдомъ начиналась смерзшаяся, какъ камень, земля. Здѣсь опять была своя выгода: земля промерзла всего четверти на двѣ, тогда какъ безъ льда она промерзла на всѣ два аршина. Заложивъ шурфъ, Кожинъ присѣлъ отдохнуть. Отъ него паръ такъ и валилъ.

— Што, хорошо, Акинфій Назарычъ?

— Лучше не бываетъ...

— То-то, тебѣ въ охотку поработать. Молодой человѣкъ, не знаешь, куда съ силой дѣваться...

Пока Кожинъ отдыхалъ, его мѣсто занялъ Матюшка, у котораго работа спорилась вдвое. Привычный человѣкъ: каждое движеніе разсчитано. Кишкинъ всегда любовался на Матюшкину ра-

боту. До обѣда едва прошли всего одинъ аршинъ, а послѣ обѣда началась уже легкая работа, потому что шла талая земля, которую можно было добывать кайломъ и лопатой. На глубинѣ двухъ аршинъ встрѣтился первый фальшивый пропластокъ мясниковатаго песку, перемѣшаннаго съ синей рѣчной глиной. Кишкинъ долго разсматривалъ кусокъ этой глины и молча передалъ ее Минѣ Клейменому.

— Эта не обманетъ...—задумчиво проговорилъ старый каторжанинъ, растирая на ладони глину.— Мать наша эта синяя глинка.

— Случается и пустая,—замѣтилъ Кишкинъ.

Уже къ самому вечеру вышли на настоящій песокъ, такъ что пробу пришлось дѣлать уже въ избушкѣ. Эта операція производилась въ большомъ азіатскомъ ковшѣ. Кишкинъ набралъ полный ковшъ песку и началъ медленно размѣшивать песокъ вмѣстѣ съ водой, сбрасывая гальки и хрящъ и сливая мутную воду. Послѣдовательно продолжая отмучивать глину и выбирать крупный песокъ, онъ встряхивалъ ковшъ, чтобы крупинки золота, въ силу своего удѣльнаго вѣса, осаждались на самое дно, вмѣстѣ съ блестящимъ чернымъ песочкомъ — по-пріисковому „шлихи“. Эти послѣдніе, какъ продуктъ разрушенія бураго желѣзняка, осаждались на самое дно въ силу своей тяжести; шлиховъ получилось достаточное количество, и когда вода уже не взмучивалась, старикъ долго и внимательно ихъ разсматривалъ.

— Поблескиваетъ одна золотина...—проговорилъ онъ.

— Не корыстное дѣло,—отвѣтилъ за всѣхъ Турка.

Такъ открылись зимнія работы. Ежедневно выбивалось отъ двухъ до трехъ шурфовъ, при чемъ Кожинъ быстро „наварлыжился“ въ земляной работѣ и уступалъ только одному Матюшкѣ. Пробу производилъ постоянно самъ Кишкинъ, не довѣрявшій никому такого отвѣтственнаго дѣла. Въ хвостѣ розсыпи было такимъ образомъ пробито десять шурфовъ, а затѣмъ перешли прямо къ „головѣ“. Это было уже черезъ недѣлю, какъ партія жила въ лѣсу. День выдался теплый, и падалъ мягкій снѣжокъ. Первый шурфъ былъ пробитъ еще до обѣда, и Кишкинъ сталъ дѣлать пробу тутъ же около огонька, разложеннаго на льду. Рабочіе отдыхали. Кожинъ сидѣлъ у самаго костра и задумчиво смотрѣлъ на весело трещавшій огонекъ.

— Ну, такъ какъ же насчетъ свиньи-то, дѣдко?—спрашивалъ Матюшка, обращаясь къ Минѣ Клейменому.—Должна она быть безпремѣнно...

— Куда ей дѣваться?—увѣренно отвѣчалъ старикъ. — Только вотъ взять-то ее умѣючи надо... Къ рукамъ она, свинья эта самая. На счастливаго, одно слово...

— Уползла, видно, она къ Мыльникову,—подшутилъ Турка.—Мы ее здѣсь достигаемъ, а она вонъ гдѣ обозначилась: зарылась въ Ульяновомъ кряжу, еще и не одна, а съ поросятами вмѣстѣ...

— Ну, то другая статья,—авторитетно замѣтилъ Матюшка, закуривая цыгару.—Одно—жилка, другое—розсыпь...

Въ этотъ моментъ Кишкинъ слабо вскрикнулъ,

точно его что придавило, и выпустилъ ковшъ изъ рукъ. Всѣ оглянулись на него.

— Охъ, какъ стрѣлило...—прошепталъ Кишкинъ, хватаясь за животъ.—Инда свѣтъ изъ глазъ выкатился. Смотрю въ ковшъ-то, а меня какъ въ становую жилу ударитъ...

— Это отъ наклону кровь въ голову кинулась,— объяснилъ Мина.

Покрывшееся мертвой блѣдностью лицо Кишкина служило лучшимъ доказательствомъ схватившей его немочи.

— Перцовкой бы тебѣ поясницу натереть, Андронъ Евстратычъ,—посовѣтовалъ очнувшійся отъ своего забытья Кожинъ.—Кровь-то и разбило бы...

— Да ищо запустить этой самой перцовки въ нутро, — прибавилъ Матюшка:—горошкомъ соскочилъ бы...

Кишкинъ съ трудомъ поднялся на ноги, поохалъ „для прилику", взялъ ковшъ и выплеснулъ пробу въ шурфъ.

— И не поманило...—объяснилъ онъ равнодушнымъ тономъ.—Вотъ тебѣ и синяя глина... Надо ужо теперь по самой середкѣ шурфъ ударить.

— А отчего не здѣсь?—спросилъ Матюшка.— Надо для счету шурфовъ пять, пробить, а потомъ и въ середку болотины ударить...

— Нѣтъ, здѣсь не надо,—рѣшительно заявилъ Кишкинъ.—Попусту только время потеряемъ...

Этотъ споръ продолжался и въ землянкѣ, пока обѣдали рабочіе. Самъ Кишкинъ ни къ чему не притронулся и, лежа на нарахъ, продолжалъ охать.

— Пожалуй ты еще окачуришься у насъ...—по-

шутилъ надъ нимъ Турка.—Тоже дѣло твое не молоденькое, Андронъ Евстратычъ.

— Ничего, отлежусь какъ-нибудь, а вы пока въ срединѣ болота шурфъ пробейте...

Кишкинъ едва дождался, когда рабочіе кончатъ свой обѣдъ и уйдутъ на работу. У него кружилась голова, и мысли путались.

— Господи, что же это такое?—повторялъ онъ про себя, чувствуя, какъ спираетъ дыханіе.—Не поблазнило ли ужъ мнѣ грѣшнымъ дѣломъ...

Наконецъ, всѣ ушли на работу, и Кишкинъ остался одинъ въ землянкѣ. Онъ нѣсколько времени лежалъ съ закрытыми глазами, потомъ осторожно поднялся и выглянулъ въ дверь,—рабочіе уже были на срединѣ болота. Это его успокоило. Приперевъ плотно дверь и поправивъ въ очагѣ огонь, Кишкинъ присѣлъ къ нему и вытащилъ изъ кармана правую руку съ онѣмѣвшими пальцами: въ нихъ онъ все время держалъ щепотку захваченной изъ ковша пробы. Оглянувшись кругомъ еще разъ, онъ бережно высыпалъ высохшіе шлихи на ладонь и принялся разсматривать ихъ съ жаднымъ вниманіемъ. На ладони блестѣли крупинки золота... Счетомъ ихъ было больше двадцати. Господи, да, вѣдь, это богатство, страшное богатство, о какомъ онъ не смѣлъ и мечтать когда-нибудь!.. По приблизительному расчету, можно было на сто пудовъ песку положить золотника три, а при толщинѣ пласта въ полтора аршина и при протяженіи розсыпи чуть не на цѣлую версту въ общемъ можно было разсчитывать добыть

пудовъ двадцать, т.-е. по курсу на четыреста тысячъ рублей.

— Господи, что же это такое...—изнеможенно повторялъ Кишкинъ, чувствуя, какъ у него на лбу выступаютъ капли холоднаго пота.

Онъ бережно собралъ всю пробу въ бумажку и замеръ надъ ней, не вѣря своимъ старымъ глазамъ. Да, это было богатство, страшное богатство...

Для чего Кишкинъ скрылъ свое открытіе и выплеснулъ пробу въ шурфъ—въ первую минуту онъ не давалъ отчета и самому себѣ, а дѣйствовалъ по инстинкту самосохраненія, точно кто-нибудь могъ отнять у него добычу изъ рукъ. О, никто не можетъ ничего сдѣлать... Съ Ястребовымъ покончено по всей формѣ, съ Кожинымъ можно развязаться. Странно, что сейчасъ Кишкинъ вдругъ ненавидѣлъ своего компаньона съ его жалкими пятьюстами рублей. Просто, взять и прогнать его,—вотъ и весь разговоръ. Вѣдь онъ сдуру забрался въ лѣсъ. А деньги можно будетъ отдать назадъ да еще съ такими процентами, какихъ никто не видалъ. Отлично... Сказаться больнымъ, шурфовку забастовать, а потомъ и начать тепленькое дѣльце въ полной формѣ.

Съ другой стороны, къ радостному чувству примѣшивалось горькое и обидное сознаніе: двадцать лѣтъ нищеты, убожества и униженія и дикое счастье на закатѣ жизни. Къ чему теперь деньги, когда и жить-то осталось, можетъ быть, безъ году недѣля? Кишкину сдѣлалось до того горько, что онъ даже всплакнулъ старческими безсильными слезами. Эхъ, раньше бы такое богатство прикач-

нулось... Затѣмъ у него явилась мысль о сдѣланномъ доносѣ. Для чего онъ заварилъ всю эту кашу? Воровъ не переведешь, а про себя славу худую пустишь... Ахъ, нехорошо да еще какъ нехорошо-то! Конечно онъ со злости подстроилъ всю механику, чтобы отомстить старымъ недругамъ, а теперь это совсѣмъ было лишнимъ.

„Съ горя и помутился тогда", вслухъ думалъ Кишкинъ.

Когда вечеромъ рабочіе вернулись въ землянку, Кишкинъ лежалъ на нарахъ, закутавшись въ шубу.

— Ну, што, Андронъ Евстратычъ, аль ущемило?

— Разнемогся совсѣмъ, братцы...—слабымъ голосомъ отвѣтилъ хитрый старикъ.—Ужо бросимъ это болото да выѣдемъ на Фотьянку. Послѣ Ястребова еще никто ничего не находилъ... А тебѣ, Акинфій Назарычъ, деньги я ворочу сполна. Будь безъ сумлѣнія...

Въ заключеніе Кишкинъ неожиданно расхохотался до того, что закашлялся. Всѣ съ изумленіемъ смотрѣли на него.

— Илья-то Ѳедотычъ... Илья-то Ѳедотычъ въ какихъ дуракахъ!.. — прохрипѣлъ наконецъ Кишкинъ, безсильно отмахиваясь рукой.—Илья-то Ѳедотычъ..,

Кожинъ рѣшилъ про себя, что старикъ сорвался съ винта.

II.

Дальнѣйшее поведеніе Кишкина убѣдило всѣхъ окончательно, что старикъ рехнулся. Во-первыхъ, онъ бросилъ развѣдки на Мутяшкѣ и вывелъ свою

партію на Фотьянку, гдѣ и произвелъ всѣмъ полный расчетъ, а Кожину возвратилъ всѣ взятыя у него деньги. Это послѣднее поставило всѣхъ въ недоумѣніе, потому что откуда быть деньгамъ у Кишкина? Впрочемъ, Кожинъ интересовался этимъ меньше всѣхъ. Онъ замѣтно остепенился въ лѣсу и бросилъ пить, такъ что вернулся въ Тайболу совершенно трезвымъ. Кишкинъ оставался въ Фотьянкѣ и что-то видимо замышлялъ. Пока онъ квартировалъ у Петра Васильича, занимая ту комнату, въ которой жилъ Ястребовъ, уѣхавшій до весны въ городъ.

Мысль о деньгахъ засѣла въ головѣ Кишкина еще на Мутяшкѣ, когда онъ обдумалъ весь планъ, какъ освободиться отъ своихъ компаньоновъ, а главное отъ Кожина, которому необходимо было заплатить деньги въ первую голову. Съ этой мыслью Кишкинъ ѣхалъ до самой Фотьянки, перебирая въ умѣ всѣхъ знакомыхъ, у кого можно было бы перехватить на такой случай. Такихъ знакомыхъ не оказалось, кромѣ все того же секретаря Ильи Ѳедотыча.

„Нѣтъ, братъ, къ тебѣ-то ужъ я не пойду!—думалъ Кишкинъ, припоминая свой послѣдній неудачный походъ.—Разѣ толкнуться къ Ермошкѣ?.. Этому надо все разсказать, а Ермошка все переплеснетъ Кожину—опять нехорошо. Надо такъ сдѣлать, чтобы и шито и крыто. Пожалуй, у Петра Васильича можно бы было перехватить на первый разъ, да ужъ больно завистливъ песъ: надъ чужимъ счастьемъ задавится... Еще уцѣпится, какъ клещъ, и не отвяжешься отъ него...“

Такъ ничего и не придумалъ Кишкинъ: у богатства безъ гроша очутился. То была какая-то иронія судьбы. Но его осѣнила счастливая мысль. Одна удача не приходитъ.

Вечеромъ, когда уже всѣ спали, онъ разговорился съ баушкой Лукерьей, которая жаловалась на племянницу Марью, отбивавшуюся отъ рукъ на глазахъ у всѣхъ.

— Вѣдь скромница была, какъ жила у отца...— разсказывала старуха:—а тутъ дѣвка изъ ума вонъ. Присунулся этотъ машинистъ Семенычъ, голь перекатная, а она къ нему... Стыдъ дѣвичій позабыла, никого не боится, только и ждетъ проклятущаго машиниста. Замужъ, говоритъ, выйду за него... Охъ, согрѣшила я съ этими дѣвками!..

— Ну, что же дѣлать, баушка...—утѣшалъ Кишкинъ.—Всякая живая душа калачика хочетъ.

— Тьфу ты, срамникъ!.. Ему дѣло говорятъ, а онъ... тьфу!.. Распустили нонѣ дѣвокъ, вотъ и дурятъ...

Эта старушечья злость забавляла Кишкина: очень ужъ смѣшно баушка Лукерья сердилась. Но, глядя на старуху, Кишкину пришла неожиданно мысль, что онъ ищетъ денегъ, а деньги передъ нимъ сидятъ... Да, лучше и не надо. Не теряя времени, онъ приступилъ къ дѣлу сейчасъ же. Дверь была заперта, и Кишкинъ разсказалъ во всѣхъ подробностяхъ исторію своего богатства. Старушка выслушала его съ жаднымъ вниманіемъ, а когда онъ кончилъ—широко перекрестилась.

— Умненько я сдѣлалъ, баушка? Комаръ носу

не подточитъ... Всѣхъ отвелъ и остался одинъ, самъ большой—самъ маленькій.

— Охъ, умно, Андронъ Евстратычъ! Столь-то ты хитеръ и дошлъ, што никому и не догадаться... Въ настоящія руки попало. Только ты, смотри, не болтай до поры до времени... Теперь ты сослался на немочь, а потомъ вдругъ... Нѣтъ, ты лучше такъ сдѣлай: никому ни слова, будто и самъ не знаешь,—штобы Кожинъ послѣ не вступался... Старателишки тоже могутъ къ тебѣ привязаться. Нонѣ вонъ какой народъ пошелъ... Уменъ, уменъ, нечего сказать: къ рукамъ и золото.

Чтобы еще больше разжечь старуху, Кишкинъ досталъ бумажку съ пробой и показалъ блестѣвшія крупинки золота.

— Плохо я вижу, голубчикъ...—шептала баушка Лукерья, наклонясь къ самой бумажкѣ. — Слѣпой курицѣ все пшеница.

— Отъ ста пудовъ песку золотника съ три падетъ, баушка... Я ужъ все высчиталъ. А со всего болота снимемъ пудовъ съ двадцать...

— Н-но-о?...

— Вѣрнѣе смерти...

Въ заключеніе Кишкинъ разсказалъ, какъ онъ просилъ денегъ у Ильи Ѳедотыча и бралъ его въ пай, а тотъ пожадничалъ и отказался.

— То-то онъ взвоетъ теперь, секретарь-то!.. Жаднящій до денегъ, а тутъ сами деньги приходили на домъ: возьми, ради Христа. Ха-ха!.. На стѣну онъ полѣзетъ со злости.

Баушка Лукерья заливалась дребезжавшимъ старческимъ смѣхомъ надъ промахнувшимся

секретаремъ и даже ударила Кишкина по плечу, точно сама принимала участіе во всей этой исторіи.

— А тебѣ денегъ-то сколько достанется, Андронъ Евстратычъ?

— Охъ, и выговорить-то страшно... Считай: двадцать тысячъ за пудъ золота, за десять пудовъ это выйдетъ двѣсти тысячъ, а за двадцать всѣ четыреста. Ничего, кругленькая копеечка... Ну, за работу придется заплатить тысячъ шестьдесятъ, не больше, а остальные голенькими останутся. Ну, считай для гладкаго счету триста тысячъ.

— Триста тысячъ?.. Этакъ ты всю нашу Фотьянку купишь и продашь... Ловко!.. Уменъ, тебѣ и деньгами владать.

— Взять ихъ только надо умненько, баушка... Такъ никто мнѣ не дастъ, значитъ зря, а надо будетъ открыться.

— Што ты, што ты!.. Ни подъ какимъ видомъ не открывайся—все дѣло испортишь. Загалдятъ, зашумятъ... Стравятъ и Ястребова и Кожина,—не расхлебаешься потомъ. Тихонько возьми у кого-нибудь вѣрнаго человѣка.

Кишкинъ только развелъ руками: нѣтъ такого вѣрнаго человѣка, который далъ бы тихонько. Послѣ нѣкоторой паузы онъ сказалъ:

— Баушка, ссуди меня сотней-другой... Разочтемся потомъ. За рубль два отдамъ...

Старуха испуганно замахала обѣими руками, точно ее обожгли.

— Што ты, миленькій, какія у меня деньги? Да

двухъ-то сотельныхъ я отродясь не видывала! На похороны себѣ берегу двѣ красненькихъ—только и всего...

— Ну, тогда придется итти къ Ермошкѣ. Больше не у кого взять,—рѣшительно заявилъ Кишкинъ.—Его счастье—все одно, рубль на рубль барыша получитъ не пито—не ѣдено.

Баушку Лукерью взяло такое раздумье, что хоть въ петлю лѣзть: и дать денегъ жаль, и не хочется, чтобы Ермошкѣ достались дикія денежки. Вотъ бѣсъ-сомуститель навязался... А упустить такой случай—другого, пожалуй, и не дождешься. Старушечья жадность разгорѣлась съ небывалой еще силой, и баушка Лукерья вся тряслась, какъ въ лихорадкѣ. Послѣ долгаго колебанія она заявила:

— У меня, у самой-то, ничего нѣтъ, а попытаюсь добыть у одного знакомаго старичка... Мнѣ-то онъ, можетъ, повѣритъ.

— Ну, мнѣ это все одно: кто ни попъ, тотъ батька.

— Конечно, все это была одна комедія.

Баушка Лукерья не спала всю ночь напролетъ, раздумывая, дать или не дать денегъ Кишкину. Выходило надвое: и дать хорошо и не дать хорошо. Но ее подмывало налетѣвшее дикое богатство, точно она сама получитъ всѣ эти сотни тысячъ. Такъ бываетъ весной, когда полая вода подхватываетъ гнилушки, крутитъ и вертитъ ихъ и уноситъ вмѣстѣ съ другимъ соромъ.

„Омманетъ еще,—думала тысячу первый разъ старуха.—Нѣтъ, шабашъ, не дамъ... Пусть по-

ищетъ кого-нибудь побогаче, а съ меня что взять-то".

Эти разумныя мысли разлетѣлись, какъ сонъ, когда баушка Лукерья встрѣтилась утромъ съ Кишкинымъ. Ей вдругъ сдѣлалось такъ легко, точно она это дѣлала для себя.

— Ну, что твой старичокъ?—спрашивалъ Кишкинъ, лукаво подмигивая.—Вонъ секретарь Илья Ѳедотычъ отъ своего счастья отказался, можетъ и твой старичокъ на ту же руку...

Баушка Лукерья опять засмѣялась: очень ужъ глупымъ оказалъ себя секретарь-то... Нѣтъ, старичокъ, видно, будетъ маленько поумнѣе...

— А ты мнѣ расписку напиши... — настаивала старуха, хватаясь за послѣднее средство.

— На что тебѣ расписка-то: вѣдь ты неграмотная. Да и не таковское это дѣло, баушка... Ужъ я тебѣ вѣрно говорю.

Передача денегъ происходила въ ястребовской комнатѣ. Сначала старуха притащила завязанныя въ платкѣ бумажки и вогнала Кишкина въ три пота, пока ихъ считала. Всѣхъ денегъ оказалось меньше двухсотъ рублей.

— Мало...—заявилъ Кишкинъ. — Пусть старичокъ-то серебреца поищетъ.

— Охъ, ужъ и не знаю право, Андронъ Евстратычъ... Окружилъ ты меня и голову съ живой сымаешь.

— Давай серебро-то, а ворочу золотомъ. Понимаешь, банкъ будетъ выдавать по ассигновкамъ золотыми, и я тебѣ до послѣдней копеечки золо-

томъ отдамъ... На, да не поминай Кишкина лихомъ!..

Что было отвѣчать на такія змѣиныя слова? Баушка Лукерья молча принесла свое серебро, пересчитала его разъ десять и даже прослезилась, отдавая сокровище искусителю. Пока Кишкинъ разсовывалъ деньги по карманамъ, она старалась не смотрѣть на него, а отвернулась къ окошку.

— Ну, теперь прощай, баушка...

Старуха только махнула рукой,—ее душило отъ волненія. Впрочемъ, она догнала Кишкина уже на дворѣ и остановила.

— Забыла словечко тебѣ молвить, Андронъ Евстратычъ... Разбогатѣешь, такъ и меня, старуху, можетъ, помянешь.

— Въ чемъ дѣло?..

— Не женись на молоденькой... Ваша братья, старики, больно льстятся на молодыхъ, а ты бери вдову или дѣвицу въ годкахъ. Молодая-то хоть и любопытнѣе, да отъ людей стыдно, да еще она же рукавомъ растрясетъ все твое богатство...

— Вотъ тоже придумала!—изумился Кишкинъ, ухмыляясь.

До настоящаго момента мысль о женитьбѣ не приходила ему въ голову.

— Жалѣючи тебя говорю... Попомни старушечье словечко.

Марья была на дворѣ и слышала всю эту сцену. У ней въ головѣ остались такія слова, какъ „богачество“ и „дѣвица въ годкахъ“, а остального она не поняла. Ее удивило больше всего то, что у баушки завелись какія-то дѣла съ Кишкинымъ,

тогда какъ раньше она и слышать о немъ не хотѣла, какъ о первомъ смутьянѣ и затѣйщикѣ, сбивавшемъ съ толку мужиковъ. Что-то неладное творится, ежели Кишкинъ обошелъ самое баушку Лукерью... Впрочемъ, эти свои бабьи мысли Марья оставила про себя до встрѣчи съ милымъ дружкомъ, которому разсказывала все, что дѣлалось въ домѣ. Когда она поднималась на крыльцо, предъ ней точно изъ земли выросъ Петръ Васильичъ.

— Какія такія дѣла завелъ Шишка съ мамынькой?—зыкнулъ онъ на нее.

— А я почемъ знаю?.. Спроси самъ баушку...

— У, змѣя!.. — зашипѣлъ Петръ Васильичъ, грозя кулакомъ.—Ужо, дѣвка, я доберусь до тебя.

— Руки коротки...

Марья замѣтила, что въ заднихъ воротахъ мелькнула какая-то тѣнь, — это былъ Матюшка, какъ она убѣдилась потомъ, подглядѣвъ изъ-за косяка. Съ Петромъ Васильичемъ вообще что-то сдѣлалось, и онъ просто бросался на людей, какъ чумной быкъ. Съ баушкой у нихъ шли постоянныя ссоры, и они старались не встрѣчаться. И съ Марьей у баушки все шло „на перекосыхъ“,— зубастая да хитрая оказалась Марья, не то что Ѳеня, и даже помаленьку стала забирать верхъ въ домѣ. Дѣлалось это само собой, незамѣтно, такъ что баушка Лукерья только дивилась, что ей самой приходится слушаться Марьи.

— Лукавая дѣвка...—ворчала старуха.—Всѣхъ обошла, а себя раньше другихъ.

За Кишкинымъ уже слѣдили. Матюшка первый

заподозрилъ, что дѣло не чисто, когда Кишкинъ прикинулся больнымъ и бросилъ шурфовку. Потомъ онъ припомнилъ, какъ Кишкинъ выплеснулъ пробу въ шурфъ и не велѣлъ бить слѣдующихъ шурфовъ по порядку. Вообще, все поведеніе Кишкина показалось ему самымъ подозрительнымъ. Встрѣтившись въ кабакѣ Фролки съ Петромъ Васильичемъ, Матюшка спросилъ про Кишкина, гдѣ онъ ночуетъ сегодня. Слово за слово,—разговорились. Петръ Васильичъ носомъ чуялъ, гдѣ не ладно, и прильнулъ къ Матюшкѣ, какъ пластырь.

— Обыскали свинью-то? — приставалъ онъ къ Матюшкѣ.

— Съ поросятами оказалась наша свинья...

Роспили полуштофъ; захмелѣвшій Матюшка разсказалъ Петру Васильичу свои подозрѣнія.

— А што бы ты думалъ, анделъ мой?..—схватился Петръ Васильичъ.— Вѣдь ты вѣрно... Не спроста Шишка бросилъ шурфовку. Вонъ какой оборотень...

— Хорошую пробу, видно, добылъ да насъ всѣхъ и сплавилъ. Не захотѣлъ подѣлиться... Кожинъ, извѣстно, дуракъ, а Кишкинъ и насъ поопасился.

— Ахъ, старый песъ... Ловкую шутку укололъ. А лѣтомъ-то, помнишь, какъ тростилъ все время: „Братцы, только бы натакаться на настоящее золото—никого не забуду“. Вотъ и вспомнилъ... А знаки, говоришь, хорошіе были?

— По первоначалу средственные, а потомъ ужъ обозначились... Выплеснулъ онъ пробу-то. Невдомекъ никому это было, покеда онъ болѣсть на

себя не накинулъ и не пошабашилъ всю шурфовку...

— Хоть бы глазкомъ поглядѣть на пробу-то... Можно, вѣдь, добыть ее и безъ него?

— Отчего не добыть, да толку отъ этого не будетъ: все одно—пріискъ по кондракту сейчасъ Кишкина. Кабы раньше...

Петръ Васильичъ даже застоналъ отъ мысли, что вѣдь и онъ могъ взять у Ястребова это самое болото ни за грошъ, ни за копеечку, а прямо даромъ. Съ горя онъ спросилъ второй полуштофъ.

— Да тебѣ-то какая печаль?—удивлялся Матюшка.

— А такая!... Вотъ погляди ты на меня сейчасъ и скажи: „Дуракъ ты, Петръ Васильичъ, да еще какой дуракъ-то... ахъ, какой дуракъ!.. Не даромъ кривой ерахтой всѣ зовутъ... Дуракъ-дуракъ“!.. Такъ вѣдь?.. а?.. Вѣдь мнѣ одно словечко было молвить Ястребову-то, такъ болото-то и мое... а?.. Ну, не дуракъ ли я послѣ этого? Убить меня мало, кривого подлеца...

Въ избыткѣ усердія онъ схватилъ себя за волосы и началъ стучать головой въ стѣну, такъ что Матюшка долженъ былъ прекратить этотъ порывъ отчаянія.

— Будетъ баловаться, Петръ Васильичъ.

— Нѣтъ, ты лучше убей меня, Матюшка!.. Вѣдь я всю зиму зарился на жилку Мыльникова, какъ бы отъ нея свою пользу получить, а богачество было прямо у меня въ дому, подъ носомъ... Ну, какъ было не догадаться?.. Вѣдь Шишка дога-

дался же... Нѣтъ, дуракъ, дуракъ, дуракъ!.. Какъ у свиньи подъ рыломъ все лежало...

— Погоди печаловаться раньше времени,—тихонько замѣтилъ Матюшка.—А Кишкинъ нашихъ рукъ не минуетъ... Мы его еще обработаемъ, дай срокъ. Онъ всѣхъ ладитъ обмануть...

— Вѣрно! — обрадовался Петръ Васильичъ.— Такъ достигнемъ, говоришь? Ахъ, анделъ ты мой, ничего не пожалѣю...

Чтобы не терять напрасно времени, новые друзья принялись выслѣживать Кишкина съ слѣдующаго же утра, когда онъ уходилъ отъ баушки Лукерьи.

Странная вещь, вся Фотьянка узнала объ открытой Кишкинымъ богатой розсыпи раньше, чѣмъ кто-нибудь могъ подозрѣвать объ этомъ: самъ Кишкинъ сказалъ только баушкѣ Лукерьѣ, а потомъ Матюшка сообщилъ свою догадку Петру Васильичу—только и всего. И Кишкинъ, и баушка Лукерья, и Матюшка, и Петръ Васильичъ знали только про себя, а между тѣмъ загалдѣла вся Фотьянка, какъ одинъ человѣкъ, точно пчелиный улей, по которому ударили палкой. Когда Кишкинъ на другой день пріѣхалъ въ городъ, молва уже опередила его, и первымъ поздравилъ его секретарь Илья Ѳедотычъ.

— Хорошее дѣло, кабы двадцать лѣтъ назадъ оно вышло...—ядовито замѣтилъ великій дѣлецъ, прищуривая одинъ глазъ. — Досталась кость собакѣ, когда собака съѣла всѣ зубы. Да вотъ еще посмотримъ, кто будетъ расхлебывать твою кашу, Андронъ Евстратычъ: обнесъ всѣхъ натощакъ, а

какъ теперь сытый-то будешь повыше усовъ ѣсть. Однимъ словомъ, въ самый разъ.

III.

Открытіе Кишкина подняло на ноги всю Фотьянку, — точно пробѣжала электрическая искра. Время было самое глухое, народъ сидѣлъ безъ работы, и всѣ мечты сводились на близившееся лѣто. Положимъ, и прежде было то же самое, даже гораздо хуже, но тогда эти зимнія голодовки принимались какъ нѣчто неизбѣжное, а теперь явились мысли и чувства другого порядка. Дѣло въ томъ, что прежде фотьянцы жили сами собой, крѣпкіе своими каторжными завѣтами и распорядками, а теперь на Фотьянкѣ обжились новые люди, которые и распускали смуту. Поднялись разговоры о земельномъ надѣлѣ, какъ въ другихъ мѣстахъ, о притѣсненіяхъ компаніи, которая собакой лежитъ на сѣнѣ, о другихъ промыслахъ, гдѣ у рабочихъ есть и усадьбы, и выгонъ, и покосы, и всякое угодье, о посланныхъ ходокахъ „съ бумагой“, о „членѣ“, который наѣзжалъ каждую зиму ревизовать волостное правленіе. У волости и въ кабакѣ Фролки эти разговоры принимали даже ожесточенный характеръ: кому-то грозили, кому-то хотѣли жаловаться, кого-то ожидали. Расчеты на Кедровскую дачу оправдались въ половину: лѣтнія работы помазали только по губамъ, а зимой тамъ оставался одинъ пріискъ Ягодный да небольшія шурфовки. Народу нечего было дѣ-

лать, и опять должны были итти на компанейскія работы, которыхъ тоже было въ обрѣзъ: на Рублихѣ околачивалось человѣкъ пятьдесятъ, на Дернихѣ вскрывали новый разрѣзъ до сотни, а остальные опять разбрелись по своимъ старательскимъ работамъ—промывали борта заброшенныхъ казенныхъ разрѣзовъ, били дудки и просто шлялись съ мѣста на мѣсто, чтобы какъ-нибудь убить время. На зимнихъ работахъ опять проявилось неуклонное бдѣніе стараго штейгера Зыкова, притѣснявшаго старателей всѣми мѣрами и средствами, какъ своихъ заклятыхъ враговъ.

— Когда только онъ дрыхнетъ? — удивлялись рабочіе. — Днемъ по старательскимъ работамъ шляется, а ночь въ своей шахтѣ сидитъ, какъ коршунъ.

— Сбросить его въ дудку куда-нибудь, штобы не заѣдалъ чужой хлѣбъ,—предлагали рѣшительные люди.

— Не безпокойся: другой почище выищется...

— Ну, другого такого компанейскаго пса не сыскать: одинъ у насъ Родька на всю округу.

Но что показалось обиднѣе всего промысловымъ рабочимъ, такъ это то, что Ониковъ допустилъ на Рублиху „чужестранныхъ“ рабочихъ, чѣмъ нарушилъ весь установившійся промысловый строй и вѣковые порядки. Отцы и дѣды робили, и дѣти будутъ робить тутъ же... Рабочая масса такъ срослась со своимъ исконнымъ промысловымъ дѣломъ, что не могла отдѣлить себя отъ промысловъ, несмотря на распри съ компаніей и даже тяжелыя воспоминанія о казенномъ времени. Все

это были свои семейныя, домашнія дѣла, а зачѣмъ чужестранныхъ-то рабочихъ ставить на наши работы? Дѣло вышло изъ-за какого-то пятачка прибавки коннымъ рабочимъ, жаловавшимся на дороговизну овса, но Ониковъ уперся, какъ пень, и нанялъ двухъ постороннихъ рабочихъ. Это возмутило всю Фотьянку до глубины души, какъ самое кровное оскорбленіе, какого еще не бывало. Даже Родіонъ Потапычъ не совѣтовалъ Оникову этой крутой мѣры: онъ хотя и тѣснилъ рабочихъ, но по закону, а это ужъ не законъ, чтобы отнимать хлѣбъ у своихъ и отдавать чужимъ.

— Пустяки, — увѣрялъ Ониковъ со спокойной усмѣшечкой.—Надо ихъ подтянуть...

— И подтянуть умѣючи надо, Александръ Иванычъ,—смѣло заявилъ старый штейгеръ.—Двумя чужестранными рабочими мы не управимъ дѣла, а своихъ раздразнимъ понапрасну... Тоже и по человѣчеству нужно разсудить.

— Послушайте, каналья, вы должны слушать, что вамъ говорятъ, а не пускаться въ разсужденія! Съ васъ нужно начать...

Разговоръ происходилъ въ корпусѣ надъ шахтой. Родіонъ Потапычъ весь побѣлѣлъ отъ нанесеннаго оскорбленія и дрогнувшимъ голосомъ отвѣтилъ:

— Пятьдесятъ лѣтъ, ваше благородіе, хожу въ штегеряхъ, а такого слова не слыхивалъ даже въ каторжное время... да.

— Молчать!!.

Результатомъ этой сцены было то, что враги очутились на судѣ у Карачунскаго. Родіонъ По-

тапычъ не бывалъ въ господскомъ домѣ съ того времени, какъ поселилась въ немъ Ѳеня, а теперь пришелъ, потому что давно уже про себя похоронилъ любимую дочь.

— Разсуди насъ, Степанъ Романычъ,—спокойно заявилъ старикъ.—Ужъ на што лютъ былъ покойничекъ Иванъ Герасимычъ Ониковъ, живыхъ людей въ гробъ вгонялъ, а и тотъ не смѣлъ такія слова выражать... Неужто теперь хуже каторжнаго положенья? Да и дѣло мое правое, Степанъ Романычъ... Ужъ я поблажки, кажется, не даю рабочимъ, а только зачѣмъ дразнить ихъ напрасно.

— Все это правда, Родіонъ Потапычъ, но не всякую правду можно говорить. Особенно не любятъ ея виноватые люди. Я понимаю васъ, какъ никто другой, и все-таки долженъ сказать одно: ссориться намъ съ Ониковымъ не приходится пока. Онъ намъ можетъ очень повредить... Понимаете?.. Можно ссориться съ умнымъ человѣкомъ, а не съ дуракомъ...

„Вотъ это такъ сказалъ, какъ ножомъ обрѣзалъ...—думалъ Родіонъ Потапычъ, возвращаясь отъ Карачунскаго.—Эхъ, золотая голова, кабы не эта господская слабость...“

Съ Ониковымъ у Карачунскаго произошла, противъ ожиданія, крупная схватка. Уступчивый и неуязвимый Карачунскій не выдержалъ, когда Ониковъ сдѣлалъ довольно грубый намекъ на Ѳеню.

— Вы... вы забываетесь, молодой человѣкъ!—проговорилъ Карачунскій, собирая все свое хладнокровіе.—Моя личная жизнь никого не касается, а васъ меньше всего...

— Въ данномъ случаѣ именно касается, потому что и старикъ Зыковъ, и старатель Мыльниковъ являются вашими креатурами... Это подаетъ дурной примѣръ другимъ рабочимъ, какъ всякая поблажка. Вообще, вы распустили рабочихъ и служащихъ...

— Относительно служащихъ я согласенъ съ вами, а поэтому попрошу васъ оставить меня: я говорю съ вами, какъ вашъ начальникъ.

Выгнавъ зазнавшагося мальчишку, Карачунскій долго не могъ успокоиться. Да, онъ вышелъ изъ себя, чего никогда не случалось, и это его злило больше всего. И съ кѣмъ не выдержалъ характера—съ мальчишкой, молокососомъ. Положимъ, что тотъ самъ вызвалъ его на это, но чужія глупости еще не дѣлаютъ насъ умнѣе. Глупо и еще разъ глупо.

А рабочіе продолжали волноваться, при чемъ, какъ это ни странно сказать, въ числѣ побудительныхъ причинъ являлась и открытая Кишкинымъ новая розсыпь, названная имъ Богоданкой. Собственно, логической связи тутъ не было никакой, кромѣ развѣ того, что на фонѣ этого налетѣвшаго вихремъ богатства еще ярче выступала своя промысловая голь и нищета. Съ своей стороны, самъ Кишкинъ подалъ поводъ къ неудовольствію тѣмъ, что не взялъ никого изъ старыхъ рабочихъ, точно боялся этихъ участниковъ своего пріисковаго мытарства. Это подняло общій ропотъ, потому что имъ не давали прохода другіе рабочіе своими шутками и насмѣшками.

— Нашли Кишкину свинью, а теперь ступайте на подножный кормъ! Эхъ, вы, ворòны...

Особенно озлобился Матюшка, котораго подзуживалъ постоянно Петръ Васильичъ, снѣдаемый ревностью. Матюшка запилъ съ горя и не выходилъ изъ кабака. Тамъ же околачивались Мина Клейменый и старый Турка. Теперь только и было разговоровъ, что о Богоданкѣ. Недавніе сотрудники Кишкина припомнили всѣ мельчайшія подробности, какъ Кишкинъ надулъ ихъ всѣхъ, какъ надулъ Ястребова и Кожина и какъ надуетъ всякаго.

— Извѣстно, старая конторская крыса!—рычалъ Матюшка.—У нихъ у всѣхъ одна вѣра-то... Кровь нашу пьютъ.

— А вонъ Мыльниковъ тоже вмѣстѣ съ нами старался, а теперь какъ взвеселилъ себя...

— Тоже черезъ контору: Ѳенька подсдобила дѣлянку.

— А мы чѣмъ грѣшнѣе Мыльникова? Ему отвели дѣлянку и намъ отводи. Пойдемъ, братцы, въ контору... Ониковъ вонъ пообѣщалъ на шахтѣ всѣхъ рабочихъ чужестранныхъ поставить. Двухъ поставилъ спервоначалу, а потомъ и другихъ поставитъ... Старый песъ Родька заодно съ нимъ. Мы тутъ съ голоду подыхай...

— Удавить ихъ всѣхъ, а контору разнести въ щепы!—кричалъ Матюшка въ пьяномъ азартѣ.—Двухъ смертей не будетъ, а одной не миновать. Да и Шишку по пути вздернуть на первую осину.

Волненія съ Фотьянки перекинулись и въ Балчуговскій заводъ, гдѣ въ кабакѣ Ермошки собиралась своя пріисковая голытба. Жаловались на притѣсненіе конторы, не хотѣвшей отводить

новыхъ дѣлянокъ, задерживавшей протолчку добытаго старателями золотоноснаго кварца, выдачу денегъ и т. д. Здѣсь поводомъ къ неудовольствію послужили главнымъ образомъ старые „шламы", т.-е. уже промытые пески, получившіеся отъ протолчки кварца. Эти шламы образовали на дворѣ фабрики цѣлую гору, и компанія пустила ихъ въ промывку уже для себя. Въ шламахъ оставалось еще небольшое содержаніе золота, добыть которое съ нѣкоторой выгодой можно было только при массовой промывкѣ десятковъ тысячъ пудовъ. Въ результатѣ получалась самая ничтожная прибыль, но рабочіе считали шламы своими и волновались. Эта операція была ошибкой со стороны Карачунскаго. Въ другое время на нее никто не обратилъ бы вниманія, а теперь она вызывала громкій ропотъ. Карачунскій съ своей стороны не хотѣлъ уступать изъ принципа, чтобы не показать предъ рабочими своей несостоятельности. Нужно было выдержать характеръ именно въ такихъ пустякахъ, а то требованія и претензіи разрастутся безъ конца. Конечно, все это было глупо, и Карачунскій могъ только удивляться самому себѣ, какъ онъ не предвидѣлъ этого раньше. Рублиха, дѣлянка Мыльникова, чужестранные рабочіе, шламы— это былъ послѣдовательный рядъ тѣхъ ненужныхъ ошибокъ, которыя дѣлаются, кажется, только потому, что безъ нихъ такъ легко обойтись. Чтобы поправить послѣднюю ошибку съ промывкой шламовъ, Карачунскій велѣлъ отвести нѣсколько десятковъ новыхъ дѣлянокъ старателямъ и ослабить надзоръ за промывкой старыхъ разрѣзовъ — это

была косвенная уступка, которая была хуже, чѣмъ если бы Карачунскій отказался отъ своихъ шламовъ.

— Эхъ, Степанъ Романычъ...—замѣтилъ старикъ Зыковъ, въ отчаяніи качая головой.—Изъ лѣсу выходятъ одной дорогой. Какъ разъ взбеленятся наши старателишки, ежели разнюхаютъ...

Это предсказаніе оправдалось скорѣе, чѣмъ можно было предполагать, именно: на Дернихѣ старатели, промывавшіе старый отвалъ, наткнулись случайно на хорошее содержаніе и прогнали компанейскаго штейгера, когда тотъ хотѣлъ ограничить какую-то дѣлянку. На мѣсто смуты полетѣлъ Родіонъ Потапычъ, но его встрѣтили чуть не кольями и даже близко не пустили къ работамъ. Услужливая молва изъ этой случайной стычки сдѣлала именно то, чего такъ боялся въ настоящую минуту Карачунскій: ничтожный по существу случай могъ поднять на ноги всю рабочую массу безтолково и глупо, какъ это и бываетъ при такихъ обстоятельствахъ. Ониковъ торжествовалъ: онъ все это предвидѣлъ и впередъ предупреждалъ. Минута выходила критическая, и необходимо было все уладить домашними средствами, безъ лишней огласки и шума. Карачунскій лично отправился на Дерниху, одинъ, какъ всегда ѣздилъ, и не велѣлъ объѣзднымъ штейгерамъ и отводчикамъ показываться близко, чтобы напрасно не раздражать взволнованной массы старателей.

Его появленіе произвело именно то впечатлѣніе, на какое онъ разсчитывалъ.

— Что такое случилось?—спрашивалъ онъ, вмѣшиваясь въ толпу рабочихъ.

— Мы не согласны!..—крикнулъ чей-то голосъ сзади.—Достаточно...

— Что вамъ нужно? Объясните, кто потолковѣе...

Изъ толпы выдѣлился Матюшка. Онъ даже не снялъ шапки и дерзко смотрѣлъ Карачунскому прямо въ глаза.

— Первое дѣло, Степанъ Романычъ, ты насъ не тронь...—грубо заявилъ Матюшка.—Мы не дадимъ отвалъ... Вотъ тебѣ и весь сказъ. А твоихъ штейгеровъ мы въ колья...

Карачунскій вмѣсто отвѣта спустился въ старательскую яму, изъ-за которой вышло все дѣло, осмотрѣлъ работу и, поднявшись наверхъ, сказалъ:

— Хорошо. Работайте... Дня на два еще хватитъ вашего золота. А ты, молодецъ, тебя Матвѣемъ звать? изъ Фотьянки?.. ты получишь отъ меня кружку для золота и будешь доставлять мнѣ ее лично, вмѣсто штейгера.

Этого никто не ожидалъ, а всѣхъ меньше самъ Матюшка. Карачунскій съ дѣловымъ видомъ осмотрѣлъ старый отвалъ, сказалъ нѣсколько словъ кому-то изъ стариковъ, раскурилъ папиросу и укатилъ на свою Рублиху. Рабочіе нѣсколько времени хранили молчаніе, почесывались и старались не глядѣть другъ на друга.

— Вотъ это такъ орелъ...—замѣтилъ наконецъ кричавшій давеча голосъ.—Какъ топоромъ зарубилъ Матюшку-то!.. Ловко... Сразу компанейскимъ

песикомъ сдѣлался. Ужо жалованье тебѣ положатъ четыре недѣли на мѣсяцъ.

Въ числѣ бунтовщиковъ оказался и Петръ Васильичъ, который отъ Карачунскаго спрятался за чужія спины, а теперь лаялся за четырехъ. Матюшка сумрачно молчалъ, ошеломленный ловкой выходкой управляющаго. Даже Петръ Васильичъ пожалѣлъ его.

— Не вѣсь голову, Матюша, не печалуй хозяина! За нами съ тобой и не это пропадало.

Карачунскій возвращался домой успокоенный и даже довольный. Ониковъ рано торжествовалъ свою побѣду... Въ такомъ настроеніи онъ вернулся къ себѣ и прошелъ прямо въ комнату Ѳени, сильно безпокоившейся за него.

— Ну, вотъ все и кончилось,—проговорилъ онъ, обнимая ее.—Ониковъ напрасно только безпокоился устроить мнѣ пакость. Я увѣренъ, что все это его штуки.

— А я такъ боялась... Наши мужики озвѣрѣютъ, такъ на части разорвать готовы. Сейчасъ наголодались... злые поневолѣ... Прежде-то я боялась, што тятеньку когда-нибудь убьютъ за его строгость, а теперь...

Ѳеня послѣдніе мѣсяцы находилась въ самомъ угнетенномъ настроеніи и почти не выходила изъ своей комнаты. Промысловыя новости она знала черезъ лакея Ганьку, который разсказывалъ ей всѣ подробности о жилкѣ Мыльникова, объ открытіи Богоданки, о всѣхъ знакомыхъ и родственникахъ. Ее занимало теперь больше всего, конечно, собственное положеніе, полное такой фальши и неоп-

редѣленности. Она часто чувствовала на себѣ пристальный взглядъ Карачунскаго—взглядъ холодный, провѣрявшій свои собственныя противорѣчія. Да, она могла быть его любовницей, а не женой, тѣмъ больше не матерью его ребенка. Теперь встало и ея прошлое, до котораго раньше никому не было дѣла: Карачунскій ревновалъ ее къ Кожину, ревновалъ молча, тяжело, выдержанно, какъ все, что онъ дѣлалъ. Это новое чувство, граничившее съ физической брезгливостью, иногда просто пугало Ѳеню, а любви Карачунскаго она не вѣрила, потому что въ своей душѣ не находила ей настоящаго отвѣта. Развѣ можно полюбить во второй разъ?.. Нѣтъ, довольно и того, что было.

Карачунскій весь день чувствовалъ себя необыкновенно хорошо. Чтобы не портить настроенія, онъ не пошелъ вечеромъ даже въ контору. Но бѣда пришла сама въ домъ. Когда сидѣли въ столовой за самоваромъ, Ганька подалъ полученное изъ города письмо и повѣстку отъ слѣдователя по особо важнымъ дѣламъ. Карачунскій на послѣднюю не обратилъ никакого вниманія, а письмо узналъ по адресу: такими прямыми буквами писали только старинные повытчики да знаменитый горный секретарь Илья Ѳедотычъ. „Считаю долгомъ предупредить васъ, что вамъ грозитъ крупная непріятность по дѣлу Кишкина,—писалъ старикъ своими прямыми буквами:—подробности передамъ лично, а пока имѣйте въ виду, что грозитъ опасность даже вашему имуществу. Пишу это по сердечному расположенію къ вамъ и вашему настоящему семейному положенію, а письмо мое

уничтожьте". Сначала Карачунскій даже улыбнулся, а потомъ вдругъ почувствовалъ, какъ чайный столъ точно пошатнулся и вмѣстѣ съ нимъ зашатались стѣны.

— Что съ вами, Степанъ Романычъ?..—со страхомъ спрашивала Ѳеня.

— Ничего... такъ...

IV.

Мыльниковъ провелъ почти цѣлыхъ три мѣсяца въ какомъ-то чаду, такъ что это вѣчное похмелье надоѣло наконецъ и ему самому. Главное, куда ни приди—вездѣ на тебя смотрятъ какъ на свой карманъ. Это въ концѣ концовъ было просто обидно. Правда, Мыльниковъ успѣлъ поругаться по нѣскольку разъ со своими благопріятелями, но каждое такое недоразумѣніе заканчивалось новой попойкой.

— Монетный дворъ у меня, што ли?—выкрикивалъ Мыльниковъ, когда къ нему приставали съ требованіемъ денегъ его подручные: Яша Малый, зять Прокопій и Семенычъ.—На васъ никакихъ денегъ не напасешься...

Пьяная расточительность, когда Мыльниковъ бахвалился и сорилъ деньгами, смѣнялась трезвой скупостью и даже скаредностью. Такъ, онъ, какъ настоящій богатый человѣкъ, терпѣть не могъ отдавать заработанныя деньги всѣ сразу, а тянулъ, сколько хватало совѣсти, чтобы за нимъ походили. Далѣе, Мыльниковъ сталъ относиться необыкновенно подозрительно ко всѣмъ окружающимъ, точно всѣ только и смотрѣли, какъ бы обмануть его.

— Тарасъ, будетъ тебѣ богатаго-то показывать! —каралъ его даже добродушный Яша Малый.— Надъ кѣмъ изневаживаешься?..

— А ты меня не учи... Терпѣть ненавижу!.. Всѣ вы около меня, какъ тараканы за печкой.

Въ результатѣ выходило такъ, что сотрудники Мыльникова довольствовались въ чаяніи какихъ-то благъ крохами, руководствуясь общимъ соображеніемъ, что свои люди сочтутся. Исключеніе составлялъ одинъ Семенычъ, которому Мыльниковъ, какъ чужому человѣку, платилъ поденщину сполна. Свои подождутъ, а чужой человѣкъ и молча проситъ, какъ голодное брюхо.

Семенычъ вообще держалъ себя наособицу и мало „якшилъ“ *) съ остальными родственниками. Впрочемъ, это продолжалось только до тѣхъ поръ, пока Мыльниковъ не сообразилъ о тайныхъ дѣлахъ Семеныча съ сестрицей Марьей и, немедленно пріобщивъ къ лику своихъ родственниковъ, пересталъ платить исправно.

— Ты это што же, Тарасъ? — удивился Семенычъ.—Што расчетъ-то не додаешь?

— А такъ, голубь мой сизокрылый... Не чужіе, слава Богу, сочтемся, — безсовѣстно отвѣтилъ Мыльниковъ, лукаво подмигивая.—Сестрицѣ Марьѣ Родивоновнѣ поклончикъ скажи отъ меня... Я, братъ, свою родню вотъ какъ соблюдаю. Приди ко мнѣ на жилку сейчасъ самъ Карачунскій: милости просимъ—хошь къ вóроту вставай, хошь на

---

*) Якшить отъ татарскаго слова якши—да, поддакивать дружить.

отпорку. А въ дудку не пущу, потому какъ не желаю обидѣть Оксю. Вотъ каковъ есть человѣкъ Тарасъ Мыльниковъ... А сестрицу Марью Родивоновну уважаю наособицу за ея развертной карахтеръ.

Такъ и пошло. Новый родственникъ ничего не могъ сказать въ отвѣтъ. Сестрица Марья быстро забрала его въ руки и торопила свадьбой, только не хватало денегъ на первое обзаведенье. Она была старше жениха лѣтъ на шесть, но казалась совсѣмъ молоденькой, охваченная огнемъ своей первой дѣвичьей страсти. У Семеныча былъ тайный расчетъ, что когда умретъ старикъ Родіонъ Потапычъ, то Марья получитъ свою часть наслѣдства изъ несмѣтныхъ богатствъ стараго штейгера, а пока можно будетъ перебиться и въ черномъ тѣлѣ. Сестрица Марья сама навела его на эту счастливую мысль разными обиняками, хотя прямо ничего и не говорила съ чисто женской осторожностью. Пока между ними условлено было окончательно только то, что свадьба будетъ сыграна сейчасъ послѣ Ѳоминой недѣли. Свадьба предполагалась самокрутка, чтобы меньше расходовъ, какъ дѣлали въ Балчуговскомъ заводѣ. А пока время летѣло птицей, отъ одного свиданья до другого, какъ у всѣхъ влюбленныхъ. Дѣловитая и энергичная Марья понимала, что Семенычу нечего дѣлать у Тараса, и что онъ только напрасно теряетъ время, а поэтому, когда проѣздомъ на свою Богоданку Кишкинъ останавливался у баушки Лукерьи, она улучила минутку и, подавая самоваръ, ласково проговорила:

— Андронъ Евстратычъ, вы мнѣ не откажете, если я попрошу васъ объ одномъ дѣльцѣ?

— Какъ попросишь, тоже умѣючи надо просить... хе-хе!... Ишь, какая вострая стала на Фотьянкѣ-то!.. Ну, проси...

Марья мигомъ сѣла къ нему на колѣни, обняла одной рукой за шею и еще ласковѣе зашептала:

— Голубчикъ, Андронъ Евстратычъ, есть у меня одинъ человѣкъ... то-есть парень...

— Вотъ и неладно: ты себѣ проси, коза. Ничего не пожалѣю.

— Себѣ? Ну, а кто у васъ на Богоданкѣ хозяйничать будетъ?.. Надо и за стряпкой приглядѣть, и горницы прибрать, и старичку угодить... старенькому, сѣденькому, богатенькому, хитренькому старичку.

— Такъ, такъ... Вѣрно. Ай-да коза... Ну, а дальше?..

— Дальше-то опять про парня... Какое-нибудь мѣстечко ему приткнуться. Парень на всѣ руки, а женится послѣ Ѳоминой—жена будетъ на пріисковой конторѣ чистоту да всякій порядокъ соблюдать. Вѣдь безъ бабы и на пріискѣ не управиться...

— Ахъ, Марья Родивоновна: бойка да рѣчиста да увертлива... Быть, видно, по-твоему. Только умѣй ухаживать за старикомъ... по-настоящему. Нарочно горенку для тебя налажу: сиди въ ней канарейкой. Вотъ только парень-то... ну, да это твое дѣвичье дѣло. Уластила старика, егоза...

Разыгравшаяся сестрица Марья даже расцѣловала размякшаго старичка, а потомъ взвизгнула по-дѣвичьи и стрѣлой унеслась въ сѣни. Кишкинъ

нѣсколько минутъ сидѣлъ неподвижно, точно въ какомъ туманѣ, и только моргалъ своими красными вѣками. Ну, и дѣвка: огонь бенгальскій... А Марья ужъ опять тутъ—выглядываетъ изъ-за косяка и такъ задорно смѣется.

— Цыпъ, цыпъ...—манилъ ее Кишкинъ, сыпля на полъ мелкое серебро.—Цыпъ, курочка!..

— Ну, этимъ ты меня не купишь!—разсердилась сестрица Марья.—Приласкать да поцѣловать старичка и такъ не грѣшно, а это ужъ ты оставь...

— Цыпъ, цыпъ... Старичку все можно, Машенька: никто ничего не скажетъ.

— Ахъ, безстыдникъ...

Когда баушка Лукерья получила отъ Марьи цѣлую пригоршню серебра, то не знала, что и подумать, а дѣвушка нарочно отдала деньги при Кишкинѣ, лукаво ухмыляясь: вотъ-де тебѣ и твоя приманка, старый чортъ. Кое-какъ сообразила старуха, въ чемъ дѣло, и только плюнула. Она, вообще, слѣдила за поведеніемъ Кишкина, особенно за тѣмъ, какъ онъ тратилъ деньги, точно это были ея собственные капиталы.

— Ты, безстыдница, чего это надъ стариками галишься *)?—строго замѣтила она Марьѣ.—Смотри, довертишь хвостомъ... Охъ, согрѣшила я съ этими проклятущими дѣвками!

— Молодо-зелено, погулять велѣно,—заступился Кишкинъ, находившійся подъ впечатлѣніемъ охватившей его теплоты.—И стыдъ дѣвичій до порога... Вотъ это какое дѣвичье дѣло.

---

*) Галиться—насмѣхаться.

Мыльниковъ хотя и хвастался своими благодѣяніями роднѣ, а самъ никуда и глазъ не показывалъ. Дома онъ повертывался гостемъ, чтобы сунуть женѣ трешницу.

— Когда же строиться-то мы будемъ?—спрашивала Татьяна каждый разъ.—Ужъ пора бы, а то, все равно, пропьешь деньги-то...

— Ученаго учить—только портить... Мнѣ и самому надоѣло пировать-то. Родня на шею навязалась, вотъ главная причина. Никакъ развязаться не могу...

— Ты бы хоть Оксю-то пріодѣлъ... Обносилась она. У другихъ дѣвокъ вонъ приданое, а у Окси только и всего, что на себѣ. Заморилъ ты ее въ дудкѣ... Даже изъ себя похудѣла дѣвка.

— Всѣхъ ублаготворю, а Оксю наособицу... Нѣтъ, братъ, теперь шабашъ: за умъ возьмусь. Кампанію къ чорту, пусть отдохнутъ кабаки-то...

У Мыльникова, дѣйствительно, были серіозныя хозяйственныя намѣренія. Онъ даже подрядилъ плотниковъ срубить для новой избы срубъ и даже выдалъ задатокъ, какъ настоящій хозяинъ. Постройкой приходилось торопиться, потому что зима была на исходѣ,—только успѣютъ вывезти бревна изъ лѣсу, а поставятъ срубъ о Великомъ постѣ. Первый транспортъ бревенъ привелъ Мыльникова въ умиленіе: его завѣтная мечта поставить новую избу осуществлялась. Когда весь дворъ былъ заваленъ бревнами, Мыльниковымъ овладѣло такое нетерпѣніе, что онъ рѣшилъ сейчасъ же сломать старую избушку. Такое быстрое рѣшеніе даже

испугало Татьяну: столько лѣтъ прожили въ ней, и вдругъ ломать.

— А куды я-то съ ребятишками дѣнусь?—взмолилась она.

— На фатеру опредѣлю... А то и у батюшки-тестя поживешь. Не велика важность, двѣ недѣли околотиться. Немного мы видѣли отъ тестюшки...

Безъ дальнихъ словъ Мыльниковъ отправился къ Устиньѣ Марковнѣ и обладилъ дѣло живой рукой. Старушка тосковала, сидя съ одной Анной, и была рада призрѣть Татьяну. Родіонъ Потапычъ попустился своему дому и все равно ничего не можетъ.

— Да, вѣдь, я заплачу,—съ гордостью заявлялъ Мыльниковъ.—Всю родню теперь воспитываю.

Непріятность вышла только отъ Анны, накинувшейся на него съ худыми бабьими словами. Она въ азартѣ даже тыкала въ носъ Мыльникову груднымъ ребенкомъ.

— Любезная сестрица, Анна Родивоновна, вотъ какая есть ваша благодарность мнѣ?—удивлялся Мыльниковъ. — Можно сказать, головы своей не жалѣю для родни, а вы неистовство свое оказываете...

— Перестань, Анна,—оговорила дочь Устинья Марковна:—не одни наши мужики помутились съ золотомъ-то, а Тарасъ тутъ не при чемъ...

— Куды мы съ робятами-то?—голосила Анна.— Вотъ Наташка съ Петькой объѣдаютъ дѣдушку да мои да еще Тарасовы будутъ объѣдать... Отъ сосѣдей стыдно.

— Молчи!—крикнула мать.—Зубы у себя во рту

сосчитай, а чужіе куски нечего считать... Перебьемся какъ-нибудь. Напринималась Татьяна горя черезъ число: можно бы и пожалѣть.

— И какъ еще напринималась-то!..—соглашался Мыльниковъ.—Другая бы тринадцать разъ повѣсилась съ такимъ муженькомъ, какъ Тарасъ Матвѣевичъ... Правду надо говорить. Совсѣмъ было измоталъ я семьишку-то, кабы не жилка... И удивительное это дѣло, тещинька любезная, какъ это во мнѣ никакой совѣсти не было. Никого, бывало, не жаль, а самъ въ кабакѣ день деньской, какъ управляющій въ конторѣ.

Пристроивъ семью, Мыльниковъ сейчасъ же разнесъ свое пепелище въ щепы и даже продалъ старыя бревна кому-то на дрова. Такъ было разрушено родительское гнѣздо...

— Теперь, братъ, на господскую руку все наладимъ,—хвастался Мыльниковъ на всю улицу.

Занятый постройкой, онъ совсѣмъ забросилъ жилку, куда являлся только къ вечеру, когда на фабрикѣ „отдавали свистокъ съ работы“. Онъ пріѣзжалъ къ дудкѣ, наклонялся и кричалъ:

— Окся, ты тутъ?

— Здѣсь, тятенька, — откликался изъ земныхъ нѣдръ Оксинъ голосъ.

— То-то, у меня смотри...

Работа шла уже на седьмой сажени. Окся не только добывала „пустякъ“ и „жилку“, но сама крѣпила шахту и вообще отвѣчала за настоящаго ортоваго рабочаго. Жила она на Рублихѣ, въ конторкѣ дѣдушки Родіона Потапыча, полюбившаго свою внучку какой-то страстной любовью. Онъ

все прощалъ Оксѣ, даже грубости, чего никогда не простилъ бы роднымъ дочерямъ, и молча любовался непосредственностью этой придурковатой отъ избытка здоровья дѣвушки. Ей точно лѣнь быть умной. Не одинъ разъ они ссорились, и Родіонъ Потапычъ грозился выгнать Оксю, но та только ухмылялась.

— Куды я пойду-то, ты подумай,—усовѣщивала она старика.—Мужику это все одно, а дѣвка сейчасъ худую славу наживетъ... Который десятокъ на свѣтѣ живешь, а этого не можешь сообразить.

— Къ отцу ступай, дура... Не въ чужіе люди гоню.

— У меня и отецъ такой же, какъ ты: ничего сообразить не можетъ.

— Ахъ, Окся, Окся... да не Окся ли?!.. Какія ты слова выражаешь?..

Въ началѣ марта провернулось нѣсколько теплыхъ весеннихъ деньковъ. На пригрѣвахъ дорога почернѣла, а снѣгъ потерялъ сразу свою ослѣпительную бѣлизну. Воздухъ сдѣлался совсѣмъ особенный,—такой бодрящій и свѣжій. Вешняя вода была близко, и всѣ опять заволновались, какъ это происходило каждую весну. Рабочая лихорадка охватила и Фотьянку и Балчуговскій заводъ. Въ прошломъ году въ Кедровской дачѣ шли только развѣдки, а нынче пойдутъ настоящія работы. Старатели сбивались артелями и ходили съ Фотьянки на Балчуговскій заводъ и обратно, выжидая нанимателей. Издали они походили на проснувшихся послѣ зимней спячки пчелъ, ползавшихъ по своему улью. Въ числѣ другихъ ходилъ

и Матюшка, оставшійся безъ работы: золото на Дернихѣ кончилось ровно черезъ два дня, какъ сказалъ Карачунскій. Встрѣчая на дорогѣ Мыльникова, Матюшка нѣсколько разъ говорилъ:

— Тарасъ Матвѣевичъ, што меня не возьмешь на жилку?..

— У меня своей родни дѣвать некуда...

— Родня родней, а старую хлѣбъ-соль забывать тоже нехорошо. Вмѣстѣ бѣдовали на Мутяшкѣ-то...

Первое дыханіе весны всѣхъ такъ и подмывало. Очухавшійся Мыльниковъ только чесалъ затылокъ, соображая, сколько стравилъ за зиму денегъ по кабакамъ... Теперь можно было бы въ лучшемъ видѣ свои работы открыть въ Кедровской дачѣ и получать тамъ за золото полную цѣну. Все равно, на жилку надѣяться долго нельзя: много продержится до осени, ежели продержится.

— Бить некому было стараго чорта! — вслухъ ругалъ Мыльниковъ самого себя.—Еще какъ бить-то надо было, бить да приговаривать: не пируй, варнакъ! Не пируй, каторжный!..

Именно въ такомъ тревожномъ настроеніи разъ утромъ пріѣхалъ Мыльниковъ на свою дудку. „Родственники“ не ожидали его и мирно спали около огонька. Мыльниковъ прошелъ къ вороту, наклонился къ отверстію дудки и крикнулъ:

— Эй, Оксюха, жива што ли?..

Отвѣта не послѣдовало, только проснулись сконфуженные родственники.

— Гдѣ же Окся?—грозно накинулся на нихъ Мыльниковъ. — Эй, Окся, не слышишь безъ оч-

ковъ-то!.. Ужъ не задавило ли ее грѣшнымъ дѣломъ.

— Мы ее на свѣту спустили въ дудку,—объяснялъ сконфуженный Яша.—Двѣ бадьи подала пустяку, а потомъ велѣла обождать...

Встревоженный Мыльниковъ спустился въ дудку: Окси не было. Валялось койло и лопатка, а Окси и слѣдъ простылъ. Такое безобразіе возмутило Мыльникова до глубины души, и онъ „на той же ногѣ“ полетѣлъ на Рублиху,—некуда Оксѣ дѣваться, окромя Родіона Потапыча. Появленіе Мыльникова произвело на шахтѣ общую сенсацію.

— Окся здѣсь? — строго спрашивалъ Мыльниковъ.

— Была твоя Окся, да вся вышла...

— Да вы толкомъ говорите, омморошные!.. Она съ дудки, надо полагать, опять ушла сюда...

— Поищи, можетъ найдешь. А вѣрнѣе, братцы, што на Оксѣ чортъ уѣхалъ по своимъ дѣламъ.

Родіонъ Потапычъ вышелъ на шумъ изъ своей конторки и молча нахмурился, завидѣвъ дорогого зятя.

— Оксю потерялъ, Родіонъ Потапычъ... Была въ дудкѣ, а тутъ какъ сквозь землю провалилась. Работнички-то мои проспали.

— Выгоните этого дурака,—коротко приказалъ грозный старикъ.—Здѣсь не кабакъ, штобы шумъ подымать...

— Меня?... Да я...

Чадолюбиваго родителя безъ церемоній вытолкали за дверь.

Мыльниковъ съ Рублихи отправился прямо на Фотьянку къ баушкѣ Лукерьѣ... Окси и тамъ не было; потомъ — въ Балчуговскій заводъ, — Окся точно въ воду канула. Такъ и пропала дѣвка.

Вмѣстѣ съ Оксей ушло и счастье Мыльникова. Черезъ недѣлю его дудку залило подступившей вешней водой, а машину для откачки воды старатели не имѣли права ставить, и ему пришлось бросить свою работу. Отъ всего богатства Мыльникова остались одни новыя ворота да сотни три бревенъ, которыя подрядчикъ увезъ къ себѣ, потому что за нихъ не было заплачено. Съ горя Мыльниковъ опять засѣлъ въ кабакъ къ Ермошкѣ и началъ пропивать помаленьку нажитое добро: сначала лошадь, потомъ кошовку, лошадиную сбрую и, наконецъ, всю одежу съ себя. Наступало лѣто, и одежа была не нужна.

Разъ, когда Мыльниковъ сидѣлъ въ кабакѣ, Ермошка сказалъ:

— А Окся-то твоя ловкую штуку уколола: за Матюшку замужъ вышла...

— Н-но-о?—изумился Мыльниковъ.

— Приданое, слышь, вынесла: цѣлый фунтъ твоего-то золота Матюшка продалъ Петру Васильичу за четыре сотельныхъ билета... Она, братъ, Окся-то поумнѣе всѣхъ оказала себя.

— Ахъ, курва... Да я ее растерзаю на мелкія части!

— Ну, теперь дудки: Матюшка-то изувѣчитъ всякаго... Другую такую-то дуру наживай.

V.

На Рублихѣ дѣла оставались въ прежнемъ положеніи. Углубляться было нельзя, пока не кончена штольня. Работы въ послѣдней подвигались къ концу, что вызывало общее возбужденіе. Штольня пробуравила Ульяновъ кряжъ поперекъ, но въ этомъ горизонтѣ, къ общему удивленію, ничего интереснаго не было найдено: пласты березитовъ, сланцы, песчаники, глина — и только. Кварцъ встрѣчался ничтожными прослойками безъ всякаго содержанія золота. Всѣ надежды теперь сосредоточились именно на этой штольнѣ, потому что она отведетъ всю родную воду въ Балчуговку, и тогда можно начать углубленіе въ центральной шахтѣ. Родіонъ Потапычъ спускался въ штольню по два раза въ день и оставался тамъ часовъ по пяти. Работы шли подъ его личнымъ руководствомъ. Старикъ никому не довѣрялъ и все дѣлалъ самъ. Что непріятно поражало Родіона Потапыча, такъ это то, что Карачунскій какъ будто остылъ къ Рублихѣ и совершенно равнодушно выслушивалъ подробные доклады стараго штейгера, точно все это не касалось его. Такъ продолжалось мѣсяца два, а потомъ Карачунскій точно проснулся. Онъ „зачастилъ“ на Рублиху и подолгу оставался здѣсь. То спустится въ шахту и бродитъ по разсѣчкамъ, то сидитъ наверху. Вообще съ нимъ что-то „попритчилось“, какъ рѣшили всѣ.

— Скоро ли? — спрашивалъ онъ каждый день Родіона Потапыча.

— Еще восемнадцать аршинъ осталось... Къ рѣкѣ скорѣе пойдемъ, потому тамъ ребровикъ да музга́ пойдутъ.

Музгой рабочіе называли всякую смѣсь, а въ данномъ случаѣ музга состояла изъ глины и разрушившихся песчаниковъ. Попадались еще прослойки бѣлой вязкой глины съ крупинками кварца, носившей названіе „кавардака". Вѣроятно, оно дано было сначала кѣмъ-нибудь изъ горныхъ инженеровъ, и было подхвачено рабочими да такъ и пошло гулять по всѣмъ промысламъ, какъ забористое и зубастое словечко, тѣмъ болѣе, что такой бѣлой глины рабочіе очень не любили— лопата ея не брала, а кайло вязло, какъ въ воскѣ. Такой „кавардакъ" встрѣчается только въ полосѣ березитовъ, какъ продуктъ ихъ разрушенія.

Новое увлеченіе Карачунскаго Рублихой находилось въ связи съ его душевнымъ настроеніемъ: это была его послѣдняя ставка. „Оправдаетъ себя" Рублиха, и Карачунскій спасенъ... Часто онъ совершенно забывался, сидя гдѣ-нибудь у машины и прислушивась къ глухой работѣ и тяжелымъ вздохамъ шахты. Тамъ, въ темной глубинѣ, творилась медленная, но отчаянная борьба со скупой природой, спрятавшей въ какой-то далекій уголъ свое сокровище. И въ душѣ у человѣка, въ невѣдомыхъ глубинахъ, происходитъ такая же борьба за крупицы правды, добра́ и чести. Ахъ, сколько тьмы лежитъ на каждой душѣ, и какими родовыми муками добываются такія крупицы... Большинство людей счастливо только потому, что не даетъ себѣ труда заглянуть въ такія

душевныя пропасти и вообще не даетъ отчета въ пройденномъ пути. Родіонъ Потапычъ потихоньку наблюдалъ Карачунскаго издали и старался въ такія минуты не мѣшать барину „раздумываться". Ничего, пусть подумаетъ... Разъ они встрѣтились глазами именно въ такую минуту, и Карачунскій весело улыбнулся.

— Знаешь, о чемъ я думалъ сейчасъ, Родіонъ Потапычъ?

— Не могу знать, Степанъ Романычъ... У господъ свои мысли, у насъ, мужиковъ, свои, а чужая душа потемки. А тебѣ пора и подумать о своемъ-то лакомствѣ... У всѣхъ господъ одна зараза, а только ты попревосходнѣй другихъ себя оказалъ.

— Вся разница въ томъ, Родіонъ Потапычъ, что есть настоящіе господа и есть поддѣльные. Настоящій баринъ за свое лакомство самъ и разсчитывается... А мужикъ полакомится— и бѣжать.

— Видалъ я господъ всякихъ, Степанъ Романычъ, а все-таки не пойму ихъ никакъ... Не къ тебѣ рѣчь говорится, а вообче. Прежнее время взять, когда мужики за господами жили — правильные были господа, настоящіе: звѣрь такъ звѣрь, во всю мѣру, добрый такъ добрый, лакомый такъ лакомый. А все-таки не понималъ я, какъ это всякую совѣсть въ себѣ загасить... Про нынѣшнихъ и говорить нечего: онъ и злато не можетъ сдѣлать, засилья нѣтъ, а такъ, одно званье, што баринъ.

— А какъ ты меня понимаешь, Родіонъ Потапычъ?...

— Тебя-то? Бочка меду да ложка дегтю—вотъ какъ я тебя понимаю. Кабы не твое лакомство, цѣны бы тебѣ не было... Всякая поводка въ тебѣ настоящая, и въ словѣ твердъ даже на рѣдкость.

Карачунскій пріѣзжалъ на Рублиху даже ночью. Онъ вдругъ потерялъ сонъ и ужасно этимъ мучился. А тутъ проѣхаться верстъ пять по свѣжему воздуху—отлично...Весна уже брала свое. За день дорога сильно подтаивала, а къ ночи все подмерзало. Заторы и колдобины покрывались тонкимъ, какъ стекло, льдомъ, который со звономъ хрустѣлъ подъ лошадиными копытами и саннымъ полозомъ. А какъ легко дышится въ такую весеннюю ночь... Небо блѣдное, звѣзды лихорадочно свѣтятъ, въ воздухѣ разлита чуткая дремота. Вообще, хорошо. Нервы напряжены, и въ тѣлѣ разливается такая бодрая теплота, какъ въ ранней молодости. Въ такія минуты хорошо думается и хорошо чувствуется. Разъ, когда такъ ночью Карачунскій ѣхалъ одинъ, ему вдругъ пришла мысль: а что, если бы умереть въ такую ночь?.. Умереть бодрымъ, полнымъ силъ, въ полномъ сознаніи, а не безпомощнымъ и жалкимъ. Кучеръ, должно-быть, вздремнулъ на козлахъ, потому что лошади поднимались на Краюхинъ увалъ шагомъ; колокольчикъ сонно бормоталъ подъ дугой, когда коренникъ взмахивалъ головой; пристяжная пряла ушами, горячимъ глазомъ вглядываясь въ сѣрый полумракъ. Именно въ этотъ моментъ точно изъ земли выросъ надъ Карачунскимъ верховой; его обдало горячее дыханіе лошади, а въ сѣдлѣ неподвижно

сидѣлъ, свѣсившись на одинъ бокъ по-киргизски, Кожинъ. Карачунскій узналъ его и почувствовалъ, какъ по спинѣ пробѣжала холодная струйка. Кучеръ встрепенулся и подтянулъ вожжи.

— Эй, ты, подальше, полуношникъ!—крикнулъ кучеръ.

Кожинъ ничего не отвѣчалъ, а только пустилъ лошадь рядомъ. Карачунскій инстинктивно схватился за револьверъ.

— Не бойсь, не трону,—отвѣтилъ Кожинъ, выпрямляясь въ сѣдлѣ.—Степанъ Романычъ, а я съ Фотьянки... Ѣздилъ къ подлецу Кишкину: на мои деньги открылъ розсыпь, а теперь и знать не хочетъ. Это какъ же?..

— У васъ условіе было какое-нибудь?—спрашивалъ Карачунскій, сдерживая волненіе.

— Какія тамъ условія...

— Ну, тогда ничего не получите.

Кожинъ молча повернулъ лошадь, засмѣялся и пропалъ въ темнотѣ. Кучеръ нѣсколько разъ оглядывался, а потомъ замѣтилъ:

— Не съ добромъ человѣкъ ѣдетъ...

— А что?

— Да ужъ такъ... Куда его чортъ несетъ ночью? Да и въ словахъ мѣшается... Ночнымъ дѣломъ разѣ можно подъѣзжать этакъ-ту: кто его знаетъ, што у него на умѣ.

— Пустяки...

Ночью особенно было хорошо на шахтѣ. Все кругомъ спитъ, а паровая машина дѣлаетъ свое дѣло, грузно повертывая тяжелыя чугунныя шестерни, наматывая канаты и вытягивая поршни

водоотливной трубы. Что-то такое было бодрое, хорошее и успокаивающее въ этой неумолчной гигантской работѣ. Свои домашнія мысли и чувства исчезли на время, смѣняясь дѣловымъ настроеніемъ.

— Развѣ такъ работаютъ...—говорилъ Карачунскій, сидя съ Родіономъ Потапычемъ на одномъ обрубкѣ дерева.—Нужно было заложить пять такихъ шахтъ и всю гору изрыть—вотъ это развѣдка. Тогда ужъ золото не ушло бы у насъ...

— Куда ему дѣваться, Степанъ Романычъ... Въ горѣ оно спряталось.

— Да и вообще всѣ наши работы ничего не стоятъ, потому что у насъ нѣтъ денегъ на большія развѣдки и на настоящія большія работы.

— Это ты правильно... Кабы настоящимъ образомъ ударить тотъ же Ульяновъ кряжъ...

Карачунскій разсказывалъ подробно, какъ добываютъ золото въ Калифорніи, въ Африкѣ, въ Австраліи, какія громадныя компаніи основываются, какіе страшные капиталы затрачиваются, какія грандіозныя работы ведутся и какіе баснословные дивиденды получаются въ результатѣ такой кипучей дѣятельности. Родіонъ Потапычъ только недовѣрчиво покачивалъ головой, а съ другой стороны очень ужъ хорошо разсказывалъ баринъ, такъ хорошо, что даже слушать его обидно.

— Мы, какъ нищіе...—думалъ вслухъ Карачунскій.—Если бы настоящія работы поставить въ одной нашей Балчуговской дачѣ, такъ не хватило бы пяти тысячъ рабочихъ... Вѣдь сейчасъ старатель самъ себѣ въ убытокъ работаетъ, потому что

не пропадать же ему голодомъ. И компаніи отъ его голода тоже нѣтъ никакой выгоды... Теперь мы купимъ у старателя одинъ золотникъ и наживемъ на немъ два съ полтиной, а тогда бы мы нажили полтину съ золотника, да зато намъ бы принесли вмѣсто одного пятьдесятъ золотниковъ.

— Ну, это ужъ невозможно!—сказалъ Родіонъ Потапычъ.—Имъ, подлецамъ, сколько угодно дай—все равно потащатъ Ястребову.

— Тогда мы стали бы платить столько же, сколько платитъ Ястребовъ: если ему выгодно, такъ намъ въ сто разъ выгоднѣе. Главное-то свои работы...

На этомъ пунктѣ они всегда спорили. Старый штейгеръ относился къ вольному человѣку-старателю съ ненавистью старой дворовой собаки. Вотъ свои работы—другое дѣло... Это настоящее дѣло, кабы сила брала. Между разговорами Родіонъ Потапычъ вѣчно прислушивался къ смѣшанному гулу работавшей шахты и, какъ опытный капельмейстеръ, въ этой пестрой волнѣ звуковъ сейчасъ же улавливалъ малѣйшую невѣрную ноту. Разъ онъ соскочилъ совсѣмъ блѣдный и даже поднялъ руку кверху.

— Что случилось?

— Вода, Степанъ Романычъ...—прошепталъ старикъ, опрометью бросаясь къ насосу.

Несмотря на самое тщательное прислушиванье, Карачунскій ничего не могъ различить: такъ же хрипѣлъ насосъ, такъ же лязгали шестерни и желѣзныя цѣпи, такъ же подъ поломъ журчала сбѣгавшая по „сливу“ рудная вода, такъ же вздра-

гивалъ весь корпусъ отъ поворотовъ тяжелаго маховика. А между тѣмъ старый штейгеръ учуялъ бѣду... Поршень подавалъ совсѣмъ мало воды. Впрочемъ, причина была найдена сейчасъ же: лопнуло одно изъ колѣнъ главной трубы. Старый штейгеръ вздохнулъ свободнѣе.

— Ну, это не велика бѣда,—говорилъ онъ съ улыбкой.—А я думалъ, не вскрылась ли настоящая рудная вода на глуби. Бѣда, ежели настоящая-то рудная вода прорвется: какъ разъ одолѣетъ и всю шахту зальетъ. Бывало дѣло...

Они, кажется, переговорили обо всемъ, кромѣ главнаго, что лежало у обоихъ на душѣ. Родіонъ Потапычъ не проронилъ ни одного слова о Ѳенѣ, а Карачунскій молчалъ о дѣлѣ Кишкина. Но это послѣднее неотступно преслѣдовало его, получивъ неожиданный оборотъ. Слѣдователь по особо важнымъ дѣламъ вызывалъ Карачунскаго въ свою камеру уже три раза. Эти вызовы производили на Карачунскаго страшное двойственное впечатлѣніе: знакомый человѣкъ, съ которымъ онъ много разъ игралъ въ клубѣ въ карты и встрѣчался у знакомыхъ, и вдругъ начинаетъ офиціальнымъ тономъ допрашивать о званіи, имени, отчествѣ, фамиліи, общественномъ положеніи и подробностяхъ передачи казенныхъ промысловъ.

— Г. Карачунскій, вы не могли, слѣдовательно, не знать, что принимаете пріисковый инвентарь только по описи, не провѣряя фактически, — тянулъ слѣдователь, записывая что-то,—чѣмъ, съ одной стороны, вы прикрывали упущенія и растраты казеннаго управленія промыслами, а съ

другой—вводили въ заблужденіе собственныхъ довѣрителей,—въ данномъ случаѣ компанію.

— Г. слѣдователь, вамъ небезызвѣстно, что и въ казенномъ дѣлѣ и въ частномъ есть масса такихъ формальностей, какія существуютъ только на бумагѣ—это извѣстно каждому. Я дѣлалъ не хуже, не лучше, чѣмъ всѣ другіе, какъ тѣ же мои предшественники... Чтобы провѣрить весь инвентарь такого сложнаго дѣла, какъ громадные промысла, потребовались бы цѣлые годы и затѣмъ...

— И затѣмъ?..

— И затѣмъ я не желалъ подводить подъ обухъ своихъ предшественниковъ, которые, какъ я глубоко убѣжденъ, были виноваты столько же, сколько я въ данный моментъ.

— Вотъ это и важно, что вы сознательно прикрывали существованіе злоупотребленія!

— Позвольте, г. слѣдователь, я этого совсѣмъ не желалъ сказать и не могъ... Я хотѣлъ только объяснить, какъ происходятъ подобныя вещи въ большихъ промышленныхъ предпріятіяхъ.

— Это одно и то же, только вы говорите другими словами, г. Карачунскій.

Такой пріемъ злилъ Карачунскаго, и онъ чувствовалъ, какъ слѣдователь беретъ надъ нимъ перевѣсъ своимъ профессіональнымъ безстрастіемъ. Правосудіе должно было быть удовлетворено, и козломъ отпущенія являлся именно онъ, Карачунскій. Конечно, онъ могъ свалить на своихъ предшественниковъ, но такой маневръ былъ бы просто глупымъ, потому что онъ сейчасъ не могъ

ничего доказать. И слѣдователь былъ по-своему правъ, выматывая изъ него душу и цѣпляясь за разныя мелочи и пустяки. Въ концѣ-концовъ, Карачунскій чувствовалъ себя въ положеніи травленнаго звѣря, котораго опутывали цѣпкими тенетами. Могла разыграться очень скверная штука вообще, да, кажется, въ этомъ сейчасъ не могло быть и сомнѣнія. По крайней мѣрѣ, Карачунскій въ этомъ смыслѣ ни на минуту не обманывалъ себя съ перваго момента, какъ получилъ повѣстку отъ слѣдователя.

Интересна была произведенная слѣдователемъ очная ставка Карачунскаго съ Кишкинымъ. Присутствіе доносчика приподняло Карачунскаго, и онъ держалъ себя съ такимъ леденящимъ достоинствомъ, что даже у слѣдователя заронилось сомнѣніе. Кишкинъ все время чувствовалъ себя сильно смущеннымъ.

— Г. слѣдователь, я желаю взять назадъ свой доносъ...—заявилъ Кишкинъ въ концѣ-концовъ, виновато опуская глаза.

— Я уже сказалъ вамъ, что это невозможно,— сухо отвѣчалъ слѣдователь, продолжая писать.

— А если я по злобѣ это сдѣлалъ?.. Просто, отъ непріятностей и сейчасъ самъ не помню, о чемъ писалъ... Бѣдному человѣку всегда кажется, что всѣ богатые виноваты.

— Теперь вы, кажется, разбогатѣли и не можете жаловаться на судьбу... Однимъ словомъ, это къ дѣлу не относится.

Когда Карачунскій вышелъ на подъѣздъ слѣ-

довательской квартиры, Кишкинъ догналъ его и торопливо проговорилъ:

— А я не виноватъ, Степанъ Романычъ... Про васъ-то я ни одного слова не говорилъ, а про другихъ.

— Что вамъ отъ меня нужно?..—сурово спросилъ Карачунскій, мѣряя старика съ ногъ до головы. — Я васъ совсѣмъ не знаю и не желаю знать...

Это презрѣніе образумило Кишкина, точно на него пахнуло холоднымъ воздухомъ, и онъ со злобой подумалъ:

„Погоди, шляхта, ужо запоешь матушку-рѣпку, когда приструнятъ...“

Карачунскому этотъ подлый старичонко-доносчикъ внушалъ непреодолимое отвращеніе, какъ пресмыкающаяся гадина. Сознавая всю опасность своего положенія, онъ гордился тѣмъ, что ничего не боится и встрѣтитъ неминучую бѣду съ подобающимъ хладнокровіемъ. Теперь уже въ отношеніяхъ собственныхъ служащихъ онъ замѣчалъ свое фальшивое положеніе: его уже начинали игнорировать, особенно Монморанси, которыхъ онъ прокармливалъ. Изъ допросовъ слѣдователя Карачунскій понималъ, что кромѣ доноса Кишкина былъ еще чей-то дополнительный доносъ прямо о немъ и подозрѣвалъ, что его сдѣлалъ Ониковъ. Этотъ молодой человѣкъ старательно избѣгалъ встрѣчъ съ Карачунскимъ, чѣмъ еще больше подтверждалъ подозрѣнія. Промысловые служащіе, конечно, знали о всемъ происходившемъ и смотрѣли на Карачунскаго, какъ на обреченнаго человѣка. Все

это создавало взаимно-фальшивыя отношенія, и Карачунскій желалъ только одного, чтобы все это поскорѣе разрѣшилось такъ или иначе.

Вотъ о чемъ задумывался онъ, проводя ночи на Рублихѣ. Тысячу разъ мысль проходила по одной и той же дорогѣ, безъ конца повторяя тѣ же подробности и проводя гнетущеее настроеніе. Если бы открыть на Рублихѣ хорошую жилу, то тогда можно было бы оправдать себя въ глазахъ компаніи и уйти изъ дѣла съ честью: это было для него единственнымъ спасеніемъ.

Въ то время, пока Карачунскій все это думалъ и передумывалъ, его судьба уже была рѣшена въ глубинахъ главнаго управленія компаніи Балчуговскихъ промысловъ: онъ былъ отрѣшенъ отъ должности, а на его мѣсто назначенъ молодой инженеръ Ониковъ.

VI.

На Ѳоминой вѣковушка Марья сыграла свадьбу-самокрутку и на свое мѣсто привела Наташку, которая уже могла „отвѣчать за настоящую дѣвку“, хотя и выглядѣла тоненькимъ подросткомъ. Баушку Лукерью много утѣшало то, что Наташка лицомъ напоминала Ѳеню да и характеромъ тоже.

— Живи и слушайся баушки, — наказывала строго Марья.—И къ дѣлу привыкнешь и, можетъ, свою судьбу здѣсь-то найдешь... У дѣдушки немного бы высидѣла, да тамъ и безъ тебя полная изба ѣдоковъ.

Наташка была рада этой перемѣнѣ и только тосковала о своемъ братишкѣ Петрунькѣ, который остался теперь безъ всякаго призора. Отецъ Яши вмѣстѣ съ Прокопіемъ пропадали гдѣ-то на промыслахъ и дома показывались рѣдко.

— Смаялась я съ дѣвками,—ворчала баушка Лукерья.—На одномъ году четвертую беру... А все промысла. Грѣхъ одинъ съ этими дѣвками...

Марья съ мужемъ поступила къ Кишкину на Богоданку, гдѣ весной закипѣла горячая работа. На берегу Мутяшки по щучьему велѣнью выросла новая контора, а при ней была наложена обѣщанная старикомъ горенка для Марьи. Весело было на Богоданкѣ, какъ въ праздникъ. Рабочихъ набралось больше трехсотъ человѣкъ. Со стороны Мутяшки еще зимой была устроена изъ глины и хвороста плотина, а затѣмъ вся вода изъ болота выкачена паровой машиной. Зимой же половина розсыпи была вскрыта, и верховикъ пошелъ на плотину, такъ что за-разъ дѣлалось два дѣла. Пески промывали бутарой, которая гремѣла день и ночь, какъ прожорливое чудовище съ желѣзнымъ брюхомъ. Розсыпь оказалась прекрасной,—въ среднемъ около полуторыхъ золотниковъ содержанія. Кишкинъ жилъ въ своей конторѣ и самъ смотрѣлъ за всѣмъ, не довѣряя постороннему глазу. При немъ происходила доводка золота въ полдень и вечеромъ, и онъ самъ отжигалъ на огнѣ полученную „сортучку“, какъ называютъ на промыслахъ соединеніе ртути съ золотомъ. Мелкое золото улавливалось ртутью. Нѣсколько старательскихъ артелей были допущены только для вы-

работки бортовъ, какъ на большихъ промыслахъ, и Кишкинъ каялся въ этомъ попущеніи, потому что вѣчно подозрѣвалъ старателей въ воровствѣ. Старикъ ни въ чемъ не измѣнилъ образа жизни и ходилъ въ такомъ же рваномъ архалукѣ, какъ и въ прошломъ году. Единственную роскошь, которую онъ позволилъ себѣ—была трубка съ длиннымъ черешневымъ чубукомъ. Жилъ онъ очень грязно, ходилъ въ грязномъ бѣльѣ и скупился ужасно. Даже чай ходилъ пить къ своему штейгеру Семенычу, чтобы съэкономить на этой разорительной привычкѣ. Марья, впрочемъ, не подавала вида, что замѣчаетъ эту старческую жадность, и охотно угощала старика всѣмъ, что было подъ рукой.

— Всѣ кричатъ: богатство!—жаловался Кишкинъ. — А только вотъ я не вижу его до сихъ поръ... Нечѣмъ долгъ заплатить баушкѣ Лукерьѣ. Тутъ тебѣ паровая машина, тутъ вскрыша, тутъ бутара, тутъ плотина... За все деньги подай, а деньги изъ одного кармана.

— А какъ же баушка-то Лукерья? Завидная она до денегъ...

— Проценты плачу... охъ, разоренье, Марьюшка!..

— Ну, какъ-нибудь, Андронъ Евстратычъ. Богъ не безъ милости...

— Главное, всѣмъ деньги подавай: и штейгеру, и рабочимъ, и старателямъ. Какъ разъ безъ сапоговъ отъ богатства уйдешь... Да еще сколько украдутъ старателишки. Не углядишь за воромъ... Ихъ много, а я-то, вѣдь, одинъ. Не разорваться...

Всего больше Кишкинъ не любилъ, когда на

пріискъ пріѣзжали гости, какъ тотъ же Ястребовъ. Знаменитый скупщикъ дѣлалъ такой видъ, что ему все равно и что онъ нисколько не завидуетъ дикому счастью Кишкина.

— Старайся, старайся, старичокъ Божій!..—весело говорилъ онъ, похлопывая Кишкина своей тяжелой рукой по плечу.—Любая половина моихъ рукъ не минуетъ... Пряменько скажу тебѣ, Андронъ Евстратычъ. Быль молодцу не укора...

— Знаю я васъ, разбойниковъ!—брюзжалъ Кишкинъ.—Только, вѣдь, со мной шутки-то плохія, Никита Яковличъ...

— Не пугай, ради Христа... ха-ха!.. А что сдѣлаешь?

— А вотъ это самое... Я, братъ, дубленый: всѣ ваши ходы и выходы знаю. Меня, братъ, не проведешь...

Въ другой разъ Ястребовъ привезъ съ собой самого Илью Ѳедотыча, ѣздившаго по промысламъ для собственнаго развлеченія.

— Посмотрѣть пріѣхалъ на тебя, чудо-юдо,—пошутилъ секретарь милостиво. — Разбогатѣлъ, такъ и меня знать не хочешь.

— Онъ нынче гордый сталъ,—поддержалъ Ястребовъ расшутившагося секретаря.—Голой рукой и не возьмешь...

— А еще однокашники,—продолжалъ Илья Ѳедотычъ.—Скоро, пожалуй, на улицѣ встрѣтитъ и не узнаетъ... Вотъ тебѣ и дружба. Хе-хе... А еще говорятъ, что старая хлѣбъ-соль впереди.

Сильный былъ человѣкъ Илья Ѳедотычъ, такъ что Кишкинъ для него послалъ въ Балчуговскій

заводъ за бутылкой мадеры, благо секретарь остается ночевать въ Богоданкѣ.

— Да, вотъ какія дѣла, Андронъ...—говорилъ онъ вечеромъ, когда они остались въ конторѣ одни.—Пріѣхалъ получить съ тебя должокъ. Развѣ забылъ?..

— Всѣ отдамъ, Илья Ѳедотычъ, только дай съ деньгами собраться...—жалостливо увѣрялъ Кишкинъ.—Никакъ не могу сбиться деньгами-то. Вотъ еще свои въ землю закапываю...

— Перестань врать!.. Другихъ морочь, а меня-то оставь.

Марья вертѣлась на глазахъ цѣлый вечеръ и сумѣла угодить Ильѣ Ѳедотычу. Она подала и сливокъ къ чаю, и ягодъ, а на ужинъ состряпала такія пельмени, что языкъ проглотишь. Кишкинъ только поморщился, что разгулялась баба на чужую провизію, но Марья успокоила его: она все дѣлала изъ своего.

— Нельзя же кое-какъ, Андронъ Евстратычъ,— уговаривала она старика своимъ увѣреннымъ тономъ.—Пригодится еще Илья-то Ѳедотычъ... Всѣ за нимъ ходятъ, какъ за кладомъ.

— Охъ, знаю, Марьюшка... Да мнѣ-то какая отъ этого корысть?... Свою голову не знаю какъ прокормить... Ты расхарчилась-то съ какой радости?

— Нельзя, Андронъ Евстратычъ: порядокъ того требуетъ. Тоже видали, какъ добрые люди живутъ...

Илья Ѳедотычъ за бутылкой хереса сообщилъ Кишкину послѣднюю новость, именно, о назначеніи Оникова главнымъ управляющимъ Балчуговскихъ промысловъ.

— А куда же Карачунскій? — удивился Кишкинъ.

— Ну, это его дѣло... Можетъ, ты же ему мѣсто-то приспособилъ своимъ доносомъ. Влетѣлъ онъ въ это самое дѣло, какъ куръ во щи... Ахъ, Андрошка, бить-то тебя было некому!..

— Отъ бѣдности очертѣлъ тогда,—согласился Кишкинъ.—Терпѣлъ-терпѣлъ и надумалъ...

За бутылкой вина старики разговорились о старинѣ, о прежнихъ людяхъ, о похороненномъ казенномъ времени, о нынѣшнихъ порядкахъ и нынѣшнихъ людяхъ. Илья Ѳедотычъ какъ-то осовѣлъ и точно размякъ.

— Пожалѣютъ балчуговскіе-то о Карачунскомъ,— повторялъ секретарь. — И еще какъ пожалѣютъ... Въ уздѣ держалъ, а только съ толкомъ. Умный былъ человѣкъ... Надо правду говорить. Ониковъ-то покажетъ себя...

— Народъ изварначился нынче, Илья Ѳедотычъ...

— Ну, это тоже суди на волка и суди по волку.. Промысла-то вездѣ одинаковы—сегодня вскачь, а завтра хоть плачь.

— Разжалобился ты што-то ужъ очень, Илья Ѳедотычъ... У себя въ канцеляріи такъ звѣрь звѣремъ сидишь, а тутъ жалость напустилъ.

— Охъ, помирать скоро, Андрошка... О душѣ надо подумать. Прежніе-то люди больше насъ о душѣ думали; и грѣха было больше и спасенья было больше, а мы ни Богу свѣча, ни чорту кочерга. Вотъ тебя хоть взять: напалъ на деньги и съежился весь. Изъ пушки тебя не прошибешь, а вѣдь подохнешь, съ собой ничего не возьмешь.

И всѣ мы такіе, Андрошка... Хороши, пока голодны, а какъ насосались, и конецъ.

— Тебѣ въ попы итти, Илья Ѳедотычъ,—разсердился Кишкинъ.—Въ самый разъ съ постной молитвой ѣздить...

Это жалостливое настроеніе Ильи Ѳедотыча, впрочемъ, смѣнилось быстро игривымъ. Онъ долго смотрѣлъ на Марью, а потомъ весело подмигнулъ и замѣтилъ:

— Игрушка?..

— Хороша Маша, да не наша... Съ мужемъ живетъ.

— Што же, это еще лучше, коли съ мужемъ... хи-хи!... Изъ-за мужа-то и хозяина пожалѣетъ...

Илья Ѳедотычъ рано утромъ былъ разбуженъ неистовымъ ревомъ Кишкина, такъ что въ одномъ бѣльѣ подскочилъ къ окну. Онъ увидѣлъ какихъ-то двухъ мужиковъ, надъ которыми воевалъ Андронъ Евстратычъ. Старикъ расходился до того, что, какъ пѣтухъ, такъ и наскакивалъ на нихъ и даже замахивался своей трубкой. Одинъ мужикъ стоялъ съ уздой.

— Грабить меня пришли?!.—оралъ Кишкинъ.—Петръ Васильичъ, побойся ты Бога, ежели людей не стыдишься... Знаю я, по ка[illegible] дѣламъ ты съ уздой шляешься по промыс[illegible]

— Мы нащетъ работы, [illegible] Евстрат[illegible] заявлялъ другой мужи[illegible] м[illegible] другихъ-прочихъ?.. От[illegible] весь разговоръ.

Это были Петръ [illegible] шлявшіеся по пром[illegible]

лу. На крикъ Кишкина собрались рабочіе и подняли гостей насмѣхъ.

— Ты ихъ обыщи, Андронъ Евстратычъ,—совѣтовалъ кто-то.—Мыльниковъ-то замѣсто коромысла отвѣчаетъ у Петра Васильича.

— Ну и обыщи, коли на то пошло!—согласился Петръ Васильичъ, распоясываясь.—Весь тутъ... Хоть выворoти.

— А мнѣ надо сестрицу Марью повидать, — заявлялъ Мыльниковъ не безъ достоинства. — Кожинъ тебѣ кланяется, Андронъ Евстратычъ.

Выскочившая на шумъ Марья увела родственниковъ къ себѣ въ горенку и этимъ прекратила скандалъ.

— Скупщики... — коротко объяснилъ Кишкинъ недоумѣвавшему гостю. — Вотъ этотъ, кривой-то, настоящій и есть змѣй... Отъ Ястребова ходитъ.

— Ну, у хлѣба не безъ крохъ, — равнодушно замѣтилъ секретарь.—А я думалъ, что тебя ужъ рѣжутъ...

— И зарѣжутъ...

Мыльниковъ сидѣлъ въ горницѣ у сестрицы Марьи съ самымъ убитымъ видомъ и говорилъ:

— Вотъ, Марьюшка, до чего дожилъ: хожу по промысламъ и свою Оксю разыскиваю. Должна же она своего родителя ублаготворить?.. Конешно, она въ законѣ и всякое прочее, а цѣлый фунтъ золота у меня стащила...

— Мало ли что зря люди болтаютъ,—успокоивала Марья. — За терпѣнье Оксѣ-то Богъ судьбу послалъ, а ты оставь ее... Не равенъ часъ, Матюшка-то и бока наломаетъ.

— Прямо убьетъ, — соглашался Мыльниковъ.— Зятя Богъ послалъ... Охъ, Марьюшка, только и жисть наша горемышная.

— Пировалъ бы меньше, Тарасъ... Правду надо говорить. Татьяну-то сбылъ тятенькѣ на руки, а самъ гуляешь по промысламъ.

Мыльниковъ удрученно молчалъ и чесалъ затылокъ. Эхъ, кабы не водочка... Петръ Васильичъ тоже находился въ удрученномъ настроеніи. Онъ вздыхалъ и все посматривалъ на Марью. Она по-своему истолковала это настроеніе милыхъ родственниковъ и, когда вечеромъ вернулся съ работы Семенычъ, выставила полуштофъ водки съ закуской изъ сушеной рыбы и какихъ-то грибовъ.

— Не обезсудьте на угощеніи, гостеньки дорогіе...—приговаривала она.

— Ахъ, Марьюшка, родная сестрица!—ахнулъ Мыльниковъ.—Вотъ когда ты уважила...

Семенычъ чувствовалъ себя настоящимъ хозяиномъ и угощалъ съ подобающимъ радушіемъ. Мыльниковъ быстро опьянѣлъ,— онъ давно не пилъ, и водка быстро свалила его съ ногъ. За нимъ послѣдовалъ и Семенычъ, непривычный къ водкѣ вообще. Петръ Васильичъ пилъ меньше другихъ и чувствовалъ себя прекрасно. Онъ все время молчалъ и только поглядывалъ на Марью, точно что хотѣлъ сказать.

— Очертѣлъ Шишка-то...—заговорилъ наконецъ Петръ Васильичъ, когда остался съ глазу на глазъ съ Марьей.—Какъ змѣй накинулся давѣ на насъ...

— Его не обманешь: наскрозь видитъ каждаго.

— Видитъ, говоришь? — засмѣялся Петръ Ва-

сильичъ. — Кабы видѣлъ, такъ не бросился бы... Разѣ я дуракъ, штобы середи бѣла дня итти къ нему на пріискъ съ вѣсками, какъ прежде. Нѣтъ, мы тоже учены, Марьюшка...

— Спряталъ въ лѣсу гдѣ-нибудь вѣсы-то свои?

— Обыкновенно... И Тарасъ не видалъ, потому несуразный онъ человѣкъ. Кажное дѣло мастера боится... Вотъ твое бабье дѣло, Марья, а ты все можешь понимать.

Петръ Васильичъ придвинулся къ ней поближе и спросилъ шопотомъ:

— А есть у тебя какое-нибудь женское дѣло съ Шишкой?

Марья отрицательно покачала головой и засмѣялась.

— Себя соблюдаешь, — рѣшилъ Петръ Васильичъ.—А Шишка, вотъ погляди, сбрендитъ... Онъ топерь отдохнулъ и первое дѣло за бабой погонится, потому какъ хоша и настоящій баринъ, а повадку-то эту знаетъ.

— Такъ поглядываетъ, а штобы приставалъ— этого нѣтъ,—откровенно объяснила Марья.—Да и какая ему корысть въ мужней женѣ... Хлопотъ много. Какъ-то онъ проѣзжалъ черезъ Фотьянку и увидалъ у васъ Наташку. Ну, пріѣхалъ веселый такой и все про нее разспрашивалъ: чья да откуда...

— Про Наташку, говоришь? Польстился, значитъ...

— Не корыстна еще дѣвчонка, а ему любопытно. Востроглазая, говоритъ... Съ баушкой-то у него

свои дѣла. Она ему всѣ деньги отвалила и проценты получаетъ...

— Такъ, такъ... Ума послѣдняго рѣшилась старуха. Ужъ я это смекалъ... Такъ, своимъ умомъ дошелъ... Ахъ, песъ! Ловко обошелъ мамыньку... Заграбасталъ деньги. Пусть насосется хорошенько... Поди, много денегъ-то у стараго чорта?

— А кто его знаетъ... Мнѣ не показываетъ. На ночь очень ужъ запираться сталъ: къ окнамъ изнутри сдѣлалъ желѣзныя ставни, дверь двойная и тоже желѣзомъ окована... Желѣзный сундукъ подъ кроватью, такъ въ емъ у него деньги-то...

— Въ сундукѣ? Такъ, Марьюшка... А тяжелый сундукъ-то?..

— Да не унести его совсѣмъ, потому къ полу онъ привинченъ... Я какъ-то мела въ конторѣ и хотѣла передвинуть, а сундукъ точно припитъ...

Петръ Васильичъ еще ближе придвинулся къ Марьѣ и слушалъ эти объясненія, затаивъ дыханіе. Когда Марья взглянула на это искаженное конвульсивной улыбкой лицо, то даже отодвинулась со страха.

— Петръ Васильичъ...

— А што?..

— Нѣтъ, къ чему ты выспрашиваешь-то? Да ты въ умѣ ли? Христосъ съ тобой...

Петръ Васильичъ опомнился и отвернулся. У него стучали зубы отъ охватившей его лихорадки. Марья схватила его за руку—рука была холодная, какъ ледъ.

— Ключикъ добудь,Марьюшка...—шепталъ Петръ Васильичъ.—Вызнай, высмотри, куды онъ его пря-

четъ... Съ собой носитъ? Ну, это еще лучше... Хитеръ старый песъ. А денегъ у него неочерпаемо... Мнѣ въ городу сказывали, Марьюшка. Полтора пуда ужъ сдалъ онъ золота-то, а вѣдь это тридцать тысячъ голенькихъ денежекъ. Некуда ему ихъ дѣвать. Выждать, когда у него большая получка будетъ, и накрыть... Да ты-то чего боишься, дура?..

— Ахъ, страшно... уйди...

— Одинова страшно-то, а тамъ на всю жисть богачество... Живи себѣ барыней. Только твоей и работы: ключикъ отъ сундука подглядѣть.

Побѣлѣвшая Марья отчаянно замахала обѣими руками. Петръ Васильичъ посмотрѣлъ на нее съ ненавистью и прошипѣлъ:

— Не хочешь, такъ Наташку приспособимъ... Дѣвчонка вострая, а старичку это и любопытно.

Въ ночь Петръ Васильичъ ушелъ съ Богоданки, а Марья осталась какъ ошпаренная. Даже мужъ замѣтилъ, что съ бабой творится что-то неладное.

— Неможется, што-то,—коротко объяснила она.

VII.

— Когда же ты помрешь, Дарья?—серіозно спрашивалъ Ермолай свою супругу.—Этакъ я съ тобой всѣхъ невѣстъ пропущу... У Злобиныхъ было двѣ невѣсты, а теперь ни одной не осталось. Ѳеня съ пути сбилась, Марья замужъ выскочила. Докуда я ждать-то буду?...

— А Наташка? — виновато отвѣчала Дарья. –

Можетъ, къ осени Господь меня приберетъ, а Наташка къ этому времени какъ разъ заневѣстится...

— Опять омманешь, лахудра!.. — ругался Ермошка, приходя въ отчаяніе отъ живучести Дарьи.— Вѣдь въ чемъ душа держится, а все скрипишь... Пожалуй еще меня переживешь этакъ-то.

— Помру, Ермолай Семенычъ.—Потерпи до осени-то.

Съ горя Ермошка запивалъ нѣсколько разъ и билъ безотвѣтную Дарью чѣмъ попало. Ледащая бабенка замертво лежала по нѣскольку дней, а потомъ опять поднималась.

— Не по тому мѣсту бьешь, Ермолай Семенычъ,—жаловалась она.—Ты бы въ самую кость норовилъ... Охъ, въ чужой вѣкъ живу! А то страви чѣмъ ни на есть... Вонъ Кожинъ какъ жену свою изводитъ: одна страсть.

— Дуракъ онъ, Кожинъ-то: еще наотвѣчается потомъ...

Нѣтъ такого положенія, хуже котораго не было бы. Такъ было и здѣсь. Плохо жилось Дарьѣ. Она давно записалась въ живые покойники, а у Кожиныхъ было хуже. Кожинъ совсѣмъ озвѣрѣлъ и на глазахъ у всѣхъ изводилъ жену. Въ морозъ онъ выгонялъ ее во дворъ босую, гонялся за ней съ ножомъ, билъ до безпамятства и вообще продѣлывалъ тѣ звѣрства, на какія способенъ очертѣвшій русскій человѣкъ. Знали объ этомъ всѣ сосѣди, женина родня, вся Тайбола, и ни одна душа не заступилась еще за несчастную бабу, потому что между мужемъ и женой одинъ Богъ

судья. Бабенка попалась молоденькая и совершенно безотвѣтная. Такую выбрала сама мамынька Маремьяна, желавшая оставаться въ дому полной хозяйкой. Даже беременность не спасла эту несчастную, и Кожинъ билъ ее еще сильнѣе, вымѣщая свое неизбывное горе. Вѣдь не могла затяжелѣть Ѳеня,—тогда бы все другое вышло. Мамынька Маремьяна пробовала заступаться за невѣстку, но изъ этого ничего не вышло.

— Твоя работа: гляди и казнись! – кричалъ Кожинъ, накидываясь на жену съ новой яростью.— Убью подлюгу... Видѣть ее не могу.

Въ раскольничьемъ мірѣ нравы не отличаются мягкостью, но всѣ домашнія дѣла покрывались чисто раскольничьимъ молчаніемъ, изъ принципа —не выносить сора изъ дому.

Дошли слухи о звѣрствѣ Кожина до Ѳени и ужасно ее огорчали. Въ первую минуту она сама хотѣла къ нему ѣхать и усовѣстить, но сама была „на тѣхъ порахъ“ и стыдилась показываться на улицу. Ее вывелъ изъ затрудненія Мыльниковъ, который теперь завертывалъ пожаловаться на свою судьбу.

— Тарасъ, хоть бы ты усовѣстилъ Акинфія Назарыча...

— Могу соотвѣтствовать, Ѳенюшка... Ахъ, какой грѣхъ, подумаешь!

— Ты ему такъ и скажи, что я его прошу... А то пусть самъ завернетъ ко мнѣ, когда Степана Романыча не будетъ дома. Можетъ, меня послушаетъ...

— Нѣтъ, это не модель, Ѳенюшка. Тотъ же

Ганька переплеснетъ все Степану Романычу... Нехорошее это дѣло. А я въ лучшемъ видѣ все оборудую... Я его напугаю, Акинфія-то Назарыча.

— Да ты поскорѣе, Тарасъ... Долго ли до грѣха: убьетъ еще Акинфій-то Назарычъ жену.

Для большаго поощренія Ѳеня сунула Тарасу немного денегъ.

— Живой рукой слетаю, Ѳедосья Родивоновна. Я его сокращу, Акинфія Назарыча...Со мной, братъ, короткіе разговоры.

Дѣйствительно, Мыльниковъ сейчасъ же отправился въ Тайболу. Кстати, его подвезъ знакомый старатель, ѣхавшій въ городъ. Ворота у кожинскаго дома были на запорѣ, какъ всегда. Тарасъ „помолитвовался“ подъ окошкомъ. Въ окнѣ мелькнуло чье-то лицо и сейчасъ же скрылось.

— Да это я!—кричалъ Мыльниковъ, влѣзая на завалинку и заглядывая въ окно—Не узнали, што ли?... Баушка Маремьяна... а?..

Наконецъ, показался самъ Кожинъ. Онъ, видимо, былъ чѣмъ-то смущенъ и неохотно отворилъ окно.

— Чего лѣзешь-то?—непривѣтливо спросилъ онъ.

— А дѣло есть, отъ того самаго и лѣзу...

— Врешь!

— Вотъ сейчасъ провалиться...

— Ну, иди...

Кожинъ самъ отворилъ ворота и провелъ гостя не въ избу, а въ огородъ, гдѣ подъ березой, на самомъ берегу озера, устроена была небольшая бесѣдка. Мыльниковъ даже обомлѣлъ, когда Ко-

жинъ безъ всякихъ разговоровъ вытащилъ изъ кармана бутылку съ водкой. Вотъ это называется ударить человѣка прямо между глазъ... Да и мѣсто очень ужъ было хорошее. Берегъ спускался крутымъ откосомъ, а за нимъ разстилалось озеро, горѣвшее на солнцѣ, какъ расплавленное. У самой воды стояла каменная кожевня, въ которой лѣтомъ работы было совсѣмъ мало.

— Ахъ, какое пріятное мѣсто! — восхищался Мыльниковъ. — Только водку пить на такомъ мѣстѣ...

— Какое дѣло-то? Опять золотомъ обманывать хочешь?

— Нѣтъ, братъ, съ золотомъ шабашъ!.. Достаточно... Да потомъ я тебѣ што скажу, Акинфій Назарычъ: дураки мы... да. Золото у насъ подъ рыломъ, а мы его по лѣсу разыскиваемъ... Вотъ, давай, ударимъ ширпъ у тебя въ огородѣ, вонъ тамъ, гдѣ гряды съ капустой. Ей-Богу... Кругомъ золото у васъ, какъ я погляжу.

Они выпивали и болтали о разныхъ разностяхъ. Мыльниковъ разсказалъ о Кишкинѣ, какъ тотъ „распыхался“ на своей Богоданкѣ, о старательскихъ работахъ, о томъ, какъ Петръ Васильичъ скупаетъ золото, о пропавшемъ безъ вѣсти Матюшкѣ и т. д. Кожинъ больше молчалъ, прислушиваясь къ глухимъ стонамъ, доносившимся откуда-то со стороны избы. Когда Мыльниковъ насторожился въ этомъ направленіи, онъ равнодушно замѣтилъ.

— Собака у меня, надо полагать, сбѣсилась... Ужо пристрѣлить надо стерву.

Когда Кожинъ ушелъ въ избу за второй

бутылкой, Мыльниковъ не утерпѣлъ и побѣжалъ посмотрѣть, что дѣлается въ подклѣти, устроенной подъ задней избой. Заглянувъ въ небольшое оконце, онъ даже отшатнулся: ему показалось, что у стѣны привязанъ былъ ремнями мертвецъ... Это была несчастная жена Кожина, третьи сутки стоявшая у стѣны въ самомъ неудобномъ положеніи,—она не могла выпрямиться и висѣла на рукахъ, притянутыхъ ремнями къ стѣнѣ. Мыльниковъ перепугался до того, что весь хмель у него вышибло изъ головы, когда вернулся Кожинъ. Что было дѣлать? Первая мысль—сейчасъ бѣжать и заявить въ волости. Нельзя же такъ тиранить живого человѣка... Эти кержаки разстервенятся, такъ кожу готовы снять съ живого человѣка. Но, съ другой стороны, вѣдь вся Тайбола знаетъ, что Кожинъ изводитъ жену на смерть, и волостные знаютъ и вся родня, а его дѣло сторона. Еще по судамъ учнутъ таскать... Да и дѣло совсѣмъ чужое, никого некасаемое. Убьетъ жену Кожинъ—самъ и отвѣтитъ, а пока жена въ живности—никого это некасаемо, потому мужъ, хоша и сводный.

Такъ Мыльниковъ ничего и не сказалъ Кожину, движимый своей мужицкой политикой, а о порученіи Ѳени припомнилъ только по своемъ возвращеніи въ Балчуговскій заводъ, т.-е. прямо въ кабакъ Ермошки. Здѣсь пьяный онъ разболталъ все, что видѣлъ своими глазами. Первымъ вступился къ общему удивленію Ермошка. Онъ поднялъ настоящій скандалъ.

— Да развѣ это можно живого человѣка такъ

увѣчить?! — оралъ онъ на весь кабакъ, размахивая руками.—Кержаки такъ кержаки и есть... А законъ и на нихъ найдемъ!..

Весь кабакъ былъ на его сторонѣ. Много помогалъ темный антагонизмъ православнаго населенія къ раскольникамъ, который окрасился сейчасъ вполнѣ опредѣленными чувствами. Въ кабацкихъ завсегдатаяхъ и пропойцахъ проснулась и жалость къ убиваемой женщинѣ, и совѣсть, и страхъ, именно тѣ законно-хорошія чувства, которыхъ недоставало въ данный моментъ тайбольцамъ, знавшимъ о всемъ, что дѣлается въ домѣ Кожина. Какъ это ни странно, но взрывъ гуманныхъ чувствъ произошелъ именно въ кабакѣ, и въ головѣ этого движенія всталъ отпѣтый кабатчикъ Ермошка.

— Нѣтъ, братъ, такъ нельзя!—выкрикивалъ онъ своимъ хриплымъ кабацкимъ голосомъ. — Душа, вѣдь, въ человѣкѣ, а они ремнями къ стѣнѣ... За это, братъ, по головкѣ не погладятъ.

— Своими глазами видѣлъ...—бормоталъ Мыльниковъ, не ожидавшій такого дѣйствія своихъ словъ.—Я думалъ: мертвякъ и даже отшатился, а это она, значитъ, жена Кожина распята... Такъ на рукахъ и виситъ.

— Прямо къ прокурору надо объявить, потому самое уголовное дѣло, — заявлялъ Ермошка тономъ свѣдущаго человѣка.—Учить жену учи, а это ужъ другое...

— Да мы сами пойдемъ и разнесемъ по бревнушку все кержацкое гнѣздо!—кричали голоса.—Православные такъ не сдѣлаютъ никогда... Слу-

чалось, и убивали бабъ, а только не распинали живьемъ.

— Нѣтъ, погодите, братцы, я самъ оборудую...— рѣшилъ Ермошка.

Первымъ дѣломъ онъ пошелъ посовѣтоваться съ Дарьей: особенное дѣло выходило совсѣмъ, Дарья даже расплакалась, напутствуя Ермошку на подвигъ. Чтобы не потерять времени и не дѣлать лишней огласки, Ермошка полетѣлъ въ городъ верхомъ на своемъ иноходцѣ. Онъ проникся необыкновенной энергіей и поднялъ на ноги и прокурорскую власть, и жандармерію, и исправника.

— Застанемъ либо нѣтъ ее въ живыхъ!—повторялъ онъ въ ажитаціи. — Христіанская душа, ваше высокоблагородіе... Конечно, всѣ мы, мужики, въ звѣрствѣ себя не помнимъ, а только и законъ есть.

Въ Тайболу начальство нагрянуло къ вечеру. Когда подъѣзжали къ самому селенію, Ермошка вдругъ струсилъ: самъ онъ ничего не видалъ, а повѣрилъ на слово пьяному Мыльникову. Тому съ пьяныхъ глазъ могло и померещиться не знамо что... Однако, эти сомнѣнія сейчасъ же разрѣшились, когда былъ произведенъ осмотръ кожинскаго дома. Самъ хозяинъ спалъ пьяный въ сараѣ. Старуха долго не отворяла и бросилась въ подклѣть развязывать сноху, но ее тутъ и накрыли.

Картина была ужасная. И прокурорскій надзоръ и полиція видали всякіе виды, а тутъ всѣ отступили въ ужасѣ. Несчастная женщина, про-

висѣвшая въ ремняхъ трое сутокъ, находилась въ полусознательномъ состояніи и ничего не могла отвѣчать. Ее прямо отправили въ городскую больницу. Кожинъ присутствовалъ при всемъ и оставался безучастнымъ.

— Будетъ тебѣ два неполныхъ!..—замѣтилъ ему Ермошка.—Еще бы вѣнчанная жена была, такъ другое дѣло, а надъ сводной звѣрство свое оказывать не полагается.

Кожинъ только посмотрѣлъ на него остановившимися страшными глазами и улыбнулся. У него по странной ассоціаціи идей мелькнула въ головѣ мысль, почему онъ не убилъ Карачунскаго, когда встрѣтилъ его ночью на дорогѣ,—все равно бы отвѣчать-то. Произошла раздирательная сцена, когда Кожина повезли въ городъ для предварительнаго заключенія. Старуху Маремьяну едва оттащили отъ него.

— Оставь, мамынька...—сухо замѣтилъ Кожинъ, а потомъ у него дрогнуло лицо и онъ снопомъ повалился матери въ ноги.—Родимая, прости!..

— Голубчикъ... кормилецъ...—завывала старуха въ изступленіи.

— Надо бы и ее, ваше высокоблагородіе, старушонку эту самую...—совѣтовалъ Ермошка.—Самая вредная женщина есть... Отъ нея все...

Когда Кожинъ сѣлъ въ телѣгу, то отыскалъ глазами въ толпѣ Ермошку и сказалъ:

— Скажи поклончикъ Ѳенѣ, Ермолай Семенычъ... А тебя Богъ проститъ. Я не сердитую на тебя...

Въ толпѣ показался Мыльниковъ, который

нарочно пришелъ изъ Балчуговскаго завода пѣшкомъ, чтобы посмотрѣть, какъ будетъ все дѣло. Обратно онъ ѣхалъ вмѣстѣ съ Ермошкой.

— На каторгу обсудятъ Акинфія Назарыча? — приставалъ онъ къ Ермошкѣ.

— А это видно будетъ... На голосахъ будутъ судить съ присяжными, а это легкій судъ, ежели жена выздоровѣетъ. Кабы она померла, ну, тогда крышка... Живущи эти бабы, какъ кошки. Главное, невѣнчанная жена-то—вотъ за это за самое не похвалятъ.

— И вѣнчанныхъ-то тоже не полагается увѣчить...—усомнился Мыльниковъ.

— Про вѣнчанную такъ и говорится: мужняя, а эта ничья. Все одно, какъ пригульная скотина... Я, братъ, эти всѣ законы наскрозь произошелъ, потому въ кабакѣ безъ закону невозможно.

— Ужъ это извѣстное дѣло...

По дорогѣ Мыльниковъ завернулъ въ господскій домъ, чтобы передать Ѳенѣ обо всемъ случившемся.

— Управился я съ Акинфіемъ Назарычемъ,— хвастался онъ.—Обернулъ его прямо на каторгу вольное поселеніе... Теперь шабашъ!..

Ѳеня тихо крикнула и едва удержалась на ногахъ. Она утащила Мыльникова къ себѣ въ комнату и заставила разсказать все нѣсколько разъ. Господи, да что же это такое? Неужели Акинфій Назарычъ могъ дойти до такого звѣрства...

— Какъ посадили его на телѣгу, сейчасъ онъ снялъ шапку и на четыре стороны поклонился,— разсказывалъ Мыльниковъ.—Тоже знаетъ поря-

докъ... Ну, меня увидалъ и крикнулъ: „Ѳедосьѣ Родивоновнѣ скажи поклончикъ!“ Такъ, помутился онъ разумомъ... не отъ ума...

Это происшествіе совершенно разбило Ѳеню, такъ что она слегла въ постель, а ночью выкинула мертваго ребенка. Карачунскій чувствовалъ себя тоже ошеломленнымъ, точно надъ его головой разразился неожиданно ударъ грома. У него точно что порвалось въ душѣ, та больная ниточка, которая привязывала его къ жизни. Больная Ѳеня казалась совсѣмъ другой—лицо поблѣднѣло, вытянулось, глаза округлились, носъ заострился. Она не жаловалась, не стонала, не плакала, а только смотрѣла своими большими глазами, какъ смертельно раненая птица. Карачунскому было и совѣстно и больно за эту молодую, неудовлетворенную жизнь, которую онъ не могъ ни согрѣть, ни успокоить отвѣтнымъ взглядомъ.

— Я *его* больше не люблю...—прошептала Ѳеня въ одну изъ такихъ молчаливыхъ сценъ.

— Дѣвочка, милая...

— А все-таки, Степанъ Романычъ, лучше было мнѣ умереть...

— Жить еще будемъ, Ѳеня.

У кабатчика Ермошки происходили разговоры другого характера. Гуманный порывъ соскочилъ съ него такъ же быстро, какъ и налетѣлъ. Хорошія и жалобныя слова, какъ „совѣсть“, „христіанская душа“, „живой человѣкъ“, уже не имѣли смысла, и обычная холодная жестокость вступила въ свои права. Ермошкѣ даже какъ будто было совѣстно за свой подвигъ, и онъ старательно

избѣгалъ всякихъ разговоровъ о Кожинѣ. Прежде всего началъ вышучивать Ястребовъ, который нарочно заѣхалъ посмѣяться надъ Ермошкой.

— Съ чего ты это сунулся въ чужое дѣло? — приставалъ Ястребовъ.—Этакъ ты и на меня побѣжишь жаловаться?..

— Стихъ такой накатился, Никита Яковличъ... Обидно стало, что живого человѣка тиранятъ.

— Да ты-то разѣ прокуроръ?.. Ахъ, Ермолай, Ермолай... Дыра у тебя, видно, гдѣ-нибудь есть въ башкѣ, не иначе я это самое дѣло понимаю. Теперь въ свидѣтели потащутъ... ха-ха!.. Сестра милосердная ты, Ермошка...

Естественнымъ результатомъ всей этой исторіи было то, что Дарья получила науку хуже прежняго. Разозленный Ермошка вымещалъ теперь на ней свое униженіе.

— Скоро ли ты издохнешь, змѣя подколодная?— рычалъ онъ, пиная Дарью тяжелымъ сапогомъ.— Убить тебя мало...

Что возмущало Ермошку больше всего, такъ это то, что Дарья переносила всѣ побои, какъ деревянная,—не пикнетъ.

VIII.

Кедровская дача нынѣшнее лѣто изъ конца въ конецъ кипѣла промысловой работой. Не было такой рѣчки или ложка, гдѣ не желтѣли бы кучки взрытой земли и не чернѣли заброшенные шурфы, залитые водой. Все это были развѣдки,

а настоящихъ работъ поставлено было пока сравнительно немного. Одни мѣста оказались нестоящими разработки, по малому содержанію золота, другія не были еще отведены въ полной формѣ, какъ того требовалъ горный уставъ. Работало десятка три пріисковъ, изъ которыхъ одна Богоданка прославилась своимъ богатствомъ.

Женившійся Матюшка вмѣстѣ со своей молодайкой исходилъ всю дачу, присматриваясь къ мѣстамъ. Заявлять свой пріискъ онъ не хотѣлъ, потому что много хлопотъ съ такими заявками, да и ждать приходилось, пока сдѣлаютъ отводъ. Это Кишкину было хорошо, когда своя рука въ горномъ правленіи, а мужикъ жди да подожди. Вмѣстѣ съ Матюшкой ходили старый Турка, Яша Малый и Прокопій. Они артелью кое-гдѣ брали старательскія дѣлянки на пріискахъ у Ястребова, работали недѣлю или двѣ, а потомъ бросали все и уходили. Всѣхъ тянуло разыскать настоящее мѣсто, въ родѣ Богоданки. Можно было купить уже готовый пріискъ у мелкихъ золотопромышленниковъ или взять въ аренду.

— Только бы поманило малость,—повторялъ Матюшка съ дѣловымъ видомъ.—Обыщемъ золото...

Матюшкѣ, впрочемъ, было сполагоря прохлаждаться, потому что всѣ знали, какія у него деньги запрятаны въ кожаномъ кисетѣ, висѣвшемъ на шеѣ. Положимъ, онъ своихъ денегъ никому не показывалъ, но всѣ знали досконально, что Петръ Васильичъ отсчиталъ четыре сотенныхъ билета за выкраденное Оксей золото. Плохо приходилось Яшѣ Малому и Прокопію, но они крѣпились: сыты,

и то хорошо. Огорчала ихъ носившаяся быстро на работѣ одежда и обувь, но, вѣдь, все это было только пока, временно, а найдется золото, тогда сразу всѣ поправятся. Мыльниковъ такъ и не заплатилъ имъ.

— Простому рабочему вездѣ плохо: што у кампаніи нашей работать, што у золотопромышленниковъ... — жаловался иногда Яша Малый, когда оставался съ зятемъ Прокопіемъ съ глазу на глазъ. —На што Мыльниковъ, и тотъ вонъ какъ обулъ насъ на обѣ ноги.

Прокопій по обыкновенію молчалъ. Ему нравилась эта бродячая жизнь, если бы не заботила своя семья. Цѣлыя ночи онъ продумывалъ о женѣ Аннѣ и своихъ ребятишкахъ: что-то они тамъ, какъ живутъ, какъ перебиваются?.. Иногда его брало такое горе, хоть петлю на шею, такъ въ ту же пору. И зачѣмъ онъ ушелъ тогда съ фабрики,— жилъ бы теперь въ теплѣ, въ сухѣ и безъ заботы. Но это раздумье разлеталось вмѣстѣ съ ночнымъ сумракомъ... Развѣ одинъ онъ такъ-то волкомъ бродитъ по лѣсу?.. Тысячи рабочихъ бьются на промыслахъ, и у всѣхъ одно положенье. Стоило вообще мужику или бабѣ одинъ разъ попасть въ промысловое колесо, какъ онъ сразу дѣлался обреченнымъ человѣкомъ.

— Ты, Оксюха, ужъ постарайся для насъ-то,— шутили часто рабочіе надъ своей молодайкой.— Родителю приспособила жилку, ну и намъ какое-нибудь гнѣздышко укажи.

Окся была счастлива короткимъ бабьимъ счастьемъ и даже какъ будто похорошѣла. Не стало въ

ней прежней дикости, да и одѣвалась она теперь лучше, главнымъ образомъ потому, чтобы не срамить мужа.

Матюшка часто съ удивленіемъ смотрѣлъ на нее и только качалъ своей кудрявой головой. Вотъ ужъ поистинѣ, отъ судьбы не уйдешь,— какія дѣвки заглядывались на него, а женился на Оксѣ. Впрочемъ, на мужицкій промысловый аршинъ, Окся была настоящая пріисковая баба, лучше которой и не придумать: она обшивала всю артель, варила варево, да въ придачу еще работала за мужика. И мужики любили ее, хоть и вышучивали при случаѣ. Работящая баба, настоящая двужильная лошадь, да и здоровье такое, что мужику впору. Яша Малый и Прокопій даже ухаживали за Оксей, которая придавала ихъ промысловому скитанью почти семейный характеръ, да, кромѣ всего этого, и человѣкъ-то свой. По вечерамъ около огонька шли такіе хорошіе домашніе разговоры, центромъ которыхъ всегда была Окся.

— Корову бы намъ, Оксюха,—мечталъ Яша.— Корму въ лѣсу сколько угодно... Ловко бы?.. Водили бы ее за собой съ пріиска на пріискъ, какъ цыгане...

— И лучше бы не надо... — соглашалась Окся авторитетнымъ тономъ настоящей бабы-хозяйки.— Съ молокомъ бы были, а то всухомятку надоѣло...

Окся съ собой таскала цѣлый ворохъ какихъ-то тряпицъ и всю походную кухню. Мужики ругались, когда приходилось перетаскивать съ пріиска на пріискъ этотъ скарбъ, но зато на стоянкахъ

было все свое—и чашки, и ложки, и даже что-то въ родѣ подушекъ. По праздникамъ Окся клала безчисленныя заплаты на обносившуюся промысловую одежду и въ свою очередь ругала мужиковъ, не умѣвшихъ иглы взять въ руки. А главное Окся умѣла починивать обувь и однимъ этимъ ремесломъ смѣло могла бы существовать на промыслахъ, гдѣ обувь—самое дорогое для рабочаго, вынужденнаго работать въ грязи и по колѣна въ водѣ. Всѣ другіе рабочіе завидовали талантамъ Окси и не могли ей нахвалиться, такъ что Матюшка только удивлялся, какой кладъ, а не баба ему досталась.

— Одного намъ теперь недостаетъ, Оксюха,—шутили мужики: — разродись ты намъ мальчонкой или дѣвчонкой... Вполнѣ бы съ хозяйствомъ были.

Деньги Матюшки, какъ онъ ни крѣпился, уплывали да уплывали, потому что за все и про все приходилось расплачиваться за всю артель ему. Старательскаго своего заработка едва хватало на прокормъ, а тамъ постоянные прогулы, потому что Матюшкѣ не сидѣлось подолгу на одномъ мѣстѣ. Поработаетъ артель недѣлю-другую на пріискѣ, а его и потянетъ куда-нибудь въ другое мѣсто, про которое наскажутъ съ три короба. Очень ужъ много такихъ слуховъ ходило... Такимъ образомъ Матюшка присмотрѣлъ мѣстечка три подходящихъ, которыя можно было бы арендовать, но все еще не рѣшался, на которомъ изъ нихъ остановиться. Въ одномъ просили за пріискъ прямо сто рублей, въ другомъ отдавали „изъ половины“, т.-е. половину чистой прибыли хозяину, въ третьемъ—про-

давали пріискъ совсѣмъ. Денегъ у матюшки оставалось всего рублей триста, и онъ боялся ими рискнуть. Однимъ изъ главныхъ препятствій было еще и то, что въ артели никого не было грамотныхъ, а на своемъ пріискѣ надо было и книги вести и бумагу прочитать.

Всѣ эти сомнѣнія разрѣшились совершенно неожиданно. Разъ вечеромъ появился нежданно-негаданно Петръ Васильичъ. Онъ съ собой привелъ лакея Ганьку, которому Карачунскій отказалъ.

— Давно не видались, а какъ будто и не соскучились,—проговорилъ непривѣтливо Матюшка, не любившій хитраго мужика.

— Ахъ, Матюша, разѣ мы чужіе?.. — отвѣтилъ Петръ Васильичъ и даже ударилъ себя въ грудь кулакомъ. — А я-то васъ разыскивалъ по всѣмъ промысламъ...

Петръ Васильичъ принесъ съ собой цѣлый ворохъ всевозможныхъ новостей: о томъ, какъ смѣнили Карачунскаго и отдали подъ судъ, о Кожинѣ, сидѣвшемъ въ острогѣ, о Мыльниковѣ, который сейчасъ ищетъ золото въ огородѣ у Кожина, о Ѳенѣ, выкинувшей ребенка, о новомъ главномъ управляющемъ Ониковѣ, который грозится прикрыть Рублиху, о Ермошкѣ, какъ онъ гонялъ въ городъ къ прокурору.

— Вотъ, Оксинька, какія дѣла на бѣломъ свѣтѣ дѣлаются, — заключилъ свои разоказы Петръ Васильичъ, хлопая молодайку по плечу.—А ежели разобрать, такъ ты поумнѣе другихъ протчіихъ народовъ себя оказала... И ловкую штуку уколола!.. Ха-ха... У дѣдушки, у Родіона Потапыча,

жилку прятала?.. У родителя стянешь да къ дѣдушкѣ?.. Никто и не подумаетъ... Вѣрно!.. Ужъ такъ-то ловко... Родитель-то и сейчасъ волосы на себѣ рветъ. Ну, да ему все равно, не пошла бы впрокъ и твоя жилка. Все по кабакамъ бы растащилъ...

Къ общему удивленію Окся заступилась за отца и обругала Петра Васильича. Не его дѣло соваться въ чужія дѣла. Зналъ бы свои вѣсы, пока въ тюрьму вмѣстѣ съ Кожинымъ не посадили. Хорошее ремесло тоже выискалъ.

— Ай да, Окся, молодца!..—хвалили ее рабочіе, поднимая насмѣхъ смутившагося Петра Васильича.—Носи, не потеряй, да другимъ не сказывай... Хорошенько его, Оксинька, оборотня!

— Ты чего въ самомъ-то дѣлѣ къ бабѣ привязался, сѣра горючая? — накинулся Матюшка на гостя.—Иди своей дорогой, пока кости цѣлы...

— Да вы, черти, белены объѣлись?—изумлялся Петръ Васильичъ. — Я къ вамъ, подлецамъ, съ добромъ, а они на дыбы... На кого ощерились-то, галманы?.. А ты, Матюшка, не больно храпай... Будетъ богатаго изъ себя показывать. Побогаче тебя найдутся... А што касаемо Окси, такъ къ слову сказано. Право, черти... Озвѣрѣли въ лѣсу-то.

Мужики безъ малаго не подрались, если бы не вступилась за Петра Васильича Окся.

— Будетъ вамъ вздорить-то!..Чему обрадовились? Можетъ, и въ самомъ дѣлѣ мужикъ-то съ дѣломъ пришелъ...

Во всей этой исторіи не принималъ участія одинъ Ганька, чувствовавшій себя какъ дворовая

собака, попавшая въ волчью стаю. Загорѣлые и оборванные старатели походили на настоящихъ разбойниковъ и почти не глядѣли на него. Петръ Васильичъ нѣсколько разъ ободрялъ его, подмигивая своимъ единственнымъ окомъ. Когда волненіе улеглось, Петръ Васильичъ отвелъ Матюшку въ сторону и заговорилъ:

— Жаль мнѣ васъ, Матвѣй, што вы задарма по промысламъ бродите... Ей-Богу!.. А дѣло-то подъ носомъ... Мнѣ все одно, а я такъ жалѣючи говорю. У Кишкина пустуетъ Сиротка-то: вотъ бы ее взять? Вѣрно тебѣ говорю...

— Да, вѣдь, она пустая, Сиротка-то?—возражалъ Матюшка.

— Была пустая, когда Кишкинъ работалъ... А чѣмъ она хуже Богоданки?... Одна Мутяшка-то, а Кишкинъ только чуть ковырнулъ. Да и тебѣ ближе знать это самое дѣло. Мѣста нетронутаго еще много осталось...

— Да ты-то о чемъ хлопочешь, кривой чортъ?..

— Ахъ, какой ты несообразный человѣкъ, Матюшка!.. Ничего-то ты не понимаешь... Будетъ золото на Сироткѣ, ужъ повѣрь мнѣ. На Ягодномъ-то у Ястребова не лучше пески, а два пуда сдалъ въ прошломъ году.

— Ты вотъ куда метнулъ... Ну, это, братъ, статья неподходящая. Мы своимъ горбомъ золото-то добываемъ... А за такія дѣла еще въ Сибирь сошлютъ.

— А Ганька на што? Онъ грамотный и все разнесетъ по книгамъ... Мнѣ ужъ надоѣло на Ястребова работать: онъ на моей шкурѣ выѣзжаетъ.

Будетъ, насосался... А Кишкинъ задарма отдаетъ сейчасъ Сиротку, потому какъ она ему совсѣмъ не къ рукамъ. Понялъ?.. Лучше всего въ аренду взять. Платить ему двугривенный съ золотника. Наоборотъ денегъ добудемъ, и все какъ по маслу пойдетъ. Ужъ я вотъ какъ теперь все это дѣло знаю: наскрозь его прошелъ. Вся Кедровская дача у меня какъ на ладонкѣ...

Петръ Васильичъ по пальцамъ началъ вычислять, сколько получали бы они прибыли и какъ все это легко сдѣлать, только былъ бы свой пріискъ, на который можно бы разнести золото въ пріисковую книгу. У Матюшки даже голова закружилась отъ этихъ разговоровъ, и онъ смотрѣлъ на змѣя-искусителя осовѣлыми глазами.

— Я тебѣ скажу пряменько, Матвѣй, што мы и Кедровскую дачу не тронемъ; ни одной порошины золота не возьмемъ... Будетъ съ насъ Балчуговскаго. Вонъ Ониковъ-то какъ поступилъ, и сейчасъ старателямъ плату сбавилъ... А вѣдь имъ тоже пить-ѣсть надо. Ну, и несутъ мнѣ... Раньше-то я на наличныя покупалъ, а теперь и въ долгъ вѣрятъ. Только все-таки должонъ я все это золото травить Ястребову ни за грошъ... понялъ? А самому мнѣ брать пріискъ на себя тоже неподходящая статья, потому какъ слава-то ужъ про меня идетъ. Понялъ теперь, для чего мнѣ тебя-то надо?..

Матюшка колебался, почесывая въ затылкѣ. Тогда Петръ Васильичъ проговорилъ совершенно другимъ тономъ:

— Ну, видно, не сойдемся мы съ тобой, Мат-

вѣй... Не пеняй на меня, ежели другого вѣрнаго человѣка найду.

Этотъ маневръ произвелъ надлежащее дѣйствіе. Матюшка и Петръ Васильичъ ударили по рукамъ.

— Давно бы такъ... Только никому, смотри, ни гу-гу!..

— А я тебѣ скажу одно: ежели чуть што замѣчу—башку оторву.

— Да ты и сейчасъ это показывай, для видимости, будто мы съ тобой вздоримъ. Такая же модель и у меня съ Ястребовымъ налажена... И своя артель штобы ничего не знала. Слово сказалъ—умеръ...

„Видимость“ устроена была тутъ же, и Матюшка прогналъ Петра Васильича вмѣстѣ съ Ганькой. Старатели надрывались отъ смѣха, глядя, какъ Петръ Васильичъ улепетывалъ съ пріиска.

Черезъ нѣсколько дней Матюшка отправился на Богоданку. Кишкинъ его встрѣтилъ очень подозрительно, а когда зашла рѣчь о Сироткѣ, сразу отмякъ.

— Охота Оксины деньги закопать?—пошутилъ онъ.—Только для тебя, Матюха, потому какъ раньше вмѣстѣ горе-то мыкали... Владѣй, Ѳаддей, кривой Натальей. Одинъ уговоръ: штобы этотъ кривой чортъ и носу близко не показывалъ... понимаешь?..

— Да, вѣдь, ты меня знаешь, Андронъ Евстратычъ,—клялся Матюшка, встряхивая головой.— Я ему ноги повыдергаю...

Сейчасъ же было заключено условіе, и артель Матюшки переселилась на Сиротку черезъ два

дня. Къ нимъ присоединились лакей Ганька и бывшій доводчикъ на золотопромышленной фабрикѣ, Ераковъ. Народъ такъ и бѣжалъ съ компанейскихъ работъ: разъ—всѣхъ тянуло на свой вольный хлѣбъ, а второе—новый главный управляющій очень ужъ круто принялся заводить свои новые порядки.

— Всѣ уйдутъ... — разсказывалъ Ераковъ.— Пусть чужестранныхъ рабочихъ наймуетъ. При Карачунскомъ куда было лучше... Съ понятіемъ былъ человѣкъ.

Ганька благоговѣлъ передъ Карачунскимъ и увѣрялъ всѣхъ, что Ониковъ только временно, а потомъ „опять Степанъ Романычъ наступитъ". Такого другого человѣка и не сыскать.

На Сироткѣ была выстроена новая изба на новомъ мѣстѣ, гдѣ были поставлены новыя работы. Артель точно ожила. Это была своя настоящая работа, — сами большіе, сами маленькіе. Пока содержаніе золота было не велико, но все-таки лучше чѣмъ по чужимъ пріискамъ шляться. Ганька велъ пріисковую книгу и сразу накинулъ на себя важность. Матюшка уже два раза уходилъ на Фотьянку для тайныхъ переговоровъ съ Петромъ Васильичемъ, который, по обыкновенію, что-то „выкомуривалъ" и финтилъ.

Скоро все дѣло разъяснилось. Петръ Васильичъ набралъ у старателей въ кредитъ золота фунтовъ восемь да прибавилъ своего около двухъ фунтовъ и хотѣлъ продать его за настоящую цѣну помимо Ястребова. Онъ давно задумалъ эту операцію, которая дала бы ему прибыли около

двухъ тысячъ. Но въ городѣ всѣ скупщики отказались покупать у него это золото, потому что не хотѣли ссориться съ Ястребовымъ: у нихъ рука руку мыла. Тогда Петръ Васильичъ сунулся къ Ермошкѣ.

— Дуракъ ты, Петръ Васильичъ,—вразумилъ его кабатчикъ.—Зазнамый ты ястребовскій скупщикъ, кто же у тебя будетъ покупать... Ступай лучше съ повинной къ Никитѣ Яковличу; можетъ и смилуется...

Раздумался Петръ Васильичъ. Ежели на Сиротку записать, такъ надо и время выждать и съ Матюшкой подѣлиться. Думалъ-думалъ и рѣшилъ повести дѣло съ Ястребовымъ на чистоту.

— Это не на твои деньги куплено золото-то, такъ ужъ ты настоящую цѣну дай,—торговался впередъ Петръ Васильичъ.

— Ладно, разговаривай... По четыре съ полтиной дамъ, рѣшилъ Ястребовъ.

Цѣна подходящая. Петръ Васильичъ принесъ мѣшечекъ съ золотомъ, передалъ Ястребову, а тотъ свѣсилъ его и уложилъ къ себѣ въ чемоданъ.

— Ну, а теперь прощай, — заговорилъ Ястребовъ.—Кто умнѣе Ястребова хочетъ быть, трехъ дней не проживетъ. А ты дуракъ..

— А деньги?!

Ястребовъ только засмѣялся, погрозилъ револьверомъ и вытолкалъ Петра Васильича въ шею изъ избы. Онъ не въ первый разъ продѣлывалъ такую штуку.

Результатомъ этого было то, что Ястребовъ былъ

арестованъ въ ту же ночь. Произведеннымъ обыскомъ было обнаружено незаписанное въ книги золото, а таковое считается по закону хищничествомъ. Это была месть Петра Васильича, который сдѣлалъ доносъ. Впрочемъ, Ястребовъ судился уже нѣсколько разъ и отнесся довольно равнодушно къ своему аресту.

— Пожалѣете меня, подлецы!—замѣтилъ онъ собравшейся толпѣ, когда его подъ конвоемъ увозили съ Фотьянки въ городъ.—Благодѣтеля своего продали...

Второй крупной новостью было то, что Карачунскій застрѣлился. Онъ сдалъ всѣ дѣла Оникову, сжегъ какія-то бумаги и пустилъ пулю въ високъ. Ѳеню онъ обезпечилъ раньше.

ЧАСТЬ ПЯТАЯ.

I.

Новый главный управляющій Балчуговскими золотыми промыслами явился той новой метлой, которая, по пословицѣ, чисто мететъ. Онъ сразу и вездѣ завелъ новые порядки, начиная со своей конторы. Его любимой фразой было:

— У меня не у Степана Романыча... Да!..

Служащимъ были убавлены жалованья, а нѣкоторымъ и совсѣмъ отказано въ видахъ экономіи. Уцѣлѣвшимъ на своихъ мѣстахъ прибавилось работы. „Монморанси", конечно, остались попрежнему: реформаторъ не былъ имъ страшенъ. На фабрикѣ увеличены рабочіе часы, сбавлена плата ночной смѣнѣ, усиленъ надзоръ и „сокращены" два коморника, караулившихъ старательскія кучки золотоноснаго кварца. На Дернихѣ вводились тоже новыя строгости, при чемъ Ониковъ особенно тѣснилъ конныхъ рабочихъ. Но главное вниманіе обращено было на хищничество золота: Ониковъ объявилъ непримиримую войну этому исконному промысловому злу и поклялся вырвать его съ корнемъ во что бы то ни стало. Однимъ словомъ,

новый управляющій налетѣлъ на промыслы весенней грозой и ломалъ съ плеча все, что попадало подъ руку.

Въ первое время всѣ были какъ будто ошеломлены. Что же, ежели такіе порядки заведутся, такъ и житья на промыслахъ не будетъ. Конечно, промысловые люди не угодники, а все-таки и по человѣчеству разсудить надобно. Чаще и чаще рабочіе вспоминали Карачунскаго и почесывали въ затылкахъ. Крѣпкій былъ человѣкъ, а умѣлъ, гдѣ нужно, и не видѣть и не слышать. Въ кабакахъ обсуждался подробно каждый шагъ Оникова, каждое его слово и, наконецъ, произнесенъ былъ приговоръ, выражавшійся однимъ словомъ:

— Чистоплюй!..

Кто придумалъ это слово, кто его сказалъ первый—осталось неизвѣстнымъ, но оно было сказано, и всѣ сразу почувствовали полное облегченіе. Чистоплюй—и дѣлу конецъ. Остальное было понятно, и всѣ вздохнули свободно. Сказалась способность простого русскаго человѣка однимъ словомъ выразить цѣлый строй понятій. Всѣ строгости и реформы новаго главнаго управляющаго были похоронены подъ этимъ однимъ словомъ, и больше никто не боялся его и никто не обращалъ вниманія. Пусть его побалуется и наведетъ свою плевую чистоту, а тамъ все образуется само собой. Люди-то останутся тѣ же. Могли пострадать временно отдѣльныя единицы, общее останется, то общее, которое складывалось, вырастало и копилось десятками лѣтъ подъ гне-

томъ каторги, казеннаго времени и своего вольнаго волчьяго труда. Объяснить все это понятными простыми словами никто бы не сумѣлъ, а чувствовали все опредѣленно и ясно,—это опять черта русскаго человѣка, который въ массѣ, въ артели, дѣлается необыкновенно уменъ, догадливъ и сообразителенъ.

Пока реформы новаго управляющаго не касались одной шахты Рублихи, гдѣ попрежнему „руководствовалъ“ одинъ Родіонъ Потапычъ, и всѣ съ нетерпѣніемъ ждали момента, когда встрѣтятся старый штейгеръ и новый главный управляющій. Предположеніямъ и догадкамъ не было конца. Всѣ знали, что Ониковъ „терпѣть ненавидѣлъ“ Рублиху, и что онъ ее закроетъ, но все-таки интересно было, какъ все это случится и что будетъ съ Родіономъ Потапычемъ. Старикъ не подавалъ никакого признака безпокойства или волненія и велъ свою работу съ прежнимъ ожесточеніемъ, точно боялся за каждый новый день. Вассеръ-штольня была окончена какъ разъ въ день самоубійства Карачунскаго, и теперь рудная вода не поднималась насосами наверхъ, а отводилась въ Балчуговку по новой штольнѣ. Это дало возможность начать углубленіе аа тридцатую сажень.

Встрѣча произошла рано утромъ, когда Родіонъ Потапычъ находился на днѣ шахты. Сверху ему подали сигналъ. Старикъ понялъ, зачѣмъ его вызываютъ въ неурочное время. Ониковъ расхаживалъ по корпусу и съ небрежнымъ видомъ выслушивалъ какія-то объясненія подштейгера, ходившаго за нимъ безъ шапки. Родіонъ Потапычъ,

не торопясь, вылѣзъ изъ западни, снялъ шапку и остановился. Ониковъ мелькомъ взглянулъ на него, повернулся и прошелъ въ его сторожку.

— Ну, что, какъ дѣла?—спросилъ онъ, не глядя на старика.

— Ничего, можно хоть сейчасъ закрывать шахту,—спокойно отвѣтилъ старикъ.

У Оникова выступили красныя пятна на лицѣ, но онъ сдержался и проговорилъ съ дѣланной мягкостью:

— Мнѣ нужно серіозно поговорить... Я не вѣрю въ эту шахту, но бросить сейчасъ дѣло, на которое затрачено больше ста тысячъ, я не имѣю никакого права. Наконецъ, мы обязаны контрактомъ вести жильныя работы... Во всякомъ случаѣ, я думаю расширить работы въ этомъ пунктѣ.

Родіонъ Потапычъ опустилъ голову. Онъ слишкомъ хорошо понималъ политику Оникова, свалившаго впередъ всѣ неудачи на Карачунскаго и хотѣвшаго воспользоваться только пѣнками съ будущаго золота. Изъ молодыхъ да ранній выискался... У старика даже защемило при одной мысли о Степанѣ Романычѣ, котораго въ числѣ другихъ причинъ доконала и Рублиха. Эхъ, маленько бы обождать—все бы оправдалось. Какъ теперь видѣлъ Родіонъ Потапычъ своего стараго начальника, когда онъ пріѣхалъ за три дня и съ улыбкой сказалъ: „Ну, дѣдушка, мнѣ три дня осталось жить—торопись!“ Въ послѣдній роковой день онъ пріѣхалъ такой свѣжій, розовый и уже ничего не спросилъ, а глазами прочиталъ свой отвѣтъ на лицѣ стараго штейгера. Они вмѣстѣ опустились

въ послѣдній разъ въ шахту, обошли работы, и Карачунскій похвалилъ штольни, прибавивъ: „Жаль только, что я не увижу, какъ она будетъ работать“. Потомъ выкурилъ папиросу, вышелъ, а черезъ полчаса его окровавленный трупъ лежалъ въ конторкѣ Родіона Потапыча на той самой лавкѣ, на которой когда-то спала Окся. Вотъ это былъ человѣкъ, а не чистоплюй... Старикъ понималъ, что Ониковъ расширеніемъ работъ хочетъ купить его и косвеннымъ путемъ загладить недавнюю ссору съ нимъ, но это нисколько не тронуло его стараго сердца, полнаго горячей преданности другому человѣку.

— Ну, что же вы молчите? — спросилъ наконецъ Ониковъ, обиженный равнодушіемъ стараго штейгера.

— Што же тутъ говорить, Александръ Ивановичъ: наше дѣло подневольное... Што прикажете, то и сдѣлаемъ. Будьте спокойны: Рублиха себя вполнѣ оправдаетъ...

— Есть хорошіе знаки?..

— Будутъ и знаки...

Однимъ словомъ, дѣло не склеилось, хотя непоколебимая увѣренность стараго штейгера повліяла на недовѣрчиваго Оникова. А кто его знаетъ, можетъ все случиться, чѣмъ врагъ не шутитъ. Положимъ, этотъ Зыковъ и сумасшедшій человѣкъ, но и жильное дѣло тоже сумасшедшее.

Родіонъ Потапычъ проводилъ новаго начальника до выхода изъ корпуса и долго стоялъ на порогѣ, провожая глазами знакомую пару раскормленныхъ господскихъ лошадей. И тотъ же кучеръ Агаѳонъ,

а то да не то... Отъ постояннаго пребыванія подъ землей лицо Родіона Потапыча точно выцвѣло, и кожа сдѣлалась матово-бѣлой, точно корка церковной просвиры. Живыми оставались одни глаза, упрямые, сердитые, умные... Онъ тяжело вздохнулъ и побрелъ въ свою конторку необычно вялымъ шагомъ, точно его что придавило. Раньше онъ трепеталъ за судьбу Рублихи, а когда все устроилось само собой — его охватило какое-то обидное недовольство. Къ чему послѣ поры времени огородъ городить? Онъ даже съ какой-то ненавистью посмотрѣлъ на отверстіе шахты, откуда медленно поднималась желѣзная телѣжка съ „пустякомъ".

„Нѣтъ, братъ, я тебя достигну!..—сердито думалъ Родіонъ Потапычъ, шагая въ свою конторку.—Шалишь, не уйдешь".

Это враждебное чувство къ собственному дѣтищу проснулось въ душѣ Родіона Потапыча въ тотъ день, когда изъ конторки выносили холодный трупъ Карачунскаго. Живъ бы былъ человѣкъ, ежели бы не продала проклятая Рублиха. Поэтому онъ велъ теперь работы съ какимъ-то ожесточеніемъ, точно разыскивалъ въ землѣ своего заклятаго врага. Нѣтъ, братъ, не уйдешь...

Вообще, старикъ чувствовалъ себя скверно, особенно, когда оставался въ своей конторкѣ одинъ. Предъ нимъ неотвязно стояла все одна и та же картина рокового дня, и онъ повторялъ ее про себя тысячи разъ, вызывая въ памяти мельчайшія подробности. Такъ, онъ припомнилъ, что въ это роковое утро на шахтѣ зачѣмъ-то былъ Киш-

кинъ и что именно его противную скобленую рожу онъ увидѣлъ одной изъ первыхъ, когда рабочіе вносили еще теплый трупъ Карачунскаго на шахту. Въ переполохѣ это обстоятельство какъ-то выпало изъ памяти, и потомъ Родіонъ Потапычъ принужденъ былъ стороной навести справки у рабочихъ, что дѣлалъ Кишкинъ въ этотъ моментъ на шахтѣ и не имѣлъ ли какого-нибудь разговора съ Карачунскимъ.

— Онъ, Кишкинъ-то, у котловъ сидѣлъ, когда Степанъ Романычъ пріѣхалъ...—разсказывалъ кочегаръ.—Ну, Кишкинъ, сидѣлъ ужъ дивно *) времени... Сидитъ, лясы точитъ, а што къ чему—не разберешь. Извѣстный омморокъ! Ну, какъ увидѣлъ Степана Романыча и даже какъ-будто изъ лица выступилъ... А потомъ ушелъ куды-то да и бѣжитъ: „Охъ, бѣда... Степанъ Романычъ порѣшилъ себя!...“ Онъ, вѣдь, не впервой захаживаетъ, Шишка: то спроситъ, другое. Все ему надо знать, штобы у себя на Богоданкѣ наладить. Однимъ словомъ, омморошной чортъ.

Всѣ эти объясненія ничего не разъясняли, и Родіонъ Потапычъ смутно догадывался, что Шишка караулилъ Карачунскаго для какихъ-то переговоровъ. Дѣло было гораздо проще. Кишкинъ, дѣйствительно, нѣсколько разъ „навѣдывался“ на Рублиху, чтобы высмотрѣть кое-что для себя, но съ Карачунскимъ встрѣчаться онъ совсѣмъ не желалъ, а когда случайно наткнулся на него, то постарался незамѣтно скрыться. Говоря проще, спря-

*) Дивно—порядочно, достаточно.

тался... Уходить ни съ чѣмъ Кишкину не хотѣлось, и онъ рѣшился выждать, когда чортъ унесетъ Карачунскаго. Выбравшись изъ главнаго корпуса, старикъ нѣсколько времени бродилъ среди другихъ построекъ. Управительская пара оставалась у него все время на глазахъ. Но, къ удивленію Кишкина, Карачунскій съ шахты прошелъ не къ лошадямъ, стоявшимъ у воротъ ограды, а въ противоположную сторону, прямо на него. „Вотъ чортъ несетъ...“ подумалъ Кишкинъ, пойманный врасплохъ. Онъ никакъ не ожидалъ такого оборота и стоялъ на мѣстѣ, какъ попавшій школьникъ. Карачунскій прошелъ мимо него въ двухъ шагахъ и даже взглянулъ на него, но такимъ пустымъ, ничего невидѣвшимъ взглядомъ, что у Кишкина даже захолонуло на душѣ. Очевидно, онъ не узналъ его и прошелъ дальше. Это заинтересовало Кишкина. Старикъ вскарабкался на свалку добытаго изъ шахты свѣжаго „пустяка“ и долго слѣдилъ за Карачунскимъ, какъ тотъ вышелъ за ограду шахты, какъ постоялъ на одномъ мѣстѣ, точно что-то раздумывая, а потомъ быстро зашагалъ въ молодой лѣсокъ по направленію къ жилкѣ Мыльникова. Въ еловой заросли нѣсколько разъ мелькнула высокая фигура Карачунскаго, а потомъ глухо гукнулъ револьверный выстрѣлъ. Кишкинъ сразу понялъ все и бросился на шахту объявить о случившемся.

При самоубійцѣ оказалась записка, нацарапанная карандашомъ въ конторѣ Родіона Потапыча: „Умираю, потому что, во-первыхъ, нужно же когда-нибудь умереть, а во-вторыхъ, мой номеръ вы-

шелъ въ тиражъ... Уношу съ собой сознаніе, что сознательно никому не сдѣлалъ зла, а если и дѣлалъ ошибки, то по присущей всякому человѣку слабости. Друзей не имѣлъ, врагамъ прощаю". Первымъ прочелъ эту записку Кишкинъ, и у него затряслись руки; отъ этой записки пахнуло на него холодомъ смерти. Уѣзжая утромъ на шахту, Карачунскій отправилъ Ѳеню въ городъ. Онъ вручилъ ей толстый пакетъ, которой просилъ никому не показывать, а распечатать самой. Въ пакетѣ были процентныя бумаги и коротенькая записочка, въ которой Карачунскій оставлялъ Ѳенѣ все свое наличное имущество, заключавшееся въ этихъ бумагахъ. Ѳеня плохо разбирала по писаному, и ей прочиталъ записку Мыльниковъ, котораго она встрѣтила въ городѣ.

— Табакъ дѣло...—рѣшилъ Мыльниковъ, крѣпко держа толстый пакетъ въ своихъ корявыхъ рукахъ.—Записку-то ты покажи въ полиціи, а деньги-то не отдавай. Нѣтъ, лучше и записки не показывай, а отдай мнѣ.

Ѳеня полетѣла въ Балчуговскій заводъ, но тамъ все уже было кончено. Пакетъ и записку она представила уряднику, производившему предварительное дознаніе. Денегъ оказалось больше шести тысячъ. Мыльниковъ всѣ эти двѣ недѣли каждый день приходилъ къ Ѳенѣ и ругался, зачѣмъ она отдала деньги.

— Пенцію тебѣ оставилъ Степанъ-то Романычъ, дурѣ, а ты уряднику...

— Отстань, сѣра горючая...

— Дѣло тебѣ говорятъ. Кабы мнѣ такую уйму

деньжищъ, да я бы... Первое дѣло, сгребъ бы ихъ, какъ ястребъ, и убѣжалъ куды глаза глядятъ. Съ деньгами, братъ, на всѣ стороны скатертью дорога...

Изумленію Мыльникова не было границъ, когда деньги черезъ двѣ недѣли были возвращены Ѳенѣ, а „пріобщена къ дѣлу“ только одна записка. Но Ѳеня и тутъ оказала себя круглой дурой: цѣлый день ревѣла о запискѣ.

— Мнѣ дороже записка-то этихъ денегъ,—плакалась Ѳеня.—Поминать бы стала по ней Степана Романыча.

Искреннѣе всѣхъ горевалъ о Карачунскомъ старый Родіонъ Потапычъ, чувствовавшій себя виноватымъ. Очень уже засосала Рублиха... Когда стихалъ дневной шумъ, стариковскія мысли получали болѣзненную яркость, и онъ даже начиналъ креститься отъ этого навожденія. Охъ, много и хорошихъ и худыхъ людей онъ пережилъ, такъ что впору и самому помирать.

На Рублиху вечерами завертывали старички съ Фотьянки и изъ Балчуговскаго завода, чтобы поговорить и посовѣтоваться съ Родіономъ Потапычемъ, какъ и что. Безъ мѣры лютовалъ чистоплюй, особенно надъ старателями...

— Умякнетъ,—отвѣчалъ старый штейгеръ.—Не больно великъ въ первяхъ-то.

— Утихомирится?.. Дай бы Богъ, кабы по твоимъ-то словамъ. Затѣснилъ старателевъ въ конецъ... Такъ и рветъ, такъ и мечетъ.

— Утишится?

— Упыхается... Главная причина, што здря все

дѣлаетъ. Конешно, вашего брата хищниковъ не за што похвалить, а суди на волка—суди и по волку. Всѣ пить-ѣсть хотятъ, а добыча-то не велика. Удивительное это дѣло, какъ я погляжу. Жалились раньше, што работъ нѣтъ, дѣлянками притѣсняютъ, ну, открылась Кедровская дача—кажется, мѣста не въ проворотъ. Такъ? А все народъ бѣднится, все въ лохмотьяхъ ходятъ...

— Погоди, Родіонъ Потапычъ, дай время поправятся... На Фотьянкѣ народъ улучшается на глазахъ: тамъ изба новая, тамъ ворота, тамъ лошадь... Конешно, много еще малодушія въ народѣ, особливо, когда дикая копейка навернется. Тоже, вѣдь, и къ деньгамъ большую надо привычку имѣть, а народъ бѣдный, необычный, ну, осталось у него двадцать цалковыхъ—онъ и не знаетъ, што съ ними дѣлать. Все равно, голодный: дай ему вволю поѣсть, онъ точно пьяный сдѣлается. Такъ и съ деньгами бываетъ... Вотъ купцы, кажется ужъ привычны къ деньгамъ, а тоже дурѣютъ. Какъ-то Затыкинъ—онъ на Генералкѣ пріискъ заявилъ—въ недѣлю четыре фунта намылъ золота и пошелъ чертить. Ѣдетъ изъ города съ деньгами, кучера всю дорогу хересомъ поитъ, изъ левольверта палитъ. Дня черезъ три едва очувствовался... А ужъ гдѣ же старателю совладать, когда у него сроду четвертной бумажки въ рукахъ не бывало.

II.

Баушка Лукерья въ какихъ-нибудь два года такъ состарилась, что ее узнать было нельзя: посѣдѣла, сгорбилась и пожелтѣла, какъ осенній листъ. Живыми остались одни глаза. И Петръ Васильичъ тоже посѣдѣлъ отъ заботы и разныхъ треволненій; сдѣлался угрюмымъ и мало съ кѣмъ разговаривалъ. Сосѣди говорили, что они состарились отъ денегъ, которыя хлынули дуромъ. Петръ Васильичъ началъ было строить новую избу, но поставилъ срубъ и махнулъ на него рукой. Его заѣла какая-то недомашняя дума. Пропадалъ онъ по недѣлямъ на промыслахъ, возвращался домой мрачный и непремѣнно приставалъ къ матери:

— Мамынька, а гдѣ у тебя деньги... а?... Скажи, а то, неровёнъ часъ, помрешь, мы и не найдемъ опослѣ тебя...

— Тьфу! Тоже и скажетъ,—ворчала старуха.— Прежде смерти не умремъ... И какія такія мои деньги?..

— А вотъ тѣ самыя, какія Кишкину стравила?..

— Ничего я не знаю...

— Не отдастъ онъ тебѣ, жила собачья. Вотъ попомни мое слово... Какъ онъ меня срамилъ-то восётта, мамынька: „Ты, гритъ, съ уздой-то за чужимъ золотомъ не ходи...“ Вѣдь это што же такое? Ястребовъ, вонъ, сидитъ въ острогѣ, такъ и меня въ пристяжки къ нему запречь можно экъ-ту.

— А ты сколько фунтовъ Ястребову-то стравилъ?—язвила баушка Лукерья.—Ловко онъ тебя тогда обезживотилъ.

— Мамынька, не поминай... Ножъ это мнѣ самое дѣло. Тяжеленько досталось мое-то золото Ястребову, да и мнѣ не легче...

— Дуракомъ ты себя оказалъ, и больше ничего... Пошутилъ съ тобой тогда Ястребовъ-то, а ты и его и себя утопилъ.

— Медвѣдь тоже съ кобылой шутилъ, такъ одна грива осталась... Большому чорту большая и яма, а вотъ ты Кишкину подражаешь для какой такой модели?.. Пусть только пріѣдетъ, такъ я ему ноги повыдергаю. А денегъ онъ тебѣ не отдастъ...

— Не твоя печаль... Ты сходи къ Ястребову въ острогъ да и спроси про свои-то капиталы, а о моихъ деньгахъ и собаки не лаютъ.

— Ахъ, мамынька...

— Два года ходилъ съ уздой своей по промысламъ да сразу все и профукалъ... А еще мужикъ называешься! Не тебѣ, видно, мои-то деньги считать...

Эти ядовитые обидные разговоры повторялись при каждой встрѣчѣ, при чемъ ожесточеніе обѣихъ сторонъ доходило до ругани, а разъ баушка Лукерья бѣгала даже въ волость жаловаться на непокорнаго сына. Волостные старички опять призвали Петра Васильича и сдѣлали ему внушеніе.

— Ты смотри, кривой чортъ... Тогда на Ястребова лѣзъ собакой, а теперь мать донимаешь, изъѣдуга. Мы тебя выучимъ, какъ родителевъ почитать должонъ... Будетъ тебѣ богатаго показывать!..

Петръ Васильичъ сгоряча нагрубилъ старикамъ и попалъ въ холодную... Онъ здѣсь только опомнился, что опять свалялъ дурака. Дѣло было совсѣмъ не въ томъ, что онъ ссорился съ матерью— за это много-много поворчали бы старики. А ему теперь косвенно мстили за Ястребова... Вся Фотьянка знала, изъ-за кого попалъ въ острогъ знаменитый скупщикъ, и кляла Петра Васильича на чемъ свѣтъ стоитъ, потому что въ лицѣ Ястребова всѣ старатели лишились главнаго покупателя. Смѣлый былъ человѣкъ и принималъ золото со всѣхъ сторонъ, а послѣ него остались скупщики мелкота: купятъ золотникъ и ожигаются. Однимъ словомъ, благодѣтель былъ Никита Яковличъ, всѣхъ кормилъ... Общественное мнѣніе было противъ Петра Васильича, который изъ-за своей глупости подвелъ всѣхъ. Зачѣмъ отдавалъ золото Ястребову дуро́мъ, кривая собака? Умѣючи каждое дѣло надо дѣлать... Теперь вся Фотьянка бѣдуетъ изъ-за кривого чорта. Посаженный въ холодную, Петръ Васильичъ понялъ, что попался, какъ куръ во щи, и что старички его достигнутъ своимъ волостнымъ средствіемъ. И дѣйствительно, старички охулки на руку не положили. Сначала выдержали въ холодной три дня, а потомъ вынесли резолюцію:

— Ты въ желеткѣ нонѣ щеголяешь, Петръ Васильичъ, такъ мы тебѣ рукава наладимъ къ желеткѣ-то...

Дѣйствительно, Петръ Васильичъ незадолго до катастрофы съ Ястребовымъ купилъ себѣ жилетку и щеголялъ въ ней по всей Фотьянкѣ, не обращая

вниманія на насмѣшки. Онъ сразу понялъ угрозу старичковъ и весь побѣлѣлъ отъ стыда и страха.

— Старички, есть ли на васъ крестъ?—взмолился онъ. — Ежели пальцемъ тронете, такъ всю Фотьянку выжгу...

— А, такъ ты вотъ какія слова разговариваешь... Снимай-ко желетку-то, милъ сердечный другъ, а рукава мы тебѣ на обчественный счетъ приставимъ. Будешь родителевъ уважать...

Безъ дальнихъ разговоровъ Петра Васильича высѣкли... Это было до того неожиданно, что несчастный превратился въ дикаго звѣря: рычалъ, кусался, плакалъ и все-таки былъ высѣченъ. Когда экзекуція кончилась, Петръ Васильичъ не хотѣлъ подниматься съ позорной скамьи и нѣкоторое время лежалъ, какъ мертвый.

— Перестань дурака-то валять, а ступай да помирись съ матерью,—посовѣтовали старички.

— Куды я теперь пойду?—застоналъ Петръ Васильичъ.

— А ужъ это твое дѣло, милашъ...

Петръ Васильичъ сѣлъ, посмотрѣлъ на своихъ судей своимъ единственнымъ окомъ и заскрежеталъ зубами отъ безсильной ярости. Что бы онъ теперь ни сдѣлалъ, а безчестья не поправить...

— Выжгу... зарѣжу... — бормоталъ онъ, сжимая кулаки.—Будете меня помнить, ироды...

— А ты съ міромъ не ссорься, голова. Лучше бы выставилъ четвертную бутылочку старичкамъ да поблагодарилъ за науку.

Первой мыслью, когда Петръ Васильичъ вышелъ изъ волости, было броситься въ первую шахту,

удавиться—до того тошно на душѣ. Теперь глазъ показать никуда нельзя... Худая-то слава вездѣ пробѣжитъ. Свои фотьянскіе проходу не дадутъ. Его взяло такое горе, стыдъ, отчаяніе, что онъ присѣлъ на волостное крылечко и заплакалъ какими-то ребячьими слезами. Вся жизнь была погублена... Куда теперь итти?.. Что дѣлать?.. А, главное, онъ понималъ, что всѣ противъ него, и волостные старички только выполнили волю „міра". Прохожіе останавливались, смотрѣли на него, качали головами и шли дальше. Нѣсколько разъ раздавалось проклятое слово „желетка", которое приводило Петра Васильича въ отчаяніе: въ немъ вылилась тяжелая мужицкая иронія, пригвоздившая его именно этимъ ничего незначушимъ словомъ къ позорному столбу. Потомъ Петръ Васильичъ поднялся и, какъ говорили очевидцы, погрозилъ кулакомъ всей Фотьянкѣ. Домой онъ не зашелъ, а его встрѣтили старатели около Маякової слани.

Вечеромъ этого рокового дня у баушки Лукерьи сидѣлъ въ гостяхъ Кишкинъ и удушливо хихикалъ, потирая руки отъ удовольствія. Онъ узналъ проѣздомъ о наукѣ Петра Васильича и нарочно завернулъ къ старухѣ.

— Давно бы тебѣ догадаться, баушка, — повторялъ Кишкинъ.—Шелковый будетъ... хе-хе!.. Ловко налетѣлъ съ кривого-то глаза. Въ лучшемъ видѣ отполировали...

— А ты-то чему обрадовался?—напустилась на него старуха.—Отъ чужого безвременья тебѣ лучше не будетъ...

— А не скупай чужого золота! Впередъ наука... Теперь куда дѣнется твой-то Петръ Васильичъ?..

— И то, слышь, грозится выжечь всю Фотьянку... Охъ, и не рада я, што заварила кашу. Постращать думала, а оно вонъ што случилось... Жаль мнѣ.

— Да, вѣдь, не за тебя его драли-то, а за Ястребова. Не безпокойся... Зубъ на него грызли, ну, а онъ и подвернулся.

Старуха всплакнула съ горя: ей именно теперь стало жаль Петра Васильича, когда Кишкинъ поднялъ его насмѣхъ. Большой мужикъ, теперь показаться на людяхъ будетъ нельзя. Чтобы чѣмъ-нибудь досадить Кишкину, она пристала къ нему съ требованіемъ своихъ денегъ.

— Отдай, Андронъ Евстратычъ... Покорыстовался ты моей простотой, пора и честь знать. Смертный часъ на носу...

— Тебя жалѣючи не отдаю, глупая... У меня сохраннѣе твои деньги: лежатъ въ желѣзномъ сундукѣ за пятью замками. Да... А у тебя еще украдутъ, или сама потеряешь.

— Ты мнѣ зубовъ не заговаривай, а подавай деньги.

— А гдѣ у тебя расписка?

— На совѣсть даваны...

— Ха-ха... Тоже и сказала: на совѣсть. Ступайка, разскажи, никто тебѣ не повѣритъ... Разѣ такія нынче времена?

Когда остервенившаяся старуха пристала съ ножомъ къ горлу, Кишкинъ досталъ бумажникъ, отсчиталъ свой долгъ и положилъ деньги на столъ.

— Вотъ твои деньги, коли не понимаешь своей пользы. .

— Да, вѣдь, я такъ... У тебя все хи-хи, да ха-ха, а мнѣ и полсмѣха нѣтъ.

— Ко мнѣ же придешь, поклонишься своими деньгами, да я-то не возьму...—бахвалился Кишкинъ.—Такъ будутъ у тебя лежать, а я тебѣ процентъ заплатилъ бы. Не пито, не ѣдено огребала бы съ меня денежки.

Баушка бережно взяла деньги, пересчитала ихъ и унесла къ себѣ въ заднюю избу, а Кишкинъ сидѣлъ у стола и посмѣивался. Когда старуха вернулась, онъ подалъ ей десятирублевую ассигнацію.

— Это твой процентъ, получай...

Руки у старухи дрожали, когда она брала несчитанныя деньги,—ей казалось, что Кишкинъ смѣется надъ ней, какъ надъ дурой.

— Бери, баушка, не поминай меня лихомъ... Найди другого такого-то дурака.

— Да, вѣдь, я такъ, Андронъ Евстратычъ... по бабьей своей глупости. Петръ Васильичъ ужъ больно меня сомущалъ... Не отдастъ, гритъ, тебѣ Кишкинъ денегъ!

— Ты ему отдай, такъ онъ тебѣ и спасибо не скажетъ, Петръ-то Васильичъ, а теперь ему деньги-то въ самый разъ...

— Старая я стала... глупа...

— Ну, ладно, будетъ намъ съ тобой дѣлиться. Посылай-ка помоложе себя, чтобы мнѣ веселѣе было, а то нагнала тоску... Гдѣ Наташка?

— А куды ей дѣваться?.. Эй, Наташка... А ты

вотъ что, Андронъ Евстратычъ, не балуй съ ней: дѣвчонка еще не въ разумѣ, а ты какія ей слова говоришь. У ней еще ребячье на умѣ, а у тебя сѣдой волосъ... Не пригожее дѣло.

— А у меня характеръ веселый, баушка... Люблю съ молоденькими пошутить.

— Шути съ Марьей, коли такая охота напала...

— У Марьи свой шутникъ есть. Погоди, вотъ женюсь, возьму богатую купчиху въ городѣ, тогда и остепенюсь.

— Въ годы еще не вошелъ, жениться-то,—пошутила старуха.—А Наташку оставь: стыдливая она, не то што Марья. Ты и то нынче наряжаешься въ томъ родѣ, какъ женихъ... Форсить началъ.

— Недавно на триста рублей всякаго платья заказалъ, — хвастался Кишкинъ.—Не все оборвышемъ ходить... Вотъ часы золотые купилъ, потомъ перстень...

— Охъ, мотыга, мотыга...

Съ Кишкинымъ дѣйствительно случилась большая перемѣна. Первое время своего богатства онъ ходилъ въ своемъ старомъ рваномъ пальто и ни за что не хотѣлъ мѣнять на новое. Знакомые даже стыдили его. А потомъ вдругъ поѣхалъ въ городъ и вернулся оттуда щеголемъ, во всемъ новомъ, и первымъ дѣломъ къ баушкѣ Лукерьѣ.

— Сватать Наташку пріѣхалъ,—шутилъ онъ.—Наташка, пойдешь за меня замужъ? Одними пряниками кормить буду...

Наташка, живя на Фотьянкѣ, выровнялась съ изумительной быстротой, какъ растеніе, поставленное на окно. Она и выросла, и пополнѣла, и за-

румянилась—совсѣмъ невѣста. А глазами вся въ Ѳеню: такіе же упрямо-ласковые и спокойно-покорные. Кишкина она терпѣть не могла и пряталась отъ него. Она даже плакала, когда баушка посылала ее прислуживать Кишкину.

— Ну, недотрога-царевна, пойдешь за меня?— повторялъ Кишкинъ. — Лучше меня жениха не найдешь... Всего-то я поживу года три, а потомъ ты богатой вдовой останешься. Всѣ деньги на тебя въ духовной запишу... Съ деньгами-то потомъ любого да лучшаго жениха выбирай.

Дѣвушка только отрицательно качала головой и смотрѣла на жениха исподлобья. Впрочемъ потомъ она стала смѣлѣе и даже потихоньку начала подсмѣиваться надъ смѣшнымъ старикомъ. Всего больше Кишкину нравилась Наташкина коса, — тяжелая да толстая. У крестьянскихъ дѣвокъ никогда такихъ косъ не бываетъ. Кишкинъ часто любовался красавицей и начиналъ говорить глупости, совсѣмъ не гармонировавшія съ его сѣдинами. Въ сущности, онъ серіозно влюбился въ эту дикарку и думалъ о ней день и ночь. Эта старческая запоздалая страсть дѣлала его и смѣшнымъ, и жалкимъ. Баушка Лукерья раньше другихъ смѣтила, въ чемъ дѣло, и по-своему эксплуатировала стариковское увлеченіе, подсылая Наташку за подарками. Только Кишкинъ не любилъ давать деньги, потому что зналъ, куда онѣ пойдутъ, а привозилъ разныя сласти, дешевенькія бусы, лежалаго ситцу.

— Ты ей приданое сдѣлай,—совѣтовала старуха.—Сирота не сирота, а въ томъ родѣ. Помрешь, поминать будетъ.

— Эхъ, баушка, баушка... Помереть всѣ помремъ, а лиха бѣда въ томъ, что мысли-то у меня молодыя. Пусть меня уважитъ Наташка и приданое сдѣлаю... Всего-то въ гости ко мнѣ на Богоданку пріѣхать.

— Ишь чего захотѣлъ, старый песъ... Да за такія слова я тебя и въ домъ къ себѣ пущать не буду. Охальничать-то не пристало тебѣ...

— Шутки шучу...

Странныя дѣла творились въ дому у баушки Лукерьи. Наташкой она была довольна, но цѣлый рядъ недоразумѣній выходилъ изъ-за маленькаго Петруньки и отца Яши Малаго. Старуха видѣть не могла ни того, ни другого, а Наташка убивалась по нимъ, какъ большая женщина. Дѣло кончилось тѣмъ, что она перетащила къ себѣ Петруньку и въ свободное время пѣстовала братишку гдѣ-нибудь въ укромномъ уголкѣ. Старуха выходила изъ себя и поѣдомъ ѣла Наташку. Она возненавидѣла ребенка какой-то слѣпой ненавистью и преслѣдовала его на каждомъ шагу. Много слезъ пролила Наташка изъ-за этой ненависти, и сама возненавидѣла старуху.

— Объѣдаете меня...—корила баушка каждымъ кускомъ.—Не напасешься на васъ!.. Жилъ бы Петрунька у дѣдушки: старикъ побогаче насъ всѣхъ.

— Баушка, да вѣдь у дѣдушки и Анна съ ребятишками и Татьяна тоже. А мнѣ ничего не надо: только Петрунька бы со мной.

— А ты поразговаривай... Самое кормятъ, такъ говори спасибо. Вонъ какую рожу наѣла на чужихъ-то хлѣбахъ...

Петрунька чувствовалъ себя очень скверно и цѣлые дни прятался отъ сердитой баушки, какъ пойманный звѣрокъ. Онъ только и ждалъ того времени, когда Наташка укладывала его спать съ собой. Наташка цѣлый день летала по всему дому стрѣлой, такъ что ногъ подъ собой не слышала, а тутъ находила и ласковыя слова, и сказку, и какіе-то бабьи наговоры, только бы Петрунька не скучалъ.

— Большимъ мужикомъ будешь, тогда меня кормить станешь,—говорила Наташка.—Зубовъ у меня не будетъ, ходить я буду съ костылемъ...

— Я старателемъ буду, какъ тятька... — говорилъ Петрунька.

Настоящимъ праздникомъ для этихъ заброшенныхъ дѣтей были рѣдкія появленія отца. Яша Малый прямо не смѣлъ появиться, а тайкомъ пробирался куда-нибудь въ огородъ и здѣсь выжидалъ. Наташка точно чувствовала присутствіе отца и птицей летѣла къ нему. Тайнъ между ними не было, и Яша разсказывалъ про всѣ свои дѣла, какъ Наташка про свои.

— Боюсь я, тятенька, этого старичонки Кишкина,—жаловалась Наташка. — Больно нехорошо глядитъ онъ... Уставится, инда совѣстно сдѣлается.

— Наплюнь на него, Наташка... Это онъ отъ денегъ озорничать сталъ. Погоди, вотъ мы съ Тарасомъ обыщемъ золото... Мы сейчасъ у Кожина въ огородѣ робимъ. Золото нашли... Вся Тайбола ума рѣшилась, и всѣ кержаки по своимъ огородамъ роются, а конторѣ это обидно. Ониковъ-то

штейгеровъ своихъ послалъ въ Тайболу: наша, слышь, дача. Што грѣха у нихъ, и не расхлебать... До драки дѣло доходило.

— Это все Тарасъ...—говорила серіозно Наташка.—Онъ вездѣ смутьянитъ. Въ Тайболѣ то и слыхомъ не слыхать, штобы золотомъ занимались. Отстать бы и тебѣ, тятька, отъ Тараса, потому совсѣмъ онъ пропащій человѣкъ... Вонъ жену Татьяну дѣдушкѣ на шею посадилъ съ ребятенками, а самъ шатуномъ шатается.

— И то брошу,—соглашался уныло Яша.—Только чуточку бы поправиться...

III.

Петръ Васильичъ прошелъ прямо на Сиротку. Тамъ еще ничего не знали о его позорѣ, и онъ могъ хоть отдохнуть, чтобы опомниться и очувствоваться. Онъ былъ своимъ человѣкомъ здѣсь, и никто не обращалъ вниманія на его таинственныя исчезновенія и неожиданныя появленія. Послѣ исторіи съ Ястребовымъ онъ вообще сдѣлался разсѣяннымъ и разговаривалъ только съ Матюшкой. Добравшись до пріиска, Петръ Васильичъ залегъ въ землянку да и не вылѣзалъ изъ нея цѣлыхъ два дня. Чего только онъ ни передумалъ, а выходило все скверно, какъ ни поверни. Ясно было только одно: на Фотьянкѣ ему больше не жить. Мальчишки задразнятъ: драный! драный!.. И передъ своими тоже совѣстно. Нужно было уходить, куда глаза глядятъ. Мало ли золотыхъ промысловъ на сѣверѣ, на южномъ Уралѣ, въ „оренбургскихъ казакахъ"—вездѣ съ уздой можно походить. Эта мысль засѣла у него гвоздемъ, и Петръ Васильичъ лежалъ и думалъ: ахъ, и жаль только свое родное мѣсто бросать, насиженное...

— Да ты что лежишь-то?—спросилъ наконецъ Матюшка.—Аль неможется?..

— Весь немогу...—глухо отвѣчалъ Петръ Васильичъ.

О своихъ планахъ и намѣреніяхъ онъ, конечно, не желалъ говорить никому, а всѣхъ меньше Матюшкѣ.

На Сироткѣ догадывались, что съ Петромъ Васильичемъ опять что-то вышло, и рѣшили, что или онъ попался съ краденымъ золотомъ, или его вздули старатели за провѣсъ. Съ такими-то дѣлами, все равно, головы не сносить. Впрочемъ, Матюшкѣ было не до мудренаго гостя: дѣла на Сироткѣ шли хуже и хуже, а Оксины деньги таяли въ карманѣ, какъ снѣгъ...

Главной ошибкой было то, что Матюшка не довольствовался малымъ и затрачивалъ деньги на развѣдки. Вѣдь одинъ разъ найти золото-то, такъ думаютъ всѣ, и такъ же думалъ Матюшка. Онъ сильно похудѣлъ отъ заботъ и неудачъ, а, главное, отъ зависти: какихъ-нибудь десять верстъ податься по Мутяшкѣ до Богоданки, а тамъ золото такъ и валитъ. Въ хорошую погоду ясно можно было слышать свистокъ паровой машины, работавшей на Богоданкѣ, и Матюшка каждый разъ вздрагивалъ. Да, тамъ богатство, а здѣсь разореніе, нищета... Петръ Васильичъ тогда подтолкнулъ взять Сиротку, теперь съ ней и не расхлебаешься. Бывшій лакей Ганька, „подводившій“ пріисковыя книги, еще больше разстраивалъ Матюшку разными наговорами—тамъ богатое золото объявилось, въ другомъ мѣстѣ еще богаче, а въ третьемъ ужъ прямо „фунтитъ“, т.-е. со ста пудовъ песку даетъ по фунту золота. Положимъ, такого дикаго золота еще никто не видалъ, но чѣмъ нелѣпѣе слухъ, тѣмъ охотнѣе ему вѣрятъ въ такомъ азартномъ и рискованномъ дѣлѣ, какъ промысловое.

— И чего ты привязался къ Мутяшкѣ,—нáго-

варивалъ Ганька.—Вонъ по Свистуньѣ, сказываютъ, какое золото, по Суходойкѣ тоже... На одну смывку съ вышгерта по десяти золотниковъ собираютъ. Это на Свистуньѣ, а на Суходойкѣ опять самородки... Ледянка тоже въ славу входитъ...

— Вездѣ золота много, только домой не носятъ. Супротивъ Богоданки всѣ протчія мѣста наплевать... Тѣмъ и живутъ, што другъ у дружки золото воруютъ.

Между прочимъ, Петръ Васильичъ заманилъ на Сиротку и тѣмъ, что здѣсь удобно было скупать всякое золото—и съ Богоданки, и компанейское. Но и это не выгорѣло, потому что Петръ Васильичъ влетѣлъ въ исторію съ Ястребовымъ и остался безъ гроша денегъ, а на скупку нужны наличныя. До поры до времени Матюшка ничего не говорилъ Петру Васильичу, принимая во вниманіе его злоключеніе, а теперь хотѣлъ все выяснить, потому что денегъ оставалось совсѣмъ мало. Разсчитывать рабочихъ приходилось въ обрѣзъ. Хорошо, что свой братъ—потерпятъ, если и „недостача“ случится. Даже даромъ будутъ робить, ежели въ пай принять. Всѣ промысловые на одну колодку: ничего не жаль.

Выждавъ время, когда никого не было около избушки, Матюшка приступилъ къ Петру Васильичу съ серіознымъ разговоромъ.

— Нѣту денегъ-то, Петръ Васильичъ...—началъ Матюшка издали.

— Ненастье передъ вёдромъ бываетъ.

— Людей разсчитывать нечѣмъ. Кабы ты тогда

не захвалился, такъ я ни въ жисть бы не сталъ робить на Сироткѣ...

— За волосы тебя никто не тащилъ! Свои глаза были... Да ты што присталъ-то ко мнѣ, смола?.. Своего ума къ чужой кожѣ не пришьешь... Кабы у тебя умъ... што я тебѣ наказывалъ-то, оболтусу? Самъ знаешь, што мнѣ на Богоданку дорога заказана...

Матюшка привыкъ слышать, какъ ругается Петръ Васильичъ, и не обратилъ никакого вниманія на его слова, а только подсѣлъ ближе и разсказалъ подробно о своихъ подходахъ.

— Захаживалъ я не одинова на Богоданку-то, Петръ Васильичъ... Задѣлье прикину да и заверну. Ну, конечно, къ Марьѣ — тоже не чужая, значитъ, мнѣ будетъ, тетка Оксѣ-то.

— Вся сила въ Марьѣ...

— Дура она, вотъ што надо сказать! Имѣла и силу надъ Кишкинымъ, да толку не хватило... Извѣстно, баба-дура. Старичонка-то подсыпался къ ней и такъ и этакъ, а она тутъ себя и оказала дурой вполнѣ. Ну, много ли старику нужно? Одно любопытство осталось, а вреда никакого... Такъ нѣтъ, Марья сейчасъ на дыбы: да у меня мужъ, да я въ законѣ, а не какая-нибудь пріисковая гулеванка.

— Да ужъ рѣчистая баба: точно стрѣляетъ словами-то. Только и ты, Матюшка, дуракъ ежели разобрать: Марья свое толмитъ, а ты ей свое. Этакому мужику да не обломать бабенки?.. Семенычъ-то у машины ходитъ, а ты ходилъ бы около Марьи... Поломается для порядку, а потомъ вся чужая и сдѣлается: извѣстная бабья вѣра.

— Было и это...—сумрачно отвѣтилъ Матюшка, а потомъ разсмѣялся.—Моя-то Оксюха вѣдь учуяла, што я около Марьи обохаживаю и тоже на дыбы. Да, вѣдь, какую прыть оказала: чуть-чуть не зашибла меня... Вотъ какъ разстервенилась, окаянная!.. Ну, я ее поучилъ малымъ дѣломъ, а она ночью-то на Богоданку какъ стрѣлитъ, да прямо къ Семенычу... Тотъ на дыбы, Марью сейчасъ избилъ, а меня пообѣщалъ застрѣлить, какъ только я носъ покажу на Богоданку.

— Ну, теперь твоя вся Марья,—рѣшилъ Петръ Васильичъ. — Тоже умѣючи надо и бабъ учить. Марья-то со зла што хошь сдѣлаетъ.

— И то сдѣлаетъ... Подсылала ужъ ко мнѣ,— тихо проговорилъ Матюшка, оглядываясь. — А только мнѣ-то она, Марья-то, совсѣмъ не надобна, окромя того, штобы вызнать, гдѣ ключи прячетъ Шишка... Кажный день, слышь, на новомъ мѣстѣ. Потомъ Марья же сказывала мнѣ, што онъ теперь зачастилъ больше къ баушкѣ Лукерьѣ и Наташку сватаетъ.

— Такъ дуритъ... Комариное-то сало разыгралось.

— Марья и говоритъ, что иначе нельзя, какъ черезъ Наташку...

Послѣ короткой паузы Матюшка опять засмѣялся и прибавилъ:

— Окся ужо до тебя доберется, Петръ Васильичъ... Она и то обѣщается разсчитаться съ тобой мелкими. „Это, гритъ, онъ, кривой чортъ, настроилъ тебя...“ То-то дура!.. Я и боялся къ тебѣ подойти все время: пожалуй, какъ разъ вцѣпится...

Ей бы только въ башку попало. Тебя да Марью хочетъ руками задавить.

Дальше разговоръ пошелъ уже совсѣмъ шопотомъ. Матюшка сидѣлъ, опустивъ въ раздумьи свою кудрявую голову, а Петръ Васильичъ говорилъ:

— Чего ждать-то?... Все одно пропадать... а старичонкѣ много ли надо: двинулъ одинова, и не дыхнетъ...

Голова Матюшки сдѣлала отрицательное движеніе, а его могучее громадное тѣло отодвинулось отъ змѣя-искусителя. Землянка почти зашевелилась. „Ну, нѣтъ, братъ, я на это не согласенъ“, безъ словъ отвѣтила голова Матюшки новымъ, еще болѣе энергичнымъ движеніемъ. Петръ Васильичъ тяжело дышалъ. Онъ сейчасъ ненавидѣлъ этого дурака Матюшку всей душой. Такъ бы и ударилъ его по пустой башкѣ чѣмъ попадя...

— Эй, кто живъ человѣкъ въ землянкѣ?—послышался веселый голосъ.

Петръ Васильичъ вздрогнулъ, узнавъ по голосу Мыльникова. Матюшка отскочилъ отъ него и сдѣлалъ видъ, что поправляетъ каменку. А Мыльниковъ былъ не одинъ: съ нимъ рядомъ стоялъ Ганька.

— Здѣсь...—шепталъ Ганька, показывая головой на землянку.—Третій день пластомъ лежитъ.

Ганька только-что узналъ отъ Мыльникова пикантную новость и сгоралъ отъ нетерпѣнія видѣть своими глазами *дранаго* Петра Васильича. Это было жадное лакейское любопытство. Мыльниковъ тоже былъ счастливъ, что первымъ принесъ на Сиротку любопытную вѣсточку.

— Кого тамъ чортъ принесъ?—отозвался Матюшка съ дѣланой грубостью.

— Такъ богоданныхъ родителевъ принимаютъ?—обидѣлся Мыльниковъ, просовывая свою голову въ дверь.—Въ гости пришелъ, зятекъ...

— Милости просимъ... Проходите почаще мимо-то, тестюшка.

Мыльниковъ уставился на Петра Васильича, который лежалъ неподвижно на нарахъ.

— Чего ощерился, какъ свинья на мерзлую кочку?—предупредилъ его Петръ Васильичъ съ глухой злобой.—Я самый и есть... Ты, вѣдь, за тридцать верстъ прибѣжалъ, штобы разсказать, какъ меня въ волости драли. Ну, драли! Вотъ и гляди: я самый... Ты, вѣдь, за этимъ пришелъ?

Петръ Васильичъ дико захохоталъ, а голова Мыльникова мгновенно скрылась. Матюшка торопливо вышелъ изъ землянки и накинулся на незваннаго гостя.

— Што тебѣ здѣсь понадобилось, Тарасъ? Уходи добромъ, пока цѣлъ...

— Мнѣ бы Оксю повидать...—бормоталъ виновато Мыльниковъ.—Больно я по ней соскучился... Сказываютъ, брюхатая она.

— Не твое дѣло... Проваливай. А ты, Ганька, тоже съ нимъ можешь итти, коли глянется.

Къ общему удивленію показался Петръ Васильичъ и проговорилъ:

— Матюшка, не тронь въ самъ дѣлѣ Тараса... Его причины тутъ нѣтъ. Такъ онъ, по своему малодушеству...

— Да я тебя-то жалѣючи, Петръ Васильичъ!—

заговорилъ Мыльниковъ, набираясь храбрости.— Какое такое полное право волостные старики имѣли, напримѣрно, драть тебя?.. Да я ихъ вотъ какъ распотроню... Прямо губернатору бумагу подать, а то въ правительственный синодъ. Найдемъ дорогу, не безпокойся...

Эта болтовня не встрѣтила никакого отвѣта. Матюшка упорно отворачивался отъ дорогого тестюшки, Ганька шмыгалъ глазами, подыскивая предлогъ, чтобы удрать, а Петръ Васильичъ вызывающе смотрѣлъ на Мыльникова своимъ единственнымъ окомъ, точно хотѣлъ его съѣсть.

— Что же, я и уйду,—рѣшилъ вдругъ Мыльниковъ. — Нахлебался у зятя щей черезъ заборъ шляпой... эхъ, роденька!..

Онъ прошелъ на пріискъ и разыскалъ Оксю которая, дѣйствительно, находилась въ интересномъ положеніи. Она видимо обрадовалась отцу, чѣмъ и удивила и тронула его. Грядущее материнство сгладило прежнюю мужиковатость Окси, хотя красивѣй она не сдѣлалась. Усадивъ отца на пустые вымостки, Окся разспрашивала про мать, про родныхъ, а потомъ спокойно проговорила:

— Помру скоро, тятя...

— Перестань молоть!.. Это для перваго разу страшно, а бабы живущи...

— Нѣтъ, помру... Кланяйся мамынькѣ. Такъ и скажи ей...

Петръ Васильичъ и Матюшка ушли съ Сиротки вмѣстѣ и такъ шли до самой Богоданки. Въ виду самаго пріиска Петръ Васильичъ остановился и тяжело вздохнулъ.

— Вонъ какъ поворачиваетъ Кишкинъ, братецъ ты мой!.. Красота... Помирать не надо. А прежняго мѣста и званья не осталось...

Промысловые волки долго любовались работавшимъ богатымъ пріискомъ, какъ настоящіе артисты. Эти громадные отвалы и свалка верховика и перемывокъ, правильные квадраты глубокихъ выемокъ, гдѣ добывался золотоносный песокъ, бутара, приводимая въ движеніе паровой машиной, новенькая контора на взгорьѣ, а тамъ въ глубинѣ дымки старательскихъ огней, кучи свѣжаго хвороста и движущіяся тачки рабочихъ—все это было до того близкое, родное, кровное, что отъ нѣмого восторга духъ захватывало. Это настоящая работа, настоящее золото, недосягаемая мечта, высшій идеалъ, до котораго только въ состояніи подняться промысловое воображеніе. Духъ захватываетъ, глядя на такую работу, не то, что на Сироткѣ, гдѣ копнуто тамъ, копнуто въ другомъ мѣстѣ, копнуто въ третьемъ, а настоящаго ничего.

Петръ Васильичъ остался, а Матюшка пошелъ къ конторѣ. Онъ шелъ медленно, развалистымъ мужицкимъ шагомъ, приглядывая новыя работы. Семенычъ теперь у своей машины руководствуетъ, а Марья управляется въ конторѣ бабьимъ дѣломъ одна. Самое подходящее время, если бы еще старый чортъ не подвернулся. Подъ новенькимъ навѣсомъ у самой конторы стоялъ новенькій тарантасъ, въ которомъ ѣздилъ Кишкинъ въ городъ сдавать золото, рядомъ новенькія конюшни, новенькій амбаръ—все съ иголочки, все какъ только-что облупленное яичко.

А Марья уже завидѣла гостя, и ея улыбающееся лицо мелькаетъ въ окнѣ.

— Наше вамъ, Марья Родивоновна... Легко ли прыгаете?..

— Не до прыганья, Матюшка; извелась въ конецъ.

— Какая такая причина случилась?

— По одномъ подломъ человѣкѣ сохну... Я-то сохну, а ему, кудрявому, и горюшки мало.

— Тоже навяжется лихо...

Марья болтаетъ, а сама смѣется и глазами въ Матюшку такъ упирается, что ему даже жутко дѣлается. Впрочемъ, онъ встряхиваетъ своими кудрями и подсаживается на завалинку, чтобы выкурить цигарку, а потомъ ужъ идетъ въ Марьину горенку; Марья вдругъ стихаетъ, мѣшается и смотритъ на Матюшку какими-то радостно-испуганными глазами. Какой онъ большой въ этой горенкѣ,— Семенычъ предъ нимъ цыпленокъ.

— Ну, такъ какъ же, Марья Родивоновна?..

— Да все то же, Матюшка... Давно не видались, а пришелъ—и сказать нечего. Я ужъ за упокой собиралась тебя поминать... Жена у тебя, сказываютъ, на тѣхъ порахъ, такъ объ ней заботишься?..

— Экой у тебя языкъ, Марья...

Марья наклонилась, чтобы достать какое-то угощенье изъ-за лавки, какъ двѣ сильныхъ волосатыхъ руки схватили ее и подняли, какъ перышко. Она только жалобно пискнула и замерла.

— Чортъ, отстань...

— Выходи ужо въ лѣсъ... выдешь?...

— Да ты ошалѣлъ никакъ? Ступай къ своей-то Оксѣ и спроси ее, куда мнѣ приходить... Отпусти, медвѣдь!..

Марья плохо помнила, какъ ушелъ Матюшка. У ней сладко кружилась голова, дрожали ноги, опускались руки... Хотѣла плакать и смѣяться, тутъ еще свой бабій страхъ. Вотъ сейчасъ она честная мужняя жена, а выйди въ лѣсъ—и пропала... Вспомнивъ про объятія Матюшки, она сердито отплюнулась. Вотъ охальникъ!.. Потомъ Марья вдругъ расплакалась... Присѣла къ окну, облокотилась и залилась рѣкой. Семенычъ, завернувшій вечеркомъ напиться чаю, нашелъ жену съ заплаканнымъ лицомъ.

— Ты это што?—спросилъ онъ участливо.

— Да такъ... голова болитъ... скушно...

Семенычъ былъ добрый и обходительный мужъ. Никогда слова поперечнаго не скажетъ. Марьѣ сдѣлалось ужасно стыдно, и она чуть удержалась, чтобы не разсказать про охальство Матюшки. Но, взглянувъ на Семеныча и мысленно сравнивъ его съ могучимъ Матюшкой, она промолчала: зачѣмъ напрасно тревожить мужа. Полѣзетъ онъ на Матюшку съ дракой, а Матюшка его однимъ пальцемъ раздавитъ. Сама виновата, ежели разобрать. Доигралась... Нѣтъ, впередъ этого ужъ не будетъ. „Выходи въ лѣсъ“, говоритъ. Тоже нашелъ дуру! Такъ и побѣжала, какъ собачка... Да какъ онъ смѣетъ, вахлакъ, такія рѣчи говорить?..

До самаго вечера Марья проходила въ какомъ-то туманѣ, и все ее злость разбирала сильнѣе. То-то

охальникъ: и мѣсто назначилъ—на разстани, гдѣ отъ дороги въ Фотьянку отдѣляется тропа на Сиротку. Семенычъ улегся спать рано, потому что за день у машины намаялся да и вставать утромъ надо на брезгу. Лежитъ Марья рядомъ съ мужемъ, а мысли бѣгутъ по дорогѣ въ Фотьянку, къ разстани.

„Поди, думаетъ, лѣшій, што я его испугалась,—подумала она и улыбнулась.—Ахъ, дуракъ, дуракъ... Нѣтъ, я еще ему покажу, какъ мужнюю жену своими граблями цапать!.. Небо съ овчинку покажется... Не на таковскую напалъ. Испугалъ... ха-ха!..“

Марья поднялась, прислушалась къ тяжелому дыханію мужа и тихонько скользнула съ постели. Накинувъ сарафанъ и старое пальтишко, она, какъ тѣнь, вышла изъ горенки, постояла на крылечкѣ, прислушалась и торопливо пошла къ лѣсу.

IV.

Разъ вечеромъ баушка Лукерья была до того удивлена, что даже не могла слова сказать, а только отмахивалась обѣими руками, точно предъ ней явилось привидѣніе. Она только-что вывернулась изъ передней избы въ погребушку, пересчитала тамъ утренній удой по кринкамъ, поднялась на крылечко и остановилась, какъ вкопаная: передъ ней стоялъ Родіонъ Потапычъ.

— Да ты давно онѣмѣла, што ли?—сердито проговорилъ старикъ и, повернувшись, пошелъ въ переднюю избу.

Наташка, завидѣвшая сердитаго дѣда въ окно, спряталась куда-то, какъ мышь. Да и сама баушка Лукерья трухнула: ничего худого не сдѣлала, а страшно. „Пожалуй за дочерей пришелъ отчитывать",—мелькнуло у нея въ головѣ. По дорогѣ она даже подумала, какой отвѣтъ дать. Родіонъ Потапычъ зашелъ въ избу, помолился въ передній уголъ и присѣлъ на лавку.

— Случай вышелъ къ тебѣ...—заговорилъ старикъ, добывая изъ кармана окровавленный платокъ. —Вотъ, погляди, старуха.

Въ платкѣ лежали бережно завернутые четыре переднихъ зуба. Баушка Лукерья „ужахнулась" бабьимъ дѣломъ, но ничего не могла понять.

— Гдѣ взялъ-то?—спросила она, чувствуя, что говоритъ совсѣмъ не то.

— Не укралъ, а свои собственные...

Въ подтвержденіе своихъ словъ старикъ раскрылъ ротъ и показалъ окровавленныя десны. Теперь баушка ахнула уже отъ чистаго сердца.

— Гдѣ это тебя угораздило-то?

— Въ шахтѣ... Заложилъ четыре патрона, поджогъ фитиля: разъ ударило, два ударило, три, а четвертаго нѣтъ. Што такое, думаю, случилось?.. Выждалъ съ минутку и пошелъ поглядѣть. Фитиль-то догорѣлъ, почитай, до самаго патрона, да и заглохъ, ну, я добылъ спичку, подпалилъ его, а онъ опять гаснетъ. Ну, я наклонился и началъ раздувать, а тутъ ка-акъ чебурахнетъ... Опомнился я ужъ наверху, куда меня замертво выволокли. Самъ цѣлъ остался, а зубы повредило, самъ ихъ добылъ...

— Ахъ, батюшки... да какъ это тебя угораздило-то?...

— Вотъ и пришелъ... Нѣтъ ли у тебя какого средствія кровь унять да противъ опуха: щеку дуетъ. Къ фершалу стыдно ѣхать, а вы, бабы, все знаете... Можетъ и зубы на старое мѣсто можно будетъ вставить?

— Нѣтъ, этого нельзя, а кровь уймемъ... Есть такая травка.

Къ особенностямъ Родіона Потапыча принадлежало и то, что онъ самъ никогда не хворалъ и въ другихъ не признавалъ болѣзней, считая ихъ притворствомъ, т.-е. такія болѣзни, какъ головная боль, лихоманка, горячка, „сердце схватило“, „весь немогу“ и т. д. Всякая болѣзнь въ его глазахъ являлась только предлогомъ не работать. Изъ-за этого происходили часто траги-комическіе случаи.

Еще при покойномъ Карачунскомъ одному рабочему придавило въ шахтѣ ногу. Его отправили въ больницу. Это до того возмутило старика, что онъ сейчасъ же заявился къ Карачунскому съ форменной жалобой:

— Это онъ нарошно, Степанъ Романычъ.

— Какъ нарочно? Фельдшеръ говоритъ, что кости повреждены и, можетъ быть, придется даже отнять ногу...

— Нарошно, Степанъ Романычъ, ногу подставилъ, штобы въ больницѣ полежать, а потомъ пенсію будетъ кляньчить... Извѣстно, какой нашъ народъ.

Въ восемьдесятъ лѣтъ у Родіона Потапыча сохранились всѣ зубы до одного, и онъ теперь искренне удивлялся, какъ это могло случиться, что вышибло „діомидомъ“ сразу четыре зуба. На лицѣ не было ни одной царапины. Другого разнесло бы въ крохи, а старикъ поплатился только передними зубами. „Все на счастливаго“, какъ говорили рабочіе.

Старуха сбѣгала въ заднюю избу, порылась въ сундукахъ и натащила разнаго старушечьяго снадобья: и коренья, и травы, и наговоренной соли, и еще какого-то мудренаго зелья, завернутаго въ тряпочку. Родіонъ Потапычъ принималъ все съ какой-то дѣтской покорностью, точно удивлялся самому себѣ, что дошелъ до такого ничтожества.

— А вотъ это къ ночи прими,—наставительно повторяла старуха:—кровь разбиваетъ... Хорошее способіе отъ безсонницы, али кто нехорошо задумываться начнетъ.

Родіонъ Потапычъ улыбнулся.

— И то меня за сумасшедшаго принимаютъ,— заговорилъ онъ, покачавъ головой.—Еще покойничекъ Степанъ Романычъ такъ-то надумалъ... Для него-то я и былъ, пожалуй, сумасшедшій съ этой Рублихой, а для Оникова и за умнаго сойду. Однимъ словомъ, пустой колосъ кверху голову носитъ... Тошно смотрѣть-то.

— Всѣ жалятся на него...—замѣтила баушка Лукерья.—Затѣснилъ совсѣмъ старателей-то...Тоже, вѣдь, живые люди: пить-ѣсть хотятъ...

— И старателей зря тѣснитъ и своего поведенія не понимаетъ.

Оглядѣвшись и понизивъ тонъ, старикъ прибавилъ:

— А у меня ужъ скоро Рублиха-то подастся... да. Легкое мѣсто сказать, два года около нея бьемся и большихъ тысячъ это самое дѣло стоитъ. Какъ подумаю, што при Ониковѣ все дѣло оправдается, такъ даже жутко сдѣлается. Не для его глупой головы удумана штука... Онъ-то теперь льнетъ ко мнѣ, да мнѣ-то его даромъ не надо.

Еще болѣе понизивъ голосъ, старикъ прошепталъ на ухо баушкѣ Лукерьѣ:

— Приходилъ, вѣдь, ко мнѣ Степанъ-то Романычъ...

— Съ нами крестная сила!..

— Вѣрно тебѣ говорю... Спустился я ночью въ шахту, пошелъ посмотрѣть штольню и слышу, какъ онъ идетъ за мной. Ужъ я ли его шаги не зналъ!..

— А-ахъ, ба-атюшки... Да я бы на мѣстѣ померла.

— Ну, раньше смерти не помрешь. Только не надо оборачиваться въ такихъ дѣлахъ... Ну, иду я, онъ за мной, повернулъ я въ штрекъ, и онъ въ штрекъ. Въ одномъ мѣстѣ надо на четверенькахъ проползти, штобы въ разсѣчку выйти — я проползъ и слушаю. И *онъ* за мной ползетъ... Слышно, какъ по хрящу шуршитъ и какъ подъ нимъ хрящъ-то осыпается. Ну, тутъ ужъ, признаться, и я струхнулъ. Главная причина, што безъ покаянія кончился Степанъ-то Романычъ, ну и бродитъ теперь...

— Почему же около шахты ему бродить?..

— А почему онъ порѣшилъ себя около шахты?.. Неприкаянная кровь пролилась въ землю.

— Ну, такъ што дальше-то было?—спрашивала баушка Лукерья, сгорая отъ любопытства. — Слушать-то страсти...

— Дальше-то вотъ и было... Повернулся я, а онъ изъ штрека-то и вылѣзаетъ на меня...

— Батюшки!.. Угодники... ой смертынька!

— А я опять знаю, што двигаться нельзя въ такихъ дѣлахъ. Стою и не шевелюсь. Вылѣзъ онъ и прямо на меня... блѣдный такой... глаза опущены, будто што по землѣ ищетъ. Признаться тебѣ сказать, у меня по спинѣ мурашки побѣжали, когда онъ мимо прошелъ, совсѣмъ близко, чуть локтемъ не задѣлъ.

Родіонъ Потапычъ перевелъ духъ. Баушка Лукерья вся дрожала со страху и даже перекрестилась нѣсколько разъ.

— Ну, и безстрашный ты человѣкъ, Родіонъ Потапычъ!

— Ты слушай дальше-то: *онъ* отъ меня, а я за нимъ... Страшновато, а я ужъ пошелъ на отчаянность: што будетъ. Завелъ онъ меня въ одну разсѣчку да прямо въ стѣну и ушелъ, въ забой. Теперь понимаешь?

— Ничего я не понимаю, голубчикъ. Обмерла, слушавши-то тебя...

— А я понялъ: *онъ* мнѣ показалъ, гдѣ жила спряталась.

— А, вѣдь, и то... ахъ, глупая я какая!..

— Ну, я тутъ на другой же день и поставилъ работы, а мнѣ по первому разу зубы и вышибло, потому какъ не совсѣмъ чистое дѣло-то...

— А што ты думаешь, вѣдь правильно!.. Надо бы попа позвать да отчитать хорошенько...

Въ этотъ моментъ подъ окнами загремѣлъ колокольчикъ, и остановилась взмыленная тройка. Баушка Лукерья даже вздрогнула, а потомъ проговорила:

— Погляди-ка, какъ нашъ Кишкинъ отличается... Прежде Ястребовъ такъ-то ѣздилъ, голубчикъ нашъ.

Родіонъ Потапычъ только нахмурился, но не двинулся съ мѣста. Старуха всполошилась: какъ бы еще чего не вышло. Кишкинъ вошелъ въ избу совсѣмъ веселый. Онъ ѣхалъ съ обѣда отъ горнаго секретаря.

— Передохнуть завернулъ, баушка,—весело говорилъ онъ, не снимая картуза.—Да и лошадямъ надо подобрать мыло. Запозднился малымъ дѣломъ... Дорога лѣсная, пожалуй, засвѣтло не доберусь до своей Богоданки.

— Здравствуй, Андронъ Евстратычъ... Разбогатѣлъ, такъ и узнавать не хочешь,—заговорилъ Зыковъ, поднимаясь съ лавки.

— Ахъ, Родіонъ Потапычъ!—обрадовался Кишкинъ.—А я-то и не узналъ тебя. Давненько не видались... Когда въ послѣдній-то разъ мы съ тобой встрѣтились? Ахъ, да, вотъ здѣсь-то, у слѣдователя. Еще ты меня страмилъ...

— Мало страмилъ-то, Андронъ Евстратычъ, потому какъ по твоему малодушеству не такъ бы слѣдовало...

— Правильно, Родіонъ Потапычъ, кабы зналъ да вѣдалъ, разѣ бы довелъ себя до этого, а теперь ужъ поздно... Голодный-то и архирей украдетъ.

— Претитъ, значитъ, совѣсть-то? Ахъ, Андронъ Евстратычъ, Андронъ Евстратычъ...

— Отъ бѣдноты это приключилось,—объяснила баушка Лукерья, чтобы прекратить непріятный разговоръ.—Всѣ мы такъ-то: въ чужомъ рту кусокъ великъ...

— Черезъ тебя въ землю-то ушелъ Степанъ Романычъ,—наступалъ старый штейгеръ.—Истинно черезъ тебя... Мѣтилъ ты въ другихъ, а попалъ въ него.

— Такъ ужъ случилось...—смущенно повторялъ Кишкинъ.—Разѣ я теперь радъ этому?.. И то онъ, Степанъ-то Романычъ, какъ-то привидѣлся мнѣ во снѣ, такъ я напринялся страху. Панихиду отслужилъ по немъ, такъ будто полегче стало...

Родіонъ Потапычъ и баушка Лукерья переглянулись, а потомъ старикъ проговорилъ;

— Старинные люди, Андронъ Евстратычъ, такъ сказывливали: покойникъ у воротъ не стоитъ, а свое возьметъ... А между прочимъ, твое дѣло, тебѣ ближе знать.

Наступило неловкое молчаніе. Кишкинъ жалѣлъ, что не во-время попалъ къ баушкѣ Лукерьѣ, и тянулъ время отъѣздомъ,—пожалуй, подумаютъ, что онъ бѣжитъ.

— Ты бы переночевалъ? — предлагала баушка Лукерья.—Куда, на ночь глядя, поѣдешь-то?

— А мнѣ пора въ самъ дѣлѣ!..—поднялся Кишкинъ.—Только-только поспѣю засвѣтло-то!.. Баушка, посылай поклончикъ любезному сынку Петру Васильичу. Онъ на Сироткѣ теперь околачивается... Шабашъ, братъ: и узду забылъ и вѣсы—все ремесло.

— Охъ, и не говори, — застонала баушка Лукерья.—Домой-то и глазъ не кажетъ. Не знаю, што ужъ теперь и будетъ.

— Ничего, обмякнетъ, дай время,—успокоивалъ Кишкинъ.—До свѣжихъ вѣниковъ не забудетъ...

— А ты напрасно, баушка, острамила своего Петра Васильича,—вступился Родіонъ Потапычъ.—Поучить слѣдовало, это вѣрно, а только опять не на людяхъ... Въ самъ-то дѣлѣ мужику теперь ни взадъ, ни впередъ ходу нѣтъ. За рукомесло за его похвалить тоже нельзя, да вѣдь всѣ вы тутъ оболоунѣли и послѣдняго ума рѣшились... Нѣтъ, неладно. Хоть бы со мной посовѣтовались: вмѣстѣ бы и поучили.

Когда Кишкинъ вышелъ за ворота, то увидѣлъ на завалинкѣ Наташку, которая сидѣла здѣсь

вмѣстѣ съ братишкой,—она выжидала, когда сердитый дѣдушка уйдетъ.

— Ты это што, птаха, по заугольямъ прячешься? — спрашивалъ Кишкинъ, усаживаясь въ тарантасъ.

— Дѣдушки боюсь... — откровенно призналась Наташка, краснѣя дѣтскимъ румянцемъ.

— Ну, страшенъ сонъ, да милостивъ Богъ... Поѣдемъ ко мнѣ въ гости?..

Когда лошади тронулись и дрогнули колокольчики подъ дугой, торопливо выскочила за ворота баушка Лукерья.

— Постой-ка, Андронъ Евстратычъ!..—кричала она задыхавшимся голосомъ.—Возьми ужо деньги-то отъ меня...

— Ага... а гдѣ ты раньше-то была? Нѣтъ, теперь ты походи за мной, а мнѣ твоихъ денегъ не надо...

Тарантасъ укатилъ, заливаясь колокольчиками, а баушка Лукерья осталась со своими деньгами, завязанными въ старенькій платокъ. Она постояла на мѣстѣ, что-то пробормотала и, пошатываясь, побрела назадъ. Замѣтивъ Наташку, она ее обругала и дала тычка.

— Вотъ дармоѣды навязались!..—ворчала раздосадованная старуха. — Богадѣльня у меня, што ли?..

Родіонъ Потапычъ противъ обыкновенія засидѣлся у баушки Лукерьи. Это даже удивило старуху: не таковскій человѣкъ, чтобы задарма время проводить.

— И впрямь, надо полагать съ ума схожу,— печально говорилъ старикъ, разглаживая бороду,—

Никакъ даже не пойму, што къ чему... Прежнее то все понимаю, а нынѣшнее въ умъ не возьму. Измотыжился народъ въ конецъ...

— Охъ, и не говори!..

— Што мужики, што бабы—всѣ точно очумѣлые ходятъ. Не далеко ходить: хоть тебя взять, баушка. Обжаднѣла и ты на старости лѣтъ... Отъ жадности и съ сыномъ вздорили, а теперь оба плакать будете. И всѣ такъ-то... Раздумаешься этакъ-то, и сдѣлается тошно... Ушелъ бы куды глаза глядятъ, только бы не видать и не слыхать про ваши-то художества.

Баушка Лукерья угнетенно молчала. Въ лицѣ Родіона Потапыча передъ ней всталъ позабытый старый міръ, гдѣ все было такъ строго, ясно и просто, и гдѣ баба чувствовала себя только бабой. Сказалась старая „расейка", несшая на своихъ бабьихъ плечахъ всяческую тяготу. Развѣ можно примѣнить нонѣшнюю бабу, особенно промысловую? Ихъ точно вѣтромъ дуетъ въ разныя стороны. Настоящая безпастушная скотина... Не стало, главное, строгости никакой, а мужикъ измалодушествовался. Правильно говоритъ Родіонъ-то Потапычъ.

Старики разговорились про старину и на время забыли про настоящее, чреватое непонятными для нихъ интересами, заботами и пакостями. Теперь только поняла баушка Лукерья, зачѣмъ приходилъ Родіонъ Потапычъ: тошно ему, а отвести душу не съ кѣмъ.

Родіонъ Потапычъ ушелъ ужъ въ сумеркахъ. Ему не хотѣлось итти черезъ Фотьянку при дневномъ свѣтѣ, чтобы не встрѣчаться съ галдѣвшимъ

у кабака народомъ. Фотьянка вечеромъ заживала лихорадочной жизнью. Изъ ближайшихъ промысловъ съѣзжались всѣ рабочіе, и около кабака была настоящая давка. Родіонъ Потапычъ обошелъ подальше проклятое мѣсто, гудѣвшее пьяными голосами, звуками гармоній, пѣснями и ораньемъ, спустился къ Балчуговкѣ и только ступилъ на мостъ, какъ Ульяновъ кряжъ весь заалѣлся отъ зарева. Оглянувшись, онъ подумалъ, что горитъ кабакъ... Вечеръ былъ тихій, и пламя поднималось столбомъ.

— Да вѣдь это баушка Лукерья горитъ!—вскрикнулъ старикъ, бѣгомъ бросаясь назадъ.

Дѣйствительно, горѣлъ домъ Петра Васильича, занявшійся съ задней избы. Громадное пламя такъ и пожирало старую стройку изъ кондоваго лѣса, только трескъ стоялъ, точно кто зубами отдиралъ бревна. Вся Фотьянка была уже на мѣстѣ дѣйствія. Крикъ, гвалтъ, суматоха и никакой помощи. У волостного правленія стояли четыре бочки и пожарная машина, но бочки разсохлись, а у машины не могли найти кишки. Да и безполезно было: слишкомъ ужъ сильно занялся пожаръ и, все равно, сгоритъ до тла весь домъ.

— Самъ поджогъ свой-то домъ!..—галдѣлъ народъ, запрудившій улицу и мѣшавшій работавшимъ на пожарищѣ.—Не даромъ тогда грозился въ волости выжечь всю Фотьянку. Въ огонь бы его, кривого пса!..

— Сказываютъ, дѣвчонка его видѣла!.. Онъ съ огородовъ подкрался и карасиномъ облилъ заднюю-то избу.

Родіонъ Потапычъ никакъ не могъ найти въ толпѣ баушку Лукерью.

— Да она, надо полагать, тово...—объяснилъ неизвѣстный мужикъ.—Въ самое пальмо попала. Бросилась, слышь, за деньгами да и задохлась.

Старикъ въ ужасѣ перекрестился.

V.

На другой же день послѣ пожара въ Фотьянку пріѣхала Марья. Она первымъ дѣломъ разыскала Наташку съ Петрунькой, пріютившихся у сосѣдей. Дѣти обрадовались теткѣ послѣ ночного переполоха, какъ радуются своему и близкому человѣку только при такихъ обстоятельствахъ. Наташка даже расплакалась съ радости.

— Тетя, родная, што только и было,—разсказывала она, припадая къ Марьѣ.—И разсказывать-то—такъ одна страсть...

— Дѣдушка-то зачѣмъ былъ?

— А такъ навернулся... До сумерекъ сидѣлъ и все съ баушкой разговаривалъ. Я съ Петрунькой на завалинкѣ все сидѣла: боялась ему на глаза попасть. А тутъ Петрунька спать захотѣлъ... Я его въ сѣнки потихоньку и свела. Укладываю, а въ оконцо—отдушинка у насъ махонькая въ стѣнѣ продѣлана, — въ оконцо-то и вижу, какъ черезъ огородъ человѣкъ крадется. И вижу, несетъ онъ въ рукахъ буракъ берестяный и прямо къ задней избѣ, да изъ бурака на стѣнку и плещетъ. Испугалась я, хотѣла крикнуть, а гляжу: это дядя, Петръ Васильичъ... ей-Богу, тетя, онъ!..

— Ужъ это ты врешь, Наташка. Тебѣ со страху показалось... Да и какъ ты въ сумерки могла разглядѣть?.. Петръ Васильичъ на пріискѣ былъ въ это время... Ну, потомъ-то што было?

— А потомъ я хотѣла позвать баушку да побоялась. Ну, какъ дѣдушка ушелъ, я только къ баушкѣ, а она какъ на меня зыкнетъ... Цѣлый день она сердилась на меня за Петруньку. Ну, я со страху и замолчала. А тутъ баушка погнала въ погребъ... Выскочила я изъ погреба-то, а на дворѣ дымъ и огонь въ задней избѣ... Я забѣжала въ сѣнки, схватила Петруньку и не помню, какъ выволокла на улицу соннаго... А баушки нѣтъ... Я опять въ сѣнки, а баушка на моихъ глазахъ въ заднюю избу бросилась, прямо въ огонь. Она за сундукомъ это... Тамъ ее и нашли, около сундука... Обгорѣла вся... ничего не узнать...

Наташка въ заключеніе такъ разрыдалась, что Марьѣ пришлось отваживаться съ ней.

— Народъ-то все Петра Васильича искалъ...— продолжала Наташка:—все хотѣли его въ огонь бросить...

— А ты бы еще больше болтала, глупая!.. Все изъ-за тебя... Ежели будутъ спрашивать, такъ и говори, што никого не видала, а наболтала со страху.

— Да я видѣла...

— Молчи, дура!.. Изъ-за твоихъ-то словъ вѣдь въ Сибирь сошлютъ Петра Васильича. Теперь поняла?.. И спрашивать будутъ, говори одно: ничего не знаю.

Пожарище представляло собой страшную картину. За ночь точно языкомъ слизнуло цѣлыхъ три дома. Торчали печныя трубы да обгорѣлые столбы. Около мѣста, гдѣ стояла задняя изба баушки Лукерьи, толкался народъ. Тамъ, среди

обгорѣлыхъ бревенъ, лежало обуглившееся, неузнаваемое „мертвое тѣло“ самой баушки Лукерьи. Чья-то добрая рука прикрыла его бѣлымъ половикомъ. Отъ волости былъ наряженъ сотскій, который сторожилъ мертвое тѣло до пріѣзда становаго. Отъ этой картины даже у Марьи сердце сжалось, особенно, когда она узнала валявшіяся около баушки Лукерьи желѣзныя скобы отъ ея завѣтнаго сундука... Вѣроятно, старуха такъ и задохлась на своемъ сокровищѣ. Народъ усиленно галдѣлъ. Всѣ ругали Петра Васильича. Марья попробовала было заступиться за него, но ея чуть не прибили.

— Мы его, пса еще утихомиримъ!.. Его работа... Самъ грозился въ волости выжечь всю Фотьянку.

Вообще, народъ былъ взбудораженъ. Погорѣвшіе сосѣди еще больше разжигали общее озлобленіе. Ревѣли и голосили бабы, погорѣвшіе мужики мрачно молчали, а общественное мнѣніе продолжало свое дѣло.

— Надо его своимъ судомъ, кривого чорта!.. А становой што подѣлаетъ... Поджогъ, а рукиноги не оставилъ. Удавить его мало, вотъ это какое дѣло!..

Такимъ образомъ, Петръ Васильичъ былъ объявленъ внѣ закона. Даже не собирали уликъ, не допрашивали больше Наташки: дѣло было ясно, какъ день.

На пожарищѣ Марья столкнулась носомъ къ носу съ Ермошкой, который нарочно пришелъ изъ Балчуговскаго завода, чтобы посмотрѣть на пожарище и на сгорѣвшую старуху.

— Приказала баушка Лукерья долго жить, — замѣтилъ онъ, здороваясь съ Марьей. — Главная причина, безъ покаянія старушка окончаніе приняла. Весьма жаль... А промежду протчимъ, очень древняя старушка была, пора костямъ и на покой, кабы только по всей формѣ это самое дѣло вышло.

— Всѣ подъ Богомъ ходимъ, Ермолай Семенычъ... Кому ужъ гдѣ Господь кончину пошлетъ.

— Это точно-съ. Всѣ мы люди-человѣки, Марья Родивоновна, и всѣ мы помремъ... Сказываютъ, старушка на сундучкѣ такъ и сгорѣла? Ахъ, неправильно это вышло...

— Мало ли что зря болтаютъ. Просто, опахнуло старушку дымомъ, ну и обезпамятѣла... Много ли старому человѣку нужно. А про сундучокъ это зря болтаютъ.

— Конечно здря, а я только къ слову. До свиданія, Марья Родивоновна... Поклонъ Андрону Евстратычу. Скоро въ гости къ нему пріѣду.

— Милости просимъ...

Ермошка отошелъ, но вернулся и, оглядываясь, проговорилъ:

— А моя-то Дарья пластъ-пластомъ лежитъ... Не сегодня-завтра кончится. Ужъ такъ-то она рада этому самому...

Поймавъ улыбку Марьи, онъ смущенно прибавилъ:

— Вы не подумайте, штобы черезъ мои руки она помирала... Пальцемъ не тронулъ. Прежде случалось, а теперь ни Боже мой...

— Жениться будете?

— Какъ сорочины минуютъ, подумываю... Вотъ вы-то меня не дождались, Марья Родивоновна!..

— Сватайте Наташку: она лицомъ-то вся въ Ѳеню. Я ее къ себѣ на Богоданку увезу погостить...

— А вѣдь оно тово, дѣйствительно, Марья Родивоновна, статья подходящая... ей-Богу!.. Такъ ужъ вы, тово, не оставьте насъ своею милостью... Ужо подарочекъ привезу. Только вотъ Дарья бы померла, а тамъ живой рукой все оборудуемъ. Ѳедосья-то Родивоновна въ городъ переѣхала... Я какъ-то ее встрѣтилъ. Блѣдная такая стала да худенькая...

Марьѣ пришлось прожить въ Фотьянкѣ дня три, но она все-таки не могла дождаться баушкиныхъ похоронъ. Да надо было и Наташку поскорѣе къ мѣсту пристроить. На Богоданкѣ-то она и свою голову прокормитъ и пользу еще принесетъ. Недоразумѣніе вышло изъ-за Петруньки, но Марья впередъ все предусмотрѣла. Ей было это даже на руку, потому что, благодаря Петрунькѣ, изъ дѣвчонки можно было веревки вить.

— Я твоего Петруньку тоже устрою,—говорила Марья, испытующе глядя на свою жертву.—Много ли парнишкѣ надо. Покойница баушка все взъѣдалась на него, а я такъ рада: пусть себѣ живетъ. Не чужіе, вѣдь...

Наташка точно оттаяла отъ этихъ словъ, хотя раньше и не любила Марьи. Марья, не теряя времени, сейчасъ же увезла ее на пріискъ и улещала всю дорогу разными наговорами, какъ хорошій конокрадъ. Нужно замѣтить, что пріѣзжала она на Фотьянку настоящей барыней, на лошадяхъ

Кишкина и въ его долгушкѣ. Наташку дорогой взяло раздумье относительно надоѣдавшаго ей старика, но Марья и тутъ сумѣла ее успокоить, а кому же вѣрить, какъ не Марьѣ. Когда она жила еще дома, такъ всѣ подъ ея дудку плясали: и сама Устинья Марковна, и тетка Анна, и тетка Ѳеня.

— Старичокъ ежели и пошутитъ, такъ не велика бѣда, — наговаривала Марья.—Это не то, што молодые парни зубы скалятъ...

Такимъ образомъ, Марья торжествовала. Она обѣщала привезти Наташку и привезла. Кишкинъ, по обыкновенію, разыгралъ комедію: накинулся на Марью же и долго ворчалъ, что у него не богадѣльня и что всей Марьиной родни до Москвы не перевѣшать. Скоро этакъ-то ему придется и Тараса Мыльникова кормить, и Петра Васильича. На Наташку онъ не обращалъ теперь никакого вниманія и даже какъ будто сердился. Въ этой комедіи ничего не понималъ одинъ Семенычъ и ужасно конфузился каждый разъ, когда жена цѣплялась зубъ-за-зубъ съ хозяиномъ.

— Очень ужъ ты свободно разговариваешь съ нимъ, Маша,—усовѣщивалъ онъ жену.—Отъ мѣста еще мнѣ откажетъ...

— Не откажетъ, старый чортъ!.. А откажетъ, такъ и безъ него мѣстовъ добудемъ.

Устроивъ Наташку на пріискѣ въ своей горенкѣ, Марья опять склалась и погнала на Фотьянку хоронить баушку Лукерью, а оттуда въ Балчуговскій заводъ провѣдать своихъ. Она уже слышала стороной, что отецъ не совсѣмъ твердъ въ разу-

мѣ и, того гляди, всѣмъ имуществомъ завладѣетъ Анна. Она и то разжалобила отца своими ребятишками. Яша Малый, конечно, ничего не получитъ да и Татьяна тоже,—разѣ удобрится мамынька Устинья Марковна да изъ своей части отвалитъ. Старушка тоже древняя и тоже очень не тверда разумомъ-то... А главная причина поѣздки заключалась въ желаніи видѣться съ Матюшкой, который по уговору долженъ былъ ее подождать у Маяковой слани. Марья уѣзжала одна, въ пріисковой телѣжкѣ, въ какихъ ѣздили всѣ старатели.

— Смотри, не пообидилъ бы кто-нибудь дорогой,—говорилъ Семенычъ, провожая жену:—бродяги по лѣсу шляются...

— Ты вотъ за Наташкой-то не очень ухаживай,—огрызнулась Марья.

Она раньше боялась мужа, потомъ стыдилась, затѣмъ жалѣла и наконецъ возненавидѣла, потому что онъ упорно не хотѣлъ ничего замѣчать. И такимъ маленькимъ онъ ей казался... Вообще съ Марьей творилось неладное: она ходила, какъ въ туманѣ, полная какой-то странной рѣшимости.

— Наташка, будешь убираться въ конторѣ, такъ пригляди, куды прячетъ Андронъ Евстратычъ ключъ отъ желѣзнаго сундука,—наказывала она передъ отъѣздомъ.—Да возьми припрячь его при случаѣ...

Наташка не понимала, для чего нужно было прятать ключъ. Марья окончательно обозлилась и объяснила:

— Надоѣлъ онъ мнѣ, какъ горькая рѣдька... Пусть поищетъ, старая крыса. За тебя съ Петрунь-

кой поѣдомъ съѣлъ. Положи ключикъ-то на полочку, подъ образа. Поняла?

Наташка теперь поняла и даже ухмыльнулась. Ей понравилась мысль испугать противнаго старичонку, который опять началъ поглядывать на нее масляными глазами.

Семенычъ „ходилъ у парового котла“ въ ночь. День онъ спалъ, а съ вечера отправлялся къ машинѣ. Кстати сказать, эту ночную работу мужа придумала Марья, чтобы Семенычъ не мѣшалъ ей пользоваться жизнью. Она сама просила Кишкина поставить мужа въ ночь.

— Играешь, Марьюшка,—посмѣялся Кишкинъ.— Ну, ну, я ничего не вижу и ничего не знаю... Между мужемъ и женой Богъ судья. Ты мнѣ только тово...

— А вотъ я уѣду въ Балчуговскій заводъ, такъ вы ужъ сами тутъ промышляйте. Въ конторѣ одна Наташка останется... Ну, што, довольны теперь?..

— Озолочу, Марьюшка...

Около полуночи, когда Семенычъ дремалъ у своей машины, прибѣжалъ кто-то и сказалъ, что въ конторѣ неладно. Всѣ бросились туда. Тамъ произошло нѣчто ужасное... Въ самой конторѣ лежалъ зарѣзанный Кишкинъ. Онъ былъ въ одномъ бѣльѣ и, видимо, отчаянно защищался, потому что руки были страшно изрѣзаны. Въ горенкѣ Семеныча оказалось цѣлыхъ три трупа: въ своей постели на полу лежалъ убитый Петрунька,— видимо, его убили соннаго, Наташка лежала въ самыхъ дверяхъ съ размозженнымъ черепомъ, а

на крылечкѣ сама Марья. Все было залито кровью. Цѣль убійства была ясна: касса оказалась пустой.. У всѣхъ мелькнула одна и та же мысль при видѣ этой картины: некому этого сдѣлать, кромѣ все того же Петра Васильича. Пошелъ мужикъ на отчаянность. Конечно, его работа. Кому же больше? Оставалось непонятнымъ только одно, какъ Марья опять вернулась въ свою горенку? Всѣ видѣли, какъ она еще днемъ уѣхала на Фотьянку. Лошадь нашли на дорогѣ,—она была привязана къ дереву въ сторонѣ отъ дороги. Подозрѣніе на Петра Васильича увеличилось еще тѣмъ, что его видѣли именно въ этотъ день, недалеко отъ пріиска, а потомъ онъ вдругъ точно въ воду канулъ. Конечно, его дѣло... Съ Сиротки онъ ушелъ послѣ обѣда. Матюшка лежалъ больной у себя въ землянкѣ. Онъ защищалъ Петра Васильича. Мало ли по лѣсу бродягъ шляется: подглядѣли и прикончили всѣхъ.

Пріѣхалъ на Богоданку слѣдователь, урядникъ, понятые. Произвели слѣдствіе, которое подтвердило общее подозрѣніе: за кассой нашли шапку Петра Васильича, которую всѣ признали. Очевидно, онъ забылъ ее второпяхъ. Слѣдователь уже составилъ полный планъ, какъ совершилось преступленіе: Петръ Васильичъ встрѣтилъ Марью на дорогѣ и подъ какимъ-то предлогомъ уговорилъ вернуться домой. Можетъ быть, онъ ей сказалъ, что Кишкинъ и Наташка убиты, а когда она вернулась, онъ убилъ и ее, чтобы скрыть всякіе слѣды. Въ сущности, это было очень неясное объясненіе, но пока единственное.

Когда слѣдователь уѣхалъ уже домой, раскрылось новое обстоятельство, перевернувшее все: недалеко отъ Маяковой слани нашли убитаго Петра Васильича. Очевидно, онъ былъ убитъ на дорогѣ, а затѣмъ уже стащенъ въ болото.

VI.

Дѣла у компаніи шли плохо. Старательскія работы сведены были на нѣтъ, и этимъ самымъ уничтожено было въ корнѣ хищничество, но, вмѣстѣ съ тѣмъ, компанія лишилась и главной части своихъ доходовъ, которые получались раньше отъ старателей. Но Ониковъ хотѣлъ быть послѣдовательнымъ и рѣшился вести дѣло исключительно компанейскими работами. Во-первыхъ, былъ расчетъ на Рублиху, а потомъ немного пониже Фотьянки отводили теченіе р. Балчуговки въ другое русло,—нужно было взять розсыпь, по которой протекала эта рѣка, цѣликомъ. Уже второй годъ устраивалась громадная плотина, отводившая рѣку въ новое русло. Цѣлую зиму велась эта грандіозная работа, стоившая десятковъ тысячъ. Когда вода была отведена, приступили къ вскрышѣ верхняго пласта, покрывавшаго розсыпь. Вмѣстѣ съ наступленіемъ весны должна была открыться и промывка этой розсыпи, для чего поставлено было нѣсколько бупаръ и двѣ паровыхъ машины. Новый пріискъ лежалъ немного пониже Ульянова кряжа, такъ что, по всѣмъ признакамъ, розсыпь образовалась изъ разрушавшихся жилъ,

залегавшихъ именно въ этомъ кряжѣ, такъ что золото за-разъ можно было взять и изъ розсыпи, и изъ коренного мѣсторожденія.

— Мы возьмемъ золото съ хвоста и съ головы,—повторялъ Ониковъ, встрѣчаясь съ Родіономъ Потапычемъ.

— Что же, ваши бы слова да Богу въ уши,— уклончиво отвѣчалъ старикъ, окончательно возненавидѣвшій Оникова.

Положеніе Фотьянки было отчаянное. Кедровское золото кое-кого поманило, кое-кого даже помазало по губамъ, но въ общемъ масса бѣдствовала хуже прежняго, потому что кончились старательскія работы собственно въ Балчуговской дачѣ. Эти работы давали крохи, но эти крохи и были дороги, потому что приходились главнымъ образомъ на голодное зимнее время. Нерасчетливый промысловый рабочій не умѣлъ сберегать на черный день, а добытые на пріискахъ гроши пѣли пѣтухами. Отдѣльные случаи болѣе или менѣе случайнаго обогащенія совершенно терялись въ общей массѣ рабочей бѣдности.

Уничтоженіе старательскихъ работъ въ компанейской дачѣ отразилось прежде всего на податяхъ. Недоимки были и раньше, а тутъ онѣ выросли до громадной суммы. Фотьянскій старшина выбился изъ силъ и ничего не могъ подѣлать: хоть кожу сдирай. Наѣзжалъ нѣсколько разъ непремѣнный членъ по крестьянскимъ дѣламъ присутствія вмѣстѣ съ исправникомъ и тоже ничего не могли подѣлать.

— Какъ же это такъ,—удивлялся членъ:—кру-

гомъ золото, а вы не можете податей заплатить?..

— Точно такъ, вашескородіе,—отвѣчалъ староста.—Кругомъ золото, а въ середкѣ бѣдность... Все отъ компаніи зависитъ: ежели бы объявили старательскія работы, оно, все же, передышка... Не настоящее дѣло, а изъ-за хлѣба на воду робили.

Переговоры съ Ониковымъ по этому поводу тоже ни къ чему не повели. Онъ остался при своемъ мнѣніи, ссылаясь на прямой законъ, воспрещающій старательскія работы. Конечно, здѣсь дѣло заключалось только въ игрѣ словъ: старательскія работы уставомъ о частной золотопромышленности дѣйствительно запрещены, но въ видѣ временной мѣры разрѣшались работы „отрядныя“ или „золотничныя“, что въ переводѣ значило то же самое.

— Я поступаю только по закону, — говорилъ Ониковъ съ упрямствомъ безнадежно помѣшаннаго человѣка.—Нужно же было когда-нибудь вырвать зло съ корнемъ...

— Да... гмъ... Но апостолъ Павелъ сказалъ, что „по нуждѣ и закону премѣненіе бываетъ“. Ваши реформы отзываются на казенныхъ интересахъ.

— О, это напрасно! Дайте что угодно рабочимъ, они все пропьютъ... Что дала Кедровская дача?..

Дѣло въ томъ, что собственно рабочимъ Кедровская дача дала только призракъ настоящей работы, потому что здѣсь вмѣсто одного хозяина, какъ у компаніи, были десятки—только и разницы. Пока благодѣтелями являлись одни скупщики въ родѣ Ястребова. Затѣмъ мелкіе золотопромышленники могли работать только лѣтомъ, а зимой пріиски пустовали.

Недовольство рабочихъ новымъ главнымъ управляющимъ пережило свою острую форму. Его даже не ругали, а глухое мужицкое недовольство росло и подступало, какъ выступившая вода изъ береговъ.

— У меня разговоръ короткій: чуть что, сейчасъ рабочихъ изъ другихъ мѣстъ кликну,—хвастался Ониковъ.—Всякое дѣло необходимо доводить до конца...

Родіонъ Потапычъ сидѣлъ на своей Рублихѣ и ничего не хотѣлъ знать. Благодаря штольнѣ, углубленіе дошло уже до сорокъ-шестой сажени. Шахта стоила громадныхъ денегъ, но за нее поэтому такъ и держались всѣ. Смертельная болѣзнь только можетъ подтачивать организмъ съ такой послѣдовательностью, какъ эта шахта. Но Родіонъ Потапычъ одинъ не терялъ вѣры въ свое дѣтище и боялся только одного, что компанія не дастъ дальнѣйшихъ ассигновокъ.

Разъ ночью старикъ сидѣлъ въ конторкѣ и дремалъ. Его разбудилъ осторожный стукъ въ окно.

— Кто тамъ, крещеный?

— Можно зайти, дѣдушка, обогрѣться?..

— Дня-то тебѣ не стало?—удивился Родіонъ Потапычъ, разглядывая чье-то молодое лицо съ окладистой русой бородкой.—Ступай въ двери.

Черезъ нѣсколько минутъ въ дверяхъ конторки показался Матюшка, весь засыпанный снѣгомъ. Родіонъ Потапычъ съ трудомъ призналъ его.

— Ты што это полуношничаешь?—сердито спросилъ его старикъ.—Мало ли тутъ шляющихся по лѣсу-то...

— Я съ дѣломъ, дѣдушка...—разсѣянно отвѣ-

тилъ Матюшка, перебирая шапку въ рукахъ.— Окся приказала долго жить...

— Кончилась?..—участливо спросилъ старикъ, сразу измѣнившись. — Ахъ, сердяга... Омманула она меня тогда, ну да Богъ ее проститъ.

— Цѣльную недѣлю, дѣдушка, маялась и все никакъ разродиться не могла... На голосъ кричала цѣльную недѣлю, а въ лѣсу никакого способія. Ахъ, дѣдушка, какъ она страждила... И тебя вспомнила. „Помру, гритъ, Матюшка, такъ ты сходи къ дѣдушкѣ на Рублиху и поблагодари, што узрѣлъ меня тогда“.

— Вспомнила?..

— И еще какъ, дѣдушка... А передъ самымъ концомъ какъ будто стишала и поманила къ себѣ, штобы я около нея присѣлъ. Ну, я, значитъ, сѣлъ... Взяла она меня за руку, поглядѣла этакъ долго-долго на меня и заплакала. „Што ты, говорю, Окся: дастъ Богъ, поправишься“...—„Я, гритъ, не о томъ, Матюшка. А тебя мнѣ жаль“... Вонъ она какая была, Окся-то. Получше въ десять разъ другого умнаго понимала...

Постоялъ Матюшка у порога, разсказалъ еще разъ о смерти Окси и началъ прощаться. Это опять удивило Родіона Потапыча.

— Да ты чего это ночью-то хочешь итти?—проговорилъ ему старикъ.—Оставайся у насъ на шахтѣ переночевать.

Матюшка переминался съ ноги на ногу, а потомъ вдругъ у него по лицу посыпались быстрыя молодыя слезы.

— Тошно мнѣ, дѣдушка...—шепталъ онъ задыхавшимся голосомъ.—Ахъ, какъ тошно...

Старикъ нахмурился: развѣ модель мужику ревѣть?..

Матюшка такъ и не остался ночевать. Онъ нѣсколько разъ нерѣшительно подходилъ къ двери конторки, останавливался и опять отходилъ. Вообще, съ Матюшкой было неладно, какъ замѣтили всѣ рабочіе.

Въ другой разъ онъ спустился въ самую шахту и отыскалъ Родіона Потапыча въ забоѣ, гдѣ онъ закладывалъ динамитные патроны для взрыва.

— Экъ ты напугалъ меня, — разсердился Родіонъ Потапычъ.—Ну, чего опять?..

Матюшка молчалъ. Старикъ съ удивленіемъ посмотрѣлъ на него. Этакой молодчага парень, ежели бы не дурь. Руки однѣ чего стоятъ. Вотъ бы въ забой поставить...

Когда взрывъ былъ произведенъ, и Родіонъ Потапычъ взглянулъ на обвалившіеся куски камня, то даже отшатнулся, точно отъ навожденія. Взрывомъ была обнажена прекрасная жила, толщиной въ полтора аршина, а въ проржавѣвшемъ кварцѣ золотыми слезами блестѣлъ драгоцѣнный металлъ.

— Что же это такое?—изумлялся старикъ, глядя на Матюшку. — Сколь бились мы надъ ней, надъ жилой, а она вонъ когда обозначилась... На твои счастки, Матюшка, выпала она!..

Матюшка опять молчалъ, а у Родіона Потапыча блестѣли слезы на глазахъ. Это было его послѣднее золото... Выломавъ нѣсколько кусковъ получше, старикъ велѣлъ забойщикамъ подняться наверхъ, а западню въ шахту заперъ на замокъ собственноручно... Оно меньше грѣха...

Открытіе жилы въ Ульяновомъ кряжѣ произвело настоящій переполохъ. Ониковъ прискакалъ, сломя голову, и расцѣловалъ Родіона Потапыча изъ щеки въ щеку. Спустившись въ шахту, онъ долго любовался жилой и вслухъ дѣлалъ примѣрныя вычисленія. На худой конецъ оправдаются всѣ произведенные расходы, да столько же получится дивиденда.

— Надо деньги-то считать, когда онѣ въ карманъ положены,—строго замѣтилъ Родіонъ Потапычъ.

— Ничего, сосчитаемъ и не въ карманѣ...

Старикъ молча торжествовалъ свою побѣду: Рублиха не обманула, хотя и стоила страшно дорого. Да, онъ показалъ, какое золото въ Ульяновомъ кряжѣ старые штейгера открываютъ... Вотъ только голубчикъ Степанъ Романычъ не дожилъ.

Пріѣхалъ полюбоваться Рублихой и самъ горный секретарь Илья Ѳедотычъ. Спустился въ шахту, отломилъ на память кусокъ кварцу съ золотомъ и милостиво потрепалъ стараго штейгера по плечу.

— Молодые-то хоть и поютъ пѣтухами, а безъ насъ, стариковъ, дѣло, видно, тоже не обойдется. Такъ, Родіонъ Потапычъ?

— Молодыхъ-то гусей по осени считаютъ, Илья Ѳедотычъ...

На Рублихѣ пока сдѣлана была передышка. Работала одна паровая машина, да неотступно оставался на своемъ мѣстѣ Родіонъ Потапычъ. Онъ, добившись цѣли, вдругъ сдѣлался грустнымъ и задумчивымъ, точно что потерялъ. Съ нимъ те-

перь часто дежурилъ Матюшка, повадившійся на шахту неизвѣстно зачѣмъ. Разъ они сидѣли вдвоемъ въ конторкѣ и молчали. Матюшка совершенно неожиданно рухнулъ своимъ громаднымъ тѣломъ въ ноги старику, такъ что тотъ даже отскочилъ.

— Дѣдушка, голубчикъ, тошно мнѣ, а силы своей не хватаетъ... Отвези ты меня къ слѣдователю въ городъ. Мое дѣло...

— Да ты рехнулся, парень?.. Какое дѣло?..

— А на Богоданкѣ?.. Я всѣхъ троихъ порѣшилъ. Петръ Васильичъ подбилъ: ограбимъ да ограбимъ Кишкина. Ну, я и соблазнился и Марью настроилъ, штобы ключъ добыла, а она черезъ Наташку... Я ее на дорогѣ встрѣтилъ, ну, вмѣстѣ на пріискъ ночью и пришли. Петръ Васильичъ въ сторожахъ сперва стоялъ, а я въ горницу къ Марьѣ прошелъ. Ключъ-то Наташка у старика выкрала... Ну, я захожу въ контору изъ Марьиной горницы, а Кишкинъ и проснись на грѣхъ... Какъ закричитъ... Все у меня въ головѣ перемѣшалось... ударилъ я его и сразу заморилъ, а Петръ Васильичъ уже около кассы съ ключомъ и какія-то бумаги себѣ за пазуху суетъ... Потомъ Наташка очнулась; ну, мы всѣхъ прикончили разомъ, штобы никакого слѣда. Деньги захватили и въ лѣсъ. Ночью около огонька принялись дѣлить... Вижу, Петръ Васильичъ омманываетъ меня, а потомъ, думаю, уйдетъ онъ съ деньгами-то куды глаза глядятъ, а на меня все свалятъ... Ну, тутъ я и его прикончилъ. Все равно, выдалъ бы... На него всѣ улики были. Ночью же пришелъ я домой и ска-

UNIVERSITY OF MICHIGAN

зался больнымъ, а Окся-то и догадалась, што неладное дѣло. Такъ ничего и не сказала, а только передъ самой смертью выговорила все... „За твой, гритъ, грѣхъ помираю!“ И такъ мнѣ стало тошно съ того съ самаго время: легче вотъ руки наложить на себя... мѣста не найду...

Родіонъ Потапычъ молча его выслушалъ, молча взялъ веревку и молча связалъ ему крѣпко руки.

— Повремени малость...—сказалъ старикъ, не глядя на Матюшку. — Я тебя предоставлю куды слѣдуетъ.

Захвативъ съ собой топоръ, Родіонъ Потапычъ спустился одинъ въ шахту. Въ послѣдній разъ онъ полюбовался открытой жилой, а потомъ поднялся къ штольнѣ. Здѣсь онъ прошелъ къ выходу въ Балчуговку и подрубилъ стойки, то же самое сдѣлалъ въ нѣсколькихъ мѣстахъ посрединѣ и у самой шахты, гдѣ входила рудная вода. Земля быстро обсыпалась, преграждая путь стекавшей по штольнѣ водѣ. Кончивъ эту работу, старикъ спокойно поднялся наверхъ и черезъ полчаса велъ Матюшку на Фотьянку, чтобы тамъ передать его въ руки правосудія.

Въ ту же ночь Рублиху залило водой, а старый штейгеръ сидѣлъ наверху и смѣялся теперь уже сумасшедшимъ смѣхомъ.

Залитую водой Рублиху возобновить было, пожалуй, дороже, чѣмъ выбить новую шахту, и найденная старымъ штейгеромъ золотоносная жила была снова похоронена въ землѣ. Да и компаніи